# Мир продолжается

# Ласло Краснахоркаи

Перевод Льва Шкловского

ОН

1. ГОВОРИТ

БРОДЯЩИЙ — СТОЯЩИЙ

Я должен покинуть это место, потому что здесь никому не место и не стоит оставаться, потому что это то место — с его невыносимой, холодной, печальной, мрачной и смертельной тяжестью — откуда я должен бежать, взять свой чемодан, прежде всего чемодан, двух чемоданов будет как раз достаточно, запихнуть всё в два чемодана, затем щелкнуть замком, чтобы я мог броситься к сапожнику, и подмять — я подметал и переподнимал, нужны сапоги, хорошая пара сапог — во всяком случае, одной хорошей пары сапог и двух чемоданов достаточно, и с этим мы можем отправиться уже сейчас, поскольку мы можем определить — потому что это первый шаг — где именно мы находимся прямо сейчас; ну, значит, требуется своего рода умение, требуются практические знания, чтобы мы могли точно определить, где мы находимся —

не просто какое-то чувство направления или некая таинственная вещь, находящаяся в глубине сердца, — чтобы в соответствии с этим знанием мы могли затем выбрать правильное направление; нам нужно чувство, как если бы мы держали в руках некое специфическое устройство для ориентации, устройство, которое поможет нам констатировать: в данный момент времени мы находимся здесь и здесь, в этой точке пространства, расположенные, как ни странно, на перекрёстке, который особенно невыносим, холоден, печален, уныл и смертоносен, на перекрёстке, с которого нужно уйти, потому что здесь человек не может быть или оставаться, человек — в этой болотистой, обескураживающе тёмной точке пространства — не может сделать ничего другого, кроме как сказать: уходи, и уходи прямо сейчас, уходи немедленно, даже не думая об этом, и не оглядывайся, просто следуй заранее предопределённому маршруту, с твёрдо устремлённым вперёд взором, устремлённым, конечно же, в правильном направлении, выбор которого не кажется таким уж мучительно трудным, если, конечно, не станет ясно, что это практическое знание, это особое чувство — поскольку ему удаётся определить координаты точек, простирающихся сквозь печаль и смертность, — вдруг заявляет: под «обычным „обстоятельства“ обычно происходят так: мы говорим, что отсюда нам нужно идти в том или ином направлении, другими словами, мы говорим, что это направление — правильное направление, или совершенно противоположное направление — правильное направление: но есть определенные

случаи, так называемые «необыкновенные обстоятельства», когда это чувство, это практическое знание, справедливо высоко ценимое, возвещает, что выбранное нами направление хорошее, оно говорит нам: идите прямо, вот так, сюда, отлично, — и это же самое чувство одновременно говорит нам, что противоположное направление тоже хорошо, ну, и вот тогда наступает состояние, известное как бродяжничество-стояние, потому что вот этот человек, с двумя тяжелыми чемоданами в руках и парой превосходно подшитых ботинок, и он может пойти направо, и он не ошибется, и он может пойти налево, и в этом он, конечно, тоже не ошибется, так что оба эти направления, диаметрально противоположные друг другу, оцениваются как совершенно хорошие этим практическим чувством внутри нас, и для этого есть все основания, потому что это практическое знание, указывающее два диаметрально противоположных направления, действует теперь в рамках, определяемых желанием, а именно, что «идти направо» так же хорошо, как и «идти в „влево“, потому что оба эти направления, с точки зрения наших желаний, указывают на самое отдаленное место, место, самое удаленное отсюда; Итак, точка, к которой нужно прийти в любом направлении, больше не определяется практическим знанием, чувством или способностью, но желанием, и только желанием — тоской человека не только по перемещению на наибольшее расстояние от его нынешнего положения, но и в место наибольшей надежды, где он может обрести покой, ибо, несомненно, это главное, покой, именно этого ищет этот человек в желанной дали, некоторого покоя от невыразимо гнетущего, мучительного, безумного беспокойства, которое охватывает его всякий раз, когда он думает о своем нынешнем положении, когда он думает о своей отправной точке, о той бесконечно чужой стране, где он сейчас находится и откуда он должен уйти, потому что все здесь невыносимо, холодно, печально, мрачно и смертельно, но откуда, в самый первый момент, он едва может перенести шок, когда осознает — и он действительно ужасается, — когда осознает, что его руки и ноги по сути крепко связаны, а именно из-за его безупречного практического чувства, что его руки и ноги крепко связаны, потому что это практическое чувство указывает в двух противоположных направлениях одновременно, говоря ему: уходи уже, это правильный путь, но как можно уйти в двух противоположных направлениях сразу, вот в чем вопрос, так и остается вопросом, он стоит, как будто его пришвартовали здесь, как развалюху, стоит, сгорбившись под тяжестью тяжелых чемоданов, стоит, не шевелится, и вот так, стоя, неподвижно отправляется в необузданный мир, в направлении — неважно в каком, это может быть любое

направление — и он не двигается ни на дюйм, он уже зашел очень далеко, и его странствия в диком мире начались, потому что, хотя на самом деле он неподвижен, его сгорбленная фигура, почти как статуя, выгравирована в невозможности остаться здесь; он является на всех дорогах: днем его видят на севере, его знают в Америке, его знают в Азии, его узнают в Европе, его узнают в Африке, он пересекает горы, и он пересекает речные долины, он идет и идет, и он не перестает бродить ни на одну ночь, он отдыхает только изредка на один час, но и тогда он спит, как животное, как солдат, он ничего не спрашивает и не смотрит долго ни на кого; люди спрашивают его: так что ты делаешь, сумасшедший, куда ты идешь с этим одержимым взглядом в глазах? сядь и отдохни, закрой глаза и оставайся здесь на ночь; но этот человек не садится и не отдыхает, не закрывает глаза, не остается здесь на ночь, потому что он не остается надолго, потому что он говорит — если он вообще что-то говорит — что ему пора идти, и явно напрасно тратить время, он никогда и никому не выдаст, куда он направляется этим форсированным маршем, потому что он сам не знает даже того, что он, возможно, знал когда-то раньше, когда, все еще стоя с этими двумя тяжелыми чемоданами в руках, он отправился в необузданный мир; он отправился в путь, но его путешествие, по сути, не было путешествием, по дороге оно даже не могло быть путешествием, он казался скорее каким-то жалким призраком, которого никто не боялся, никто не пытался пугать им детей, его имя не шептали в храмах, чтобы он держался подальше от городов, так что если он появлялся здесь или там, все просто отмахивались от него: о, это снова он, потому что он снова и снова появлялся в Америке и Азии, он снова и снова появлялся в Европе и Африке, и у людей начало складываться впечатление, что он на самом деле просто кружит, кружит вокруг земного шара, как секундная стрелка часов, и если поначалу в его присутствии здесь или там и было что-то примечательное, как это могло быть даже в виде жалкого призрака, то когда он появлялся во второй раз, или в третий, или в четвертый раз, они просто отмахивались от него, и, в сущности, никому не было дела, так что их становилось все меньше и меньше все реже и реже люди пытались его о чем-то спросить или предложить ему место для ночлега, все реже и реже перед ним ставили еду, и с течением времени никто не был по-настоящему рад его присутствию в доме, потому что кто знает — отмечали они между собой — что здесь на самом деле происходит,

хотя было очевидно, что они уже просто потеряли к нему интерес, они окончательно потеряли к нему интерес, потому что он, в отличие от стрелки часов, ничего не показывал, ничего не означал, и больше всего мир беспокоил — если вообще что-то можно было сказать, что беспокоило этот мир — так это прежде всего то, что этот человек был никчемным, он просто ушел, и он не имел никакой ценности в мире, так что пришло время, когда он зашевелился в этом мире, и по сути его никто не заметил, он исчез, на материальном уровне он практически испарился, с точки зрения мира он стал ничем; а именно: о нем забыли, что, конечно, не значит, что он отсутствовал в реальности, потому что он все еще оставался там, неутомимо курсируя между Америкой и Азией, Африкой и Европой, просто связь между ним и миром была нарушена, и он стал таким образом забытым, невидимым, и с этим он остался раз и навсегда совершенно одиноким, и с этого момента он начал замечать на отдельных станциях своих странствий, что есть другие фигуры, точные копии его самого: время от времени он оказывался лицом к лицу с такими фигурами, в точности копировавшими его, как если бы он смотрел в зеркало; Сначала он был поражен и быстро покинул тот город или ту область, но затем время от времени он уже забывал взгляд этих странных фигур и начинал их рассматривать, он начал искать различия между своей собственной физиономией и их, и по мере того, как шло время и судьба все больше сводила его с этими точными копиями, становилось все яснее, что чемоданы у них были одинаковыми, сгорбленная спина была одинаковой, все, как они держались под тяжестью, как они тащились вперед по той или иной дороге, все было одинаково, именно это было не просто сходство, а точная копия, и ботинки были тоже такими же, с точно такой же искусной подметкой, он заметил это также, когда однажды он вошел в какой-то большой зал, чтобы выпить воды, подметка на их ботинках была точно такой же хорошей, как у него, и кровь застыла в его жилах, он увидел, что весь зал был полностью заполнен людьми, которые были точно такими же, как он, он быстро выпил и поспешно покинул этот город и эту страну, и с тех пор он даже не ступил ни на одно место, где он предполагал или чувствовал, что может столкнуться с такими странниками; с этого момента он соответственно начал избегать их, так что он остался окончательно один, и его странствия потеряли свою собственную фанатическую случайность; но он продолжал неутомимо, и затем началась совершенно новая фаза его странствий, потому что он был убежден, что только благодаря своему решению ограничить себя лабиринтом

он мог избегать, насколько это было возможно, всех этих точных копий, так что только с этого момента и начались эти сны, то есть он спал в совершенно случайных местах и в совершенно случайные часы, коротко и ненадолго, и в некоторые из этих редких периодов короткого и неглубокого сна он начал видеть сны, как никогда раньше: а именно, ему снился один и тот же сон, в мельчайших подробностях, снова и снова, ему снилось, что его скитания закончились — и вот он видит перед собой какие-то огромные часы, или колесо, или какую-то вращающуюся мастерскую, после пробуждения он никогда не может точно идентифицировать ее, и в любом случае он находится перед чем-то вроде этого, или перед какой-то группой этих вещей — он шагает в часы, или в колесо, или в мастерскую, он становится посередине, и в той невыразимой усталости, в которой он провел всю свою жизнь, он падает на землю, как будто в него выстрелили, он падает, как башня проваливаясь в себя, падая на бок, он ложится, чтобы наконец уснуть, как измученное животное, и сон повторяется снова и снова, всякий раз, когда он поворачивает голову в каком-нибудь углу или ложится на какую-нибудь койку, он видит этот сон с точностью до волоска, снова и снова — хотя он должен был увидеть совсем другое, если бы он поднял взгляд, если бы он хотя бы раз — в ходе своих странствий, которые, казалось бы, длятся сотни и сотни лет — только поднял голову, вечно висящую вниз, хотя бы раз, он должен был увидеть, что он все еще стоит здесь, с двумя чемоданами в руках, с мастерски подбитыми ботинками на ногах, и вот он прирос к этому куску земли размером с ботинок, на котором он стоит, так что нет никакой надежды, что он сможет сдвинуться с места, ибо он должен стоять там до скончания времен, его руки и ноги связаны в двух одновременно правильных направлениях, он должен стоять там до самого скончания времен, потому что это место — его дом, это место — именно там, где он родился, и именно там ему однажды придется умереть, там, дома, где все холодно и печально.

СКОРОСТЬ

Я хочу оставить Землю позади, поэтому я промчаюсь мимо моста через ручей у луга, мимо кормушки для оленей в темноте леса, сворачиваю у Моновица на углу Шукаммер и Кляйдеркаммер на улицу, в своем желании двигаться быстрее Земли, в любом направлении, куда бы меня ни увела эта мысль, ибо все сошлось в такой отправной точке, оставляя все позади, оставляя позади Землю, и я отправляюсь в путь, инстинктивно спеша, поступая правильно, потому что я направляюсь не на Восток, не на Юг, не на Север и не в каком-либо другом направлении относительно них, а на Запад, что правильно, хотя бы потому, что Земля вращается слева направо, то есть с запада на восток, это правильно, так обстоят дела, так казалось правильно, было правильно, с первой половины мгновения, в которое я отправился, поскольку все движется совершенно определенно с Запада на Восток: здание, утренняя кухня, стол с чашкой, чашка с дымящийся изумрудного цвета чай и аромат, поднимающийся спиралью вверх, и все травинки на лугу, усыпанные жемчужной утренней росой, и пустая кормушка для оленей в темноте леса, все это — каждое — движется согласно своей природе с Запада на Восток, то есть ко мне, мне, который хотел двигаться быстрее Земли, и бросился в дверь над лугом и темнотой леса, и должен был двигаться точно в западном направлении, в то время как все остальное, все творение, все вместе, каждая миллиардная миллиардной составляющей этого подавляюще огромного мира, непрерывно вращалась с невообразимой скоростью с Запада на Восток; или, скорее, я, который хотел двигаться быстрее, поэтому зафиксировал свою собственную скорость в противоположном, совершенно неожиданном направлении, в направлении, лежащем за пределами физики, то есть, выбрав это с явно инстинктивной свободой, я должен был поэтому бежать против него, против этого ужасающего мира и всего в нем, что составляет угол улицы, луг и лес, или, скорее, нет, как я болезненно осознал во второй половине мгновения, увы, конечно, не в этом направлении, противодействовать его движению было как раз худшим выбором, мой

Инстинкты заставили меня повернуть совершенно в неправильном направлении на углу, через поле и мимо темноты леса, когда мне следовало бы выбрать то же направление, с запада на восток, как это сделала Земля в своем, о!

Целостность, и вот, в мгновение ока, я немедленно повернулся вокруг своей оси, задаваясь вопросом, как мои инстинкты могли заставить меня так уверенно двигаться в направлении, противоположном движению Земли, ведь если бы я сделал это сейчас, ее скорость была бы такой же, как моя, ее и моя были бы одинаковыми, они имели бы положительное отношение друг к другу, объединяясь друг с другом для большего эффекта, по сути, делали бы одно и то же, Земля вращалась бы с Запада на Восток, я двигался бы с Запада на Восток, величественная неподвижность исходной точки, по-видимому, была бы абсолютной величиной, хотя было бы практически невозможно увидеть, как меньшая часть принадлежала бы Большему Целому, и как Большее Движение предоставило бы место этому маленькому встречному движению, одно независимое от другого, два связанных только одним способом, тем, что Большее Движение, позволяя этому маленькому встречному направлению функционировать внутри себя, и какое это было бы короткое замыкание, заключил я, уже поворачиваясь, но тогда почему я думал об этом, инстинктивно думал, более того, поскольку если мы говорим о одно единственное отношение, тогда это не могло быть ничем иным, как отношением одной вещи к другой, так что одна содержала другую, так что одна была частью другой, ее подчиненной частью, ее дочерней, ее младшим братом или ее младшей сестрой, переносимой Большим, в какую бы сторону оно ни двигалось, и Земля совершенно определенно и действительно правильно двигалась в единственном направлении, в котором она могла двигаться, то есть с Запада на Восток, и я был ее частью, внутри нее, я, который желал быть быстрее Земли, с движением которой мое было демонстративно связано самым строгим логическим образом, поскольку скорость — то есть Земли —

содержал мою скорость, мой спринт, факт в том, что так или иначе, что бы ни делала Земля, ее скорость определенно включала мою, в конце концов, какая бы Великая Перспектива ни использовалась, не имело значения, бежал ли я против ее направления движения — то есть регистрировался как отрицательное количество — или в том же направлении, то есть составлял плюс, просто для меня лично это было вопросом первостепенной важности, поскольку то, чего я точно хотел, — это двигаться быстрее Земли, другими словами, мне был нужен плюс, положительное значение, то есть, что имело значение, так это чтобы Маленькая Независимая Микро-тотальность двигалась как часть Великой Свободной Макро-тотальности — факт в том, что я просто бежал внутри Великой Внутренности Законов Физики, но на этот раз в абсолютно правильном

направление, то есть с запада на восток, в соответствии с движением Земли, поскольку именно таким образом, именно таким образом, конечно, мне пришлось бы бежать, чтобы быть быстрее Земли, бежать вместе с ней, так сказать, с запада на восток, и — внезапно эта мысль поразила меня, как молния, — я уже был быстрее, поскольку моя скорость теперь охватывала скорость Земли, то есть включала её, без того, чтобы мне нужно было сделать что-то большее, чем пошевелить мускулом, и таким образом, пробегая по поверхности Земли с запада на восток, я значительно упростил задачу, мне дышалось ещё легче, поскольку воздух здесь был свежим, я наслаждался ночью или рассветом свободы, или чем-то средним между ними, я был заперт в этом промежутке между ночью и рассветом, чувствуя себя совершенно спокойным, потому что, думая, что теперь я выбрал правильное направление, я двигался быстрее Земли, поскольку Земля — это мысль, как я думал в самом начале, и теперь я хотел двигаться быстрее мысли, оставить её позади, и это внезапно стало моей целью, и именно это я и сделал, когда свернул в Моновице на углу Шукаммер и Кляйдеркаммер, через луг с жемчужной травой, мимо моста через ручей, за темнотой леса, мимо пустой кормушки для оленей, поэтому было правильно, что я сначала инстинктивно двинулся в неправильном направлении, а затем исправился и в один миг повернул и двинулся в правильном направлении, с запада на восток, маленькая микро-целостность внутри Большой Макро-целостности, в этом случае мне оставалось только добавить свою скорость к ее скорости, что я и сделал, бежав так быстро, как только мог, мои ноги топали под огромным небом, которое менялось от ночи к рассвету, и в голове у меня не было ничего, кроме ощущения, что все так, как и должно быть, что я просто вношу свою долю скорости в скорость Земли, свою скорость в ее скорость, как вдруг меня осенила новая мысль, что, хорошо, все это очень хорошо, но как моя скорость соотносится со скоростью Земли, насколько быстрее был ли я, и был ли это интересным вопросом в первую очередь? то есть я затронул вопрос, насколько я быстрее Земли? и нет, это не интересно, сказал я себе, мои ноги всё время стучали, поскольку всё, что было интересно, это то, что я должен двигаться быстрее мысли, то есть я должен обогнать Землю, но затем младший брат во мне начал производить вычисления в моей голове, утверждая, что вот, с одной стороны, есть скорость Земли, этот величественно вызывающий, огромный, вечный per secundum, и вот, с другой стороны, мои лучшие усилия бежать с любой per secundum предоставленный случай, и

затем мне показалось, что мне подойдет любая относительная величина, чтобы бежать впереди Земли, что мне не нужно бежать особенно быстро, поскольку не будет большой разницы, если я немного сбавлю скорость, поэтому я немедленно замедлился, и стало ясно, как никогда, что есть бесчисленное множество способов быть быстрее Земли, для меня достаточно продолжать движение в направлении с запада на восток и достаточно просто бежать, не обращая внимания на магнитное сопротивление различных широт, которое кумулятивно увеличивается, и есть бесконечное число скоростей, из которых можно выбирать, поэтому для моей скорости бега доступны бесконечные значения, и, что еще важнее, думал я, все время продолжая уменьшать свою скорость, факт заключается в том, что будет достаточно, если... если я вообще двигался, то просто ставил одну ногу перед другой, главное — двигаться в направлении с запада на восток, просто не стоять на месте, поскольку существовали миллиарды миллиардов возможных скоростей, в этом случае я был свободен, совершенно свободен — или так я заметил, когда мои шаги инстинктивно замедлились —

совершенно свободен выбирать, с какой скоростью я буду двигаться, поскольку любое движение в правильном направлении приведет к движению быстрее Земли и, следовательно, быстрее мысли, поскольку Земля сама по себе является мыслью, и именно так я думал еще до того, как начал весь этот процесс некоторое время назад, именно так я думал, когда промчался мимо моста через ручей у луга, мимо кормушки для оленей в темноте леса и свернул в Моновице на углу Шукаммер и Кляйдеркаммер.

Если я не совершу ошибок, сказал я себе, если я продолжу идти в правильном направлении, если я просто буду двигаться, просто продолжу идти по свежему рассветному воздуху, я добьюсь того, чего намеревался, и буду быстрее Земли — только темнота леса будет отступать вдаль, только луг, только угол улицы, только запах того изумрудного тумана, исчезающего во времени навсегда, в бесконечности, безвозвратно.

ХОЧЕТ ЗАБЫТЬ

Мы находимся в процессе циничного самоанализа, как не слишком славные дети не слишком славной эпохи, которая сочтёт себя по-настоящему состоявшейся лишь тогда, когда каждый её терзающийся индивидуум, прозябая в одной из самых глубоких теней человеческой истории, наконец достигнет печальной и временно самоочевидной цели: забвения. Этот век хочет забыть, что проиграл всё сам, без посторонней помощи, и что он не может винить в этом чужие силы, судьбу или какое-то тёмное, далекое влияние; мы сами это сделали: мы покончили с богами и идеалами. Мы хотим забыть, ибо не можем даже собраться с достоинством, чтобы признать наше горькое поражение: ибо адский дым и адский алкоголь сожрали всю нашу индивидуальность; по сути, дым и дешевые спиртные напитки — это все, что осталось от тоски былого метафизического путешественника по ангельским сферам, — ядовитый дым, оставленный тоской, и тошнотворные духи, оставшиеся от сводящего с ума зелья фанатичной одержимости.

Нет, история не закончилась, и ничто не закончилось; мы больше не можем обманывать себя, думая, что что-то закончилось вместе с нами. Мы лишь продолжаем что-то, каким-то образом поддерживая это; что-то продолжается, что-то продолжает существовать.

Мы всё ещё создаём произведения искусства, но уже даже не говорим о том, как — настолько это далеко от воодушевления. Мы принимаем за основу всё то, что до сих пор обозначало природу человеческого существования, и послушно, фактически не имея представления об этом, подчиняясь строгой дисциплине, но на самом деле увязая в трясине уныния, мы снова погружаемся в мутные воды воображаемой полноты человеческого существования. Мы даже больше не совершаем ошибку диких юнцов, утверждая, что наш суд — окончательный суд, или заявляя, что здесь конец пути. Мы не можем утверждать, что, поскольку ничто больше не имеет для нас смысла, произведения искусства больше не содержат повествования или времени, и не можем утверждать, что другие когда-либо смогут найти способ понять вещи. Мы заявляем, что оказалось бесполезным игнорировать наше разочарование и устремляться к более благородной цели, к более высокому

власть, наши попытки позорно терпят крах. Напрасно мы говорим о природе, природа этого не хочет; бесполезно говорить о божественном, божественное этого не хочет, и вообще, как бы нам ни хотелось, мы не способны говорить ни о чём, кроме себя самих, потому что мы способны говорить только об истории, о человеческом существе, о том неизменном качестве, сущность которого имеет столь волнующую актуальность только для нас; в противном случае, с точки зрения этого «божественного иного», эта наша сущность, возможно, и вовсе не имеет никакого значения, во веки веков.

КАК ЛЮБИТЬ ЛИ

Как было бы прекрасно, мир, который мы могли бы закончить, организовав цикл лекций — где угодно в этом уходящем мире — и дав ему общий подзаголовок «Цикл лекций по теории площади», где один за другим, как на цирковой арене, лекторы со всех концов света говорили бы о «теории площади»: физик, за которым следовали бы историк искусства, поэт, географ, биолог, музыковед, архитектор, философ, анархист, математик, астроном и так далее, и где перед постоянной, никогда не меняющейся аудиторией этот физик, этот историк искусства, тот поэт, тот географ, тот биолог, тот музыковед, тот архитектор, тот философ, тот анархист, тот математик, тот астроном и так далее излагали бы свои мысли о площади со своей собственной точки зрения, имея в виду общее название цикла лекций «Площади нет»,

указывая на особую связь между этим названием и предметом, чтобы художник или учёный мог говорить об этом, подходя к этому с соответствующей точки зрения — поэзии, музыки, математики, архитектуры, изобразительного искусства, географии, биологии, языка поэтики и физики, философии, анархии, — сообщая нам, что он думает и что рекомендует нам думать о пространстве, — и всё это под эгидой обобщающего утверждения, отрицающего само существование этого предмета, пространства. Противоречие, однако, лишь кажущееся; этот цикл лекций мог бы с таким же успехом носить (с горечью) название

«Всё есть Площадь» так же объективно, как и её само название «Нет никакой Площади». Ведь лекторы говорили бы о значении — для них и для нас — существа, с чьей точки зрения, при взгляде на вселенную, Площадь существует; они бы читали лекции о важности вопроса, а именно: может ли неоспоримая ограниченность человеческой точки зрения привести нас к весомому, хотя и недоказуемому утверждению — а согласно другой точке зрения, помимо человеческой, это мыслимо, — что никакой Площади нет, что так обстоят дела, и тем не менее для нас, независимо от того, куда мы смотрим, мы видим разрушенными и нетронутыми только Площади, Площади за Площадями повсюду; при условии, что мы достигли точки, где, запертые в заколдованно ограниченном пространстве

с человеческой точки зрения, приближаясь к случайному завершению мучительного духовного путешествия, мы должны прийти к выводу: за пределами этого завораживающего заключения мы на самом деле не настаиваем ни на чем другом, ни на чем другом, даже на существовании любого рода, мы больше не настаиваем даже на существовании, только на обещании, что однажды в какой-то области, среди глубочайшей красоты и распада, мы можем увидеть что-то, что-то, что относится нам.

AT THEL AT EST, INTURIN

Более ста лет назад, в 1889 году, в такой же день, как сегодня, в Турине Фридрих Ницше вышел из ворот дома номер 6 по улице Виа Карло Альберто, возможно, чтобы прогуляться, а возможно, забрать почту на почте. Неподалёку, а может быть, и слишком далеко, извозчик наёмного экипажа с трудом справляется со своей, как говорится, неукротимой лошадью. Когда после нескольких попыток лошадь всё ещё отказывается двигаться с места, извозчик

— Джузеппе? Карло? Этторе? — теряет терпение и начинает бить лошадь кнутом. Ницше подходит к предположительно собравшейся толпе, и на этом жестокое представление извозчика, несомненно, уже с пеной у рта от ярости, заканчивается: джентльмен гигантского роста с густыми усами — к едва скрываемому удовольствию прохожих — неожиданно выпрыгивает перед извозчиком и, рыдая, обнимает лошадь за шею. В конце концов, хозяин дома Ницше отвозит его домой, где тот два дня лежит неподвижно и безмолвно на диване, пока не произносит обязательные последние слова (« Mutter, ich bin dumm »), после чего живёт безобидным безумцем ещё десять лет на попечении матери и сестры. Что стало с лошадью, мы не знаем.

Эта история, подлинность которой весьма сомнительна, — тем не менее, обрела достоверность благодаря естественной произвольности, ожидаемой в подобных случаях, — служащая образцом драмы интеллекта, особенно ярко освещает финальную стадию духа. Демоническая звезда живой философии, ослепительный противник так называемых «общечеловеческих истин», неподражаемый борец, почти бездыханный противник жалости, прощения, доброты и сострадания —

Обнять шею побитой лошади? Прибегнем к непростительно вульгарному, но неизбежному обороту речи: почему бы не обнять шею извозчика?

При всем уважении к доктору Мёбиусу, для которого это был простой случай начала прогрессирующего паралича, вызванного сифилисом, мы, поздние наследники, становимся свидетелями вспышки осознания трагической ошибки: после долгой и мучительной борьбы само существо Ницше сказало «нет» цепочке мыслей

В его собственной философии это имело особенно адские последствия. По мнению Томаса Манна, ошибка заключалась в том, что «этот кроткий пророк, живший в безудержных страстях, считал жизнь и мораль антагонистами. Истина же, — добавляет Манн, — в том, что они неразрывно связаны. Этика — основа жизни, а нравственный человек — истинный гражданин её царства».

Утверждение Манна — абсолютность этого благородного заявления — настолько прекрасно, что возникает искушение не торопиться и уплыть с ним, но мы сопротивляемся: нашим кораблём управляет Ницше из Турина, а это требует не только иных вод, но и иных нервов, можно даже сказать, если воспользоваться удачным оборотом речи, нервов, словно стальных канатов. И они нам действительно понадобятся, поскольку, к нашему удивлению и огорчению, мы прибудем в ту же гавань, куда ведёт изречение Томаса Манна; нам понадобятся эти стальные нервы, потому что, хотя гавань та же самая, наши чувства там будут совершенно иными, чем те, что обещает Манн.

Драма Ницше в Турине говорит о том, что жизнь в соответствии с духом морального закона не является почётным званием, ибо я не могу выбрать его противоположность. Я могу жить, пренебрегая им, но это не означает, что я свободен от его таинственной и поистине безымянной силы, которая связывает меня с ним неразрывными узами. Ибо если я живу вопреки ему, то я, безусловно, могу найти свой путь в общественном существовании, созданном человечеством и потому неудивительно жалком, в жизни, в которой, как утверждал Ницше, «жить и быть несправедливым — одно и то же», но я не могу найти выхода из неразрешимой дилеммы, которая снова и снова ставит меня в тупик, стремясь постичь смысл моего существования. Ибо так же, как я являюсь частью этого человеческого мира, я также являюсь частью того, что по какой-то неизвестной причине я продолжаю называть большим целым, большим целым, которое — если воспользоваться выражением, отдавая дань уважения категоричному Канту — вселило в меня именно этот императив: наряду с меланхолическим могуществом свободы есть и свобода нарушать закон.

К этому моменту мы уже скользим среди буев, обозначающих гавань, действуя почти вслепую, поскольку смотрители маяков спят и не могут руководить нашими маневрами, — и поэтому мы бросаем якорь во мраке, который мгновенно поглощает наш вопрос о том, отражает ли это большее целое высший смысл закона. И вот мы ждём, ничего не зная, и просто смотрим, как с тысячи сторон наши собратья-люди...

Медленно приближаясь к нам; мы не посылаем никаких посланий, только смотрим и храним молчание, полное сострадания. Мы верим, что это сострадание внутри нас уместно само по себе, и что оно будет уместно и в тех, кто приближается, даже если это не так сегодня, то будет так завтра... или через десять.

... или через тридцать лет.

Самое позднее — в Турине.

THEWORLDGOESO

Она была довольно надежно связана, но затем она высвободилась, и все, что мы об этом знаем, это то, что то же самое, что и удерживало ее прежде, освободило ее, и это все, было бы верхом глупости утверждать, представлять, категорически обозначать силу, то есть конкретно это высвобождение силы, эту неизмеримо обширную, озадачивающую систему, которая действительно неизмерима, действительно озадачивает, другими словами: для нас навсегда непостижимое действие неотвратимой модальности случая, в которой мы искали и находили законы, но на самом деле за героические века прошлого мы так и не узнали ее, так же как мы можем быть уверены, что не узнаем ее и в будущем, ибо все, что мы когда-либо могли, можем и когда-либо сможем узнать, — это последствия неотвратимой случайности, те ужасающие моменты, когда кнут щелкает, он щелкает и обрушивается на наши спины, точно так же, как кнут щелкает по этой случайной вселенной, которую мы называем мир и высвобождает то, что было надежно связано, то есть когда — а именно сейчас — оно снова высвобождается в мир, то, что мы, люди, вечно и неоднократно настаиваем называть новым, беспрецедентным, хотя это, конечно, нельзя назвать новым или беспрецедентным, в конце концов, оно было здесь с самого сотворения мира, или, если выразиться точнее, оно прибыло одновременно с нами, или еще точнее, через нас, и всегда так, так что мы могли и можем распознать его прибытие только постфактум, ретроспективно; оно уже здесь к тому времени, как мы осознаем, что оно снова пришло, всегда заставая нас неподготовленными, хотя мы должны знать, что оно приближается, что оно закреплено лишь временно, мы должны слышать скрежет, ослабление его цепей, шипение узлов, развязывающихся в дотоле тугой веревке, глубоко внутри нас мы должны ЗНАТЬ, что оно вот-вот вырвется на свободу, и именно так должно было быть и на этот раз, мы должны были знать, что так оно и будет, что оно обязательно придет, но мы только проснулись, осознав, если вообще проснулись, что оно уже здесь, и что мы в беде, мы убедились в своей беспомощности, под которой мы лишь подразумевали, что мы всегда были такими, ибо мы навсегда беспомощны

— когда оно здесь — беспомощно и беззащитно, и думать об этом именно в первые часы после атаки оказалось настолько неловко, что вместо этого мы начали беспокоиться о том, что произошло, как это произошло, кто они и почему они это сделали, беспокоиться о крахе Башен-близнецов и обрушении Пентагона, как это произошло, как они рухнули и обрушились, и кто были виновники, и как они это сделали, тогда как то, о чем мы прежде всего должны были, и к настоящему времени, безусловно, должны, беспокоиться и наконец осознать: то, что на самом деле произошло, невозможно постичь, что, кстати, неудивительно, поскольку приход того, что до сих пор было довольно хорошо сдержано, но теперь каким-то образом вырвалось на свободу, всегда без исключения сигнализирует о том, что мы вступили в новую эру, сигнализирует о конце старого и начале нового, и никто не «консультировался с нами» по этому поводу, нет, мы даже не заметили, когда все это происходило, слова «поворотный момент» и «рассвет новой эры» едва вылетели из наших уст, как именно эта критическая, привязанная ко времени природа поворотного момента и рассвета стала нелепой, когда мы осознали, что внезапно мы живем в новом мире, вступили в радикально новую эру, и мы ничего из этого не понимали, потому что все, что у нас было, устарело, включая наши условные рефлексы, наши попытки понять природу процесса, как «все это» «последовательно» перешло оттуда сюда, все было так же устарело, как и наша убежденность полагаться на опыт, на трезвую рациональность, опираться на них, исследуя причины и доказательства того, что это действительно произошло с нами, несуществующие или для нас недоступные причины и доказательства, теперь, когда мы действительно оказались в совершенно новой эре, другими словами, вот мы стоим, все до одного, как и прежде, моргая и оглядываясь по сторонам тем же старым способом, наша агрессивность выдает старые неуверенности, глупая агрессивность в то время, когда мы еще даже не начали бояться, все еще настаивая на лжи, что нет, это ни в коем случае не было радикальным изменением в нашем мире, ни в коем случае не было концом одной мировой эпохи и началом новой, каждый из нас устарел, я, возможно, один из самых устарелых из всех, теперь ощущающий давно отсутствовавшее чувство общности с другими, очень устарелый, действительно безмолвный в самом глубоком смысле этого слова, потому что 11 сентября меня осенило, как укол физической боли, что, боже мой, мой язык, тот, на котором я мог сейчас говорить, был таким старым, таким забытым Богом древним, как я его растягивал, придирался, изворачивался и вертел, толкал и тянул его, чтобы двигаться вперед, донимал его,

продвигаясь, нанизывая одно древнее слово за другим, как бесполезен, как беспомощен и груб этот язык, этот мой язык, и как великолепен он был прежде, как ослепителен и гибок и уместен и глубоко трогателен, но теперь он совершенно утратил весь свой смысл, силу, простор и точность, все исчезло, и затем в течение нескольких дней я размышлял об этом, смогу ли я когда-нибудь, смогу ли я когда-нибудь внезапно выучить какой-нибудь другой язык, без которого это было бы совершенно безнадежно; я понял это сразу, глядя на пылающие, падающие Башни, а затем представляя их себе снова и снова, и я понял, что без совершенно нового языка невозможно понять эту совершенно новую эпоху, в которой вместе со всеми остальными я внезапно оказался; Я размышлял и терзал себя днями напролёт, после чего мне пришлось признать, что нет, у меня нет никаких шансов внезапно выучить новый язык, я был, как и другие, слишком большим пленником старого, и не было другого выхода, заключил я, кроме как отказаться от всякой надежды когда-либо понять, что происходит здесь внизу, поэтому я сидел в глубоком унынии, глядя в окно, как снова и снова эти гигантские Башни-Близнецы падали, падали и падали, я сидел там, глядя, и используя эти старые слова я начал описывать то, что я видел вместе с другими, в этом новом мире, я начал записывать то, что чувствовал, чего не мог постичь, и старое солнце начало садиться в старом мире, тьма начала опускаться по-старому в моей старой комнате, когда я сидел у окна, как вдруг какой-то ужасный страх начал медленно подкрадываться ко мне, я не знаю, откуда он взялся, я просто чувствовал, как он растёт, этот страх, который какое-то время не открывал, что это такое, только то, что он существует и рос, и я просто сидел там совершенно беспомощный, наблюдая, как этот страх растет во мне, и я ждал, может быть, через некоторое время я догадаюсь о природе этого страха, но этого не произошло, совсем нет, этот страх, хотя и постоянно рос, ничего о себе не выдавал, он отказывался раскрывать свое содержание, так что, понятное дело, он начал беспокоить меня о том, что делать дальше, я не мог сидеть здесь вечно с этим страхом, который скрывал его содержание, но я все еще сидел там, оцепеневший, у окна, пока снаружи эти две Башни продолжали падать, падать и падать, как вдруг мои уши уловили скрежет, как будто вдали гремели громоздкие цепи, и мои уши уловили легкий скребущий звук, как будто надежно связанные веревки медленно ослабевали — все, что я мог слышать, был этот скрежет и этот страшный скрежет, и я снова подумал о своем древнем языке и о полной тишине, в которую я упал, я сидел там, глядя наружу и как

Абсолютная темнота наполнила комнату, и только одно было совершенно ясно: оно вырвалось на свободу, оно приближалось, оно уже было здесь.

УНИВЕРСАЛЬ ТЕСЕЙ

Теперь, наконец: для Сэмюэля Беккета

1:150

ПЕРВАЯ ЛЕКЦИЯ

я

Я не знаю, кто вы, господа.

Я не смог разобрать название вашей организации.

И, честно говоря, я должен признаться, что не совсем понимаю, какую лекцию вы ожидаете от меня здесь прочитать.

В конце концов, вы должны понимать, что я не лектор.

Я много думал об этом вопросе, я ломал голову, пытаясь выяснить, в чем дело, так же, как я пытаюсь это сделать сейчас перед вами, но лучше признать, что мне это не удалось: я просто не знаю, чего вы от меня ждете, и у меня есть нехорошее предчувствие, что, возможно, вы сами не совсем это понимаете.

Мне также пришло в голову, что, возможно, вы меня с кем-то путаете. Вы хотели пригласить одного человека, но он был занят, и только поэтому вы выбрали меня, потому что я больше всего напоминаю вам этого человека.

Вы ничего не говорите.

Ладно, мне все равно.

Господин президент, господа, я буду говорить о меланхолии.

И начну я с далекого прошлого.

II

В одно из последних десятилетий двадцатого века, в самой глубокой аду того десятилетия, в суровую морозную ночь в конце ноября,

Призрачный тягач с прицепом двигался по главной улице к рыночной площади небольшого городка в низменности юго-восточной Венгрии. На первый взгляд, его длина составляла около тридцати метров, а высота... высота по сравнению с длиной и шириной казалась слишком большой, и эти гигантские размеры, естественно, сочетались с огромным весом, ведь всё это покоилось на двух парах по восемь сдвоенных колёс. Боковины были сделаны из синей гофрированной жести, на которой неумелая рука нарисовала желтой краской загадочные фигуры, и хотя вся эта ветхая штуковина должна была быть сравнима с товарным вагоном, она нисколько не походила и не напоминала ничего подобного, не только из-за своих гигантских размеров, веса и колес, не потому, что эти грубо намалеванные фигуры и их пугающая неразборчивость мгновенно лишали это транспортное средство всякого сходства с вагоном, но главным образом потому, что у него не было дверей, ничего, что могло бы напоминать дверь, как будто первоначальный план состоял в том, чтобы поручить подземной мастерской построить такое-то транспортное средство из синей гофрированной жести с двумя парами по восемь сдвоенных колес, но без дверей, не было никакой необходимости в каких-либо дверях, даже сзади, все верно, никаких дверей, ни одной, спасибо, потому что если вы возьметесь за это, господа, это будет вашим шедевром жестянщиков, вот что, должно быть, звучало в заказе, это будет будь то ваш импровизированный шедевр, это, должно быть, и есть суть отрывочных инструкций, данных подземным рабочим, вы строите это транспортное средство не только для того, чтобы его мог открывать и закрывать кто угодно, достаточно, чтобы я, заказчик работы, открывал и закрывал его, когда захочу, и если я это сделаю, то это будет происходить изнутри, одним моим жестом.

Должно быть, так оно и было, потому что при первом взгляде у вас сложилось определенное впечатление, что любые домыслы о подземных мастерских, таинственных жестянщиках и клиенте, личность которого оставалась полной загадкой, будут полностью оправданы, поскольку вдобавок ко всему этому нужно было подумать о немыслимой медлительности, с которой его тащил шаткий тягач с прицепом, натужно преодолевавший ледяной ветер, и о невыносимо долгом ночном путешествии, которое это необычайное приспособление должно было совершить, прежде чем затормозить на рыночной площади.

Не желая злоупотреблять вашим терпением, я не буду вдаваться в дальнейшие подробности; достаточно сказать, что это было совершенно призрачное явление, которое, пробившись сквозь ветер, и, достигнув площади, остановилось с хрипом, и мне не нужно говорить, что его призрачный вид был прежде всего обусловлен

к тому, что было скрыто внутри, к грузу, для перевозки которого он был предназначен и построен, и эта призрачная атмосфера была также обязана тем, кто сопровождал ужасного пассажира в транспортном средстве, гремя вместе с ним всю дорогу с Востока и через Карпатские горы, то есть экипажу, и, наконец, это было также связано с многозначительным и зловещим антуражем — примерно тремястами громоздкими фигурами, привлеченными из деревень и ферм региона этим кошмарным транспортным средством, как лунатиков влечет Луна, и которые, прибыв на предрассветных поездах и ведомые плакатами, уже пробирались по главной улице маленького городка, чтобы встать там на рассвете, все триста, по-видимому, завороженные.

Местные жители, конечно, были осведомлены не только из афиш, но и из слухов, прибывших задолго до прибытия этой труппы, так что когда утром они своими глазами увидели странный груз на рыночной площади, все, что они сказали, было: «Ага, значит, это все-таки правда, а не просто слухи, значит, это не просто беспочвенные сплетни, да-да, вот и весь бродячий цирк с китом и всей его свитой, несомненно, действительно прибыл».

Уважаемый генеральный директор, почтенная публика, они, местные жители, из всех слухов, ходивших вокруг, узнали почти всё, что можно было узнать об этой труппе — перечитывать надписи на афишах не было нужды — что в гигантском цирковом грузовике, припаркованном посреди рыночной площади, находится самый большой кит в мире. Они уже знали о чудовищно тучном директоре и о вечно дымящейся сигаре, которую он время от времени поднимал в предостерегающем жесте, и о неподвижном, бесстрастном фактотуме, как молва называла другого члена команды, похожего на борца, и что эти двое, плюс якобы самый большой кит в мире, уже успели натворить немало бед по пути сюда.

Итак, эти местные жители знали довольно много, и если бы я сказал, что они испытывали по этому поводу мучения тревоги, никто бы не удивился, ведь, в конце концов, жители этого города жили в мире, где все, в порыве ненависти, вызванной страхом перед человеческой природой, были убеждены, что человечество уничтожит себя. Поэтому они знали очень многое, как мелочи, так и самое главное, а именно, что скрывается за этой стеной из гофрированного железа, они согласились, что за ней скрывается ужасный, огромный кит, но что этот кит, возможно, что-то скрывает, что сам кит может быть заменой чего-то другого, в других отношениях.

словами эта огромная туша была одновременно и посланником, и сообщением... ну... горожане совершенно не подозревали об этом.

Началось мучительное, долгое ожидание, затянувшееся до самого вечера, когда гигантский запертый контейнер наконец-то открылся для полузамерзшей публики. Медленное, шаркающее шествие двинулось к внутренней части гигантского контейнера через внезапно образовавшийся вход, когда Фактотум опустил заднюю жестяную стену. И всё это довольно быстро закончилось, потому что, обойдя всё изнутри, заворожённая толпа зрителей уже снова собралась снаружи, на площади. Однако никто не двинулся с места, никто не направился по главной улице обратно к вокзалу, они оставались там в ожидании, стоя и глазея на открытый вход в кит, ибо раньше им хватило одного взгляда: едва эти триста бродяг бросили взгляд на тушу кита, покоящуюся на низкой деревянной платформе, они уже двинулись к выходу, шаркая, а затем, как само собой разумеющееся, расположились поблизости, рядом с китом, не сдвинувшись ни на дюйм.

Уважаемый господин Президент-Генеральный директор (простите, если я использую некорректную форму обращения) и уважаемая публика: в отличие от местных жителей, эти триста человек своим поверхностным осмотром, а затем своим полным нежеланием сдвинуться с места, дали понять, что кит внутри просто что-то прикрывает и что они пришли не за самим китом, а за тем, что находится за ним.

Есть книга, в которой прямо говорится, что с этого момента все в этом городе пошло наперекосяк самым адским образом, то есть буквально начался ад, и книга намекает, что знает, каким может быть этот ад, знает, что произошло потом, что на самом деле скрывал этот кит на рыночной площади в самой глубокой преисподней шестидесятых или семидесятых годов.

Если вы простите мне произвольное, самонадеянное использование первого лица множественного числа, то позвольте мне выразиться так: не найдя никакого высшего смысла, мы чувствуем себя достаточно раздавленными, чтобы пресытиться литературой, которая притворяется, будто таковая существует, и постоянно намекает на некий высший смысл. Мы отказываемся мириться с литературой, которая по сути, по самой своей сути, настолько радикально лжива, мы так остро нуждаемся в высшем смысле, что просто больше не можем терпеть ложь, больше не можем мириться с этой литературой, и, по сути, нас тошнит не от возмущения, а от скуки и отвратительного уровня этой лжи; ну что ж, учитывая вышесказанное, в полной мере...

Согласившись с вами, господа, я сам могу теперь заявить, что утверждать, будто существует некая книга, которая знает, которая обещает раскрыть и поведать нам, и только нам, о том, что вырывается на свободу вслед за одним из этих гигантских китов, — это либо коварная наглость, либо гнуснейший вздор, одним словом, ложь, конечно же, ибо никто не знает, что на самом деле высвобождается в такие моменты, никто, и ни одна книга этого не знает, потому что это определенное нечто полностью скрыто китом.

Господин главный советник, уважаемые господа!

III

Если все это происходило в конце шестидесятых, то мне было лет десять, а если в начале семидесятых, то лет пятнадцать; в любом случае, я отчетливо помню, как в то утро шел в школу, слегка вздрогнул и отмахнулся от всего этого, думая: «Какой дешевый обман, вонючая туша, да еще и пятьдесят форинтов в придачу, ни за что не потрачу столько из своих пасхальных карманных денег», — думал я, проходя мимо жестяной колоссы на площади Кошута, припаркованной прямо у тротуара, по которому я шел в школу.

Так все и началось утром, но после школы — в тот день, должно быть, стемнело довольно рано — по дороге домой я все больше и больше заинтриговывался, пока наконец тоже не прокрался обратно на площадь Кошута, как и многие другие, которые с огромной суммой в пятьдесят форинтов в кармане поспешили из дома, украдкой выскользнув, чтобы скрыться от родительских глаз.

Я сбежал обратно на площадь Кошута и отсчитал свои пятьдесят форинтов в ладонь Фактотума, и даже само стояние рядом с Фактотумом создавало ощущение, будто переступил некую границу, за которой лежали вещи, возможно, великолепные, возможно, обычные, но, во всяком случае, ужасные и опасные. Конечно, я не могу сейчас вспомнить, чего я ожидал тогда увидеть; поднявшись на доски, я попал внутрь экипажа, но я, должно быть, был уверен, что зрелище будет, возможно, великолепным, возможно, обычным, но, во всяком случае, устрашающим и опасным, и у меня, должно быть, было собственное предубеждение, что это явно то или другое; однако то, что оказалось на самом деле, было совершенно неожиданным, не потому, что кит был слишком похож на мои ожидания или слишком сильно отличался от них, нет, совсем нет, а потому, что я сразу заметил, как жалко он лежал на этом низком каркасе из массивных балок.

смутно вырисовывалось в свете нескольких тусклых ламп, и я почти сразу понял, что эта загадка, кит, сопротивлялась и всегда будет сопротивляться любому объяснению.

Чтобы обойти кита, нужно было подойти к нему очень близко, особенно к голове, где нужно было повернуть, чтобы выбраться оттуда, и эта близость, близость такого количества сдерживания, чуть не выбила меня из колеи к тому времени, как я добрался до головы и свернул к выходу. Сердце лихорадочно колотилось, что-то сжимало горло, и, повернувшись, я, кажется, чувствовал одновременно сострадание, потрясение и стыд, но затем, сделав несколько шагов, уже на другой стороне, я на мгновение остановился среди всеобщего таращания глаз и шарканья, чтобы просто смотреть на кита, пытаясь охватить всё одним взглядом, и когда мне это удалось, у меня больше не было никаких мыслей, мне больше не хотелось, и в любом случае я не смог бы назвать то, что чувствовал — было ли это состраданием? Что это было? и я отключил свой разум, мой мозг перестал функционировать, только эмоции заработали на пределе, как может внезапно нахлынуть волна удушающего жара, обморок, бездонное оцепенение. Тогда я, конечно же, не мог пробормотать ни слова об этом — ни там, ни снаружи, и, спустившись на цыпочках по доскам, мне пришлось буквально пробираться сквозь толпу неподвижных людей в стёганых куртках, сапогах и ягнячьих шапках, чтобы сбежать с площади Кошута. Неспособный тогда произнести ни слова, теперь я наконец-то могу рассказать, что произошло со мной тогда и, полагаю, с другими там же, в шестидесяти или семидесяти с чем-то, потому что сегодня я могу недвусмысленно сказать, что кит, лежавший там на той платформе из балок и перекладин в тусклом свете, как бы посвятил меня, а может быть, и других, в состояние меланхолии; Пока я смотрел на кита и шаркал вокруг него в гнилостной внутренности этой штуковины, бесконечная меланхолия охватила мою душу... с чем мне ее сравнить? Она была как мед.

— знаете, такого рода, когда одной ложки достаточно, чтобы убить кого угодно.

Какой-то смертельный мед, вот какова была на вкус эта меланхолия, но я очень надеюсь, что не введу никого из вас в заблуждение этим сравнением, потому что, используя его — это сравнение — я не хочу подразумевать, что эту меланхолию невозможно идентифицировать саму по себе, или что эта меланхолия, вне себя, несет в себе какое-то референциальное содержание, какой-то маленький анекдот, тайные указания или дорожную карту в ложке меда, нет, вовсе нет, этой меланхолии не требовалось ничего другого для того, чтобы возникнуть, она просто вошла

душу, чтобы сравнить ее, как я это делал раньше, с роковой сладостью меда, как-то связать ее задним числом с этой ложкой меда, — только падший человек во мне может попытаться сделать это, тот, кто, помимо своего позора, прекрасно знает, что все остальные здесь также прекрасно осознают абсурдную необходимость и в то же время несомненную неудачу введения сравнения только для того, чтобы затем его изъять.

Уважаемый Генеральный секретарь, уважаемое собрание! словно смертоносный мед, в том смысле, который я обозначил мгновением ранее, навалилась на меня тогда эта меланхолия, при виде особой привлекательности, которую принес в наш маленький городок бродячий цирк, прибывший с Востока, откуда-то с Балкан, и этим я не хочу сказать, что именно здесь зародилась моя особая чувствительность к меланхолии, и что я выбрал эту историю с китом лишь для того, чтобы торжественно объявить, о чудо, что эта отнюдь не рядовая встреча знаменует собой для меня исходную точку понимания, понимания того, что путь к «фундаментальным вещам», как я их называл, ведет через меланхолию, потому что нет, напротив, это отнюдь не была торжественная нулевая точка, фон эт origo понимания для меня, потому что это уже пронзило меня в более ранние времена, эта чувствительность, должно быть, была со мной при рождении, или, возможно, она родилась однажды днем, когда стемнело слишком рано, и сумерки застали меня одного у окна в маленькой комнате, или, кто знает, может быть, даже раньше, когда я еще был в своей кроватке, оставленный один в один из тех дней, когда сумерки наступают слишком рано, — в конце концов, не имеет значения, когда я впервые проснулся, — и я начал смаковать смертельную сладость этого меда, как только я проснулся к нему, и это началось, и с тех пор в разное время и в разных местах оно нападало на меня, наиболее заметно, конечно, в шестидесяти или семидесятых годах на площади Кошута, за той синей рифленой жестянкой.

Итак, его начало окутано густой пеленой тумана, возможно, это было ещё до эпохи колыбели, кто знает, насколько рано может представиться случай для возникновения подобной чувствительности; во всяком случае, с тех пор совершенно нормальное любопытство, которое развивается в человеке довольно рано — может быть, ещё в то время, когда с неотрывным взглядом и кивком головы, чтобы что-то исследовать, человек впервые отправляется по полу ползать на четвереньках, как черепаха, — вполне возможно, что именно тогда в развитии этого самого нормального любопытства, то есть его направление и даже скорость, уже коренным образом изменились во мне. Моя пригодность или

Склонность к меланхолии указала этому моему вполне нормальному любопытству совершенно иной путь, так что я почти должен сказать, что эта чувствительность пожирала мое вполне нормальное любопытство, всегда нацеливаясь на одну и ту же точку, всегда направляя его в одно и то же место, к сущности мира, как я позже это назвал, хотя во всяком случае любопытство, если его еще можно было так назвать, всегда наталкивалось на эту самую меланхолию, а не на сущность мира.

Конечно, все это можно выразить проще, например, скажем, вы направляете свое внимание на эту сущность мира, где

— как я еще позже уверовал, — ангелы и демоны обитают вместе, и поэтому при первом жесте, при первом побуждении достичь этой сущности, тоска мгновенно охватывает душу... да, можно попытаться выразить это проще, но то, что нужно сказать, от этого не станет проще.

Не знаю, как вы отнесетесь к тому, что этот лектор, сидящий перед вами, позволит себе здесь исповедь, я понимаю, что такие вещи всегда неловки, но, уважаемые господа, уважаемый генерал — и ещё раз прошу прощения, если обращаюсь к вам некорректно — простите меня, пожалуйста, на этот раз, если я сделаю это признание, противоречащее вашим и моим собственным представлениям о хорошем вкусе, но я должен раскрыть эту важную информацию: всю свою жизнь я жил и продолжаю жить под облаком этой особенной меланхолии, с неудержимым порывом взглянуть на самую ось мира, которая, однако, совершенно скрыта за всепоглощающим туманом этой меланхолии. Это погубило всю мою жизнь и опустошает меня по сей день, поскольку с самого начала я не то чтобы пытался избежать этого, избавиться от этого, напротив, я практически... как бы это сказать? Я охотился за ним, даже если это была не охота в классическом смысле, когда сильный преследует слабого, а скорее охота очень слабого на очень сильного.

Да, ось мира, господин Генеральный директор, уважаемая аудитория!

IV

Если я сейчас утверждаю, что меланхолия — самое загадочное из притяжений, влекущее нас к недостижимому центру вещей, то вы имеете право улыбнуться, ибо вы уже слышали столько противоречивых вещей от этого

лектор: что меланхолия, с одной стороны, является главным препятствием для видения, а с другой — это то желанное место в послеполуденных сумерках, и бог знает что еще, все это нагромождено одно на другое.

Я думаю, теперь вам должно быть очевидно, что этот лектор не может сообщить вам ничего нового по теме своей лекции.

Да, так было уже тогда, когда вы позвонили мне и попросили выступить с докладом, многозначительно объявив, что оставляете выбор темы за мной, и добавив: «Чувствую себя совершенно свободной», на что я подумал: «Отлично, раз всем все равно, я выберу меланхолию»; но я никогда не задумывался, как я себя поведу, потому что все время ломал голову: почему я, из всех людей почему именно я?

И вообще, как я могу сказать что-то новое, если нет ничего нового под солнцем?

В конце концов, меланхолия, о которой я говорю — и которую, ради порядка, я сейчас перечислю, — знакома всем нам. Она может обрушиться на жизнь, которую она хотела бы разрушить, из трёх источников. Первый и самый неисчерпаемый — это жалость к себе, не просто та, о которой даже детская поговорка гласит: «Она дурно пахнет», а та, когда жалеешь себя без всякой причины. Никто тебе не вредит, всё хорошо, ты сидишь молча, один в безлюдном парке после дождя или в уютной комнате за границей, перед рассветом или с наступлением темноты, и эта жалость к себе подстерегает и застаёт тебя врасплох, пожирая и неотвратимо, потому что именно тогда ты, сам того не понимая, понимаешь, что ничего не существует.

Второй источник — переход в минорную гамму в музыке. Где бы и когда бы я ни замечал этот момент, когда в каком-нибудь музыкальном произведении мажор внезапно переходит в минор, скажем, ля после до, эта музыка мгновенно разрывает мне сердце, я воспринимаю это лично, как будто это случилось специально для меня, моё лицо искажается гримасой, словно от мучительного удовольствия; словом, я погружаюсь в меланхолию и сижу, слушаю, думаю: ах, какая красота — когда это была всего лишь меланхолия.

Но самая продолжительная и глубокая меланхолия возникает из-за любви.

Однако я больше ничего не скажу по этому поводу. Не думаю, что возникнут какие-то большие сюрпризы, если я буду распространяться на эту тему.

Итак, с вашего позволения, я завершу свою лекцию.

В

Я закончил, хотя не могу понять, ожидали ли вы этого от сегодняшнего вечера, или я всё ещё кажусь тем человеком, которого вы имели в виду. Боюсь, что нет.

В любом случае, это не имеет значения. Мы это уже прошли. Я высказался, вы меня выслушали, никакого вреда не было.

Господа, мое выступление окончено.

Ваше Высочество! Уважаемые гости!

Эта лекция была о меланхолии.

ЭТИ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЛЕКЦИИ

я

Я уже бывал здесь раньше.

Я узнаю здание. Как и в прошлый раз, сегодня вечером у ворот никого нет, люстры всё так же невыносимо ярки, лестница предательски скользкая.

Я узнаю здесь знакомый запах, и снова у меня возникает ощущение, что как раз перед моим приездом сюда ударила огромная молния, предвестница страшной грозы; невозможно полностью забыть это выразительное качество атмосферы: едкое, сухое, немного сладкое, обжигающее.

И ещё... Я помню всех вас. Я видел, как вы смотрели на меня тогда, видел вас на своих местах под палящим блеском люстр, как вы все внимательно наклонились вперёд, вглядываясь в этот смутный отблеск молнии, ожидая начала лекции.

То же самое произошло и тогда, когда я был здесь впервые. Вы все сидели здесь совершенно одинаково и слушали меня, воспринимая всё с одинаковой дистанции: глубоко увлечённые, неподвижные, с совершенно непостижимой интенсивностью. И хотя с тех пор прошло немало времени, то, что сделало нашу первую встречу столь необычной, тоже не изменилось, ведь как я тогда не знал, кто вы, господа, на самом деле, так не знаю и сейчас, стоя во второй раз на этой похожей на трибуну конструкции, откуда, если я не могу понять, чего вы от меня хотите, то, по крайней мере, хотел бы понять, почему я, ничего не подозревающий гость, которого вы так таинственно решили пригласить, согласился прийти сюда снова.

А пока мы продолжаем с того же места, что и в прошлый раз. Никогда бы не подумал, что приму ваше приглашение, и вот я здесь. По телефону я сказал: «Посмотрим, позвоните мне в другой раз, тогда и обсудим». Но, конечно, я всё время думал: «Это совершенно исключено», — о чём думают эти странные джентльмены.

Одного раза мне было более чем достаточно — но это второе приглашение так же не давало мне покоя, как и первое. Видите ли, я снова подумал, что вы, конечно же, прекрасно знаете, чем я занимаюсь, и как мало я люблю подобные представления, точно так же, как вы, должно быть, понимаете, что я далеко не эксперт ни в одной области, ведь в моём распоряжении нет ничего, абсолютно ничего, что могло бы хоть сколько-нибудь заинтересовать других, более того, я глотаю концы слов и говорю слишком быстро, слишком тихим голосом, почти до грубости, всё это лепет-лепет и бормотание-бормотание; так чего же вам от меня нужно, думал я, полный опасений. И у меня возникали бесконечные вопросы: что это за организация, которая — и я это проверил — не значится ни в одном реестре, даже в телефонной книге? И что же заставило вас выбрать именно меня из всех людей, что заставило вас снова выбрать меня, из всех людей? И почему вся эта таинственность вокруг вашей личности? Какой смысл был во всей этой секретности?

Я мог бы продолжать, но не буду, этого должно быть достаточно, чтобы показать, что все остается таким же, как и в первый раз, когда я читал лекцию, не зная кому, а вы меня слушали и аплодировали, а затем, не сказав ни слова, каким-то образом просто разошлись по зданию, а я вышел на улицу и направился домой, в сопровождении отряда телохранителей, которых я никак не мог отговорить проводить меня домой.

— это было в интересах моей безопасности, — заявили они, — и, действуя с профессиональной точки зрения, они держались на десять шагов позади.

Да, все осталось по-прежнему, за одним исключением, а именно, на этот раз вы, видимо, не даете мне возможности выбрать тему, то есть, вы просите меня рассказать о том, в каком мире я хотел бы жить.

Обычно, то, о чём люди просят или спрашивают, не имеет значения, мои ответы инстинктивно и неизменно соответствуют просьбе или вопросу, которые никогда не были заданы. Как правило, я почти каждый раз начинаю с извинений, но на этот раз я вскоре понял — фактически сразу после того, как повесил трубку, — что извиняться не придётся. Я понял, что, вопреки видимости, вы не имели в виду ограничить тему, и я понял, что, задавая этот вопрос — который я так долго не высказывал и который был тем более душераздирающим, что так долго не высказывался — вы ни в коей мере не хотели связать мне руки в выборе темы, а скорее, что вы в самом прямом смысле предоставляли мне свободу выбора, о чём я хочу говорить, поскольку ваш вопрос о том, какой мир я хотел бы видеть, на самом деле имел в виду именно это.

Все вы, господа, здесь больше всего обеспокоены тем, каким должен быть мир, если я правильно расслышал.

Не могу отрицать, что в течение нескольких дней после нашего телефонного разговора я продолжал размышлять над этой поразительно наивной, можно сказать, по-детски простой формулировкой этой просьбы, воплощающей ваш особый интерес: означало ли это, что вы, по неизвестным мне причинам, вообразили себя в таком положении, когда можете решить, что, ну ладно, мир был таким, но теперь он будет таким?

Не могу отрицать, что такая возможность приходила мне в голову, но впоследствии я решительно отогнал от себя эту мысль, ибо в конечном счете не могу поверить, что — принимая во внимание Ваше строгое, непоколебимое и почти пугающе строгое внимание — я теперь нахожусь в обществе мечтателей, и не считаю, что есть хоть малейшая необходимость разъяснять (именно Вам из всех людей), насколько невыносим идиотизм витания в облаках, учитывая нынешнее положение дел в мире.

Поняв, что я на ложном пути, я отказался от этой идеи и отказался от попыток расшифровать истинный смысл предложенной вами темы; вместо этого —

и в немалой степени движимый волнами, созданными во мне неразрешенным реальным содержанием заданной вами темы, — я спросил себя: а что, если, вопреки моим первоначальным намерениям, я все же снова приду сюда? и, глядя перед собой с подобающим случаю озадаченным выражением, я подумал: ну ладно, если я приду сюда еще раз, на какую тему я смогу еще поговорить?

«Может быть, это любовь?» — подумал я.

Нет, тогда это может быть смерть!

Сначала я сидела на кровати возле телефона, затем на стуле у окна, размышляя над этим, по-прежнему не глядя в окно (спрашивая: любовь?), а затем устремив взгляд прямо перед собой (спрашивая: смерть?), по-прежнему сохраняя то озадаченное выражение, которое подобает случаю.

Лучше всего — и вот тут я встал — поговорить о бунте, о том, что делает существующую ситуацию столь невыносимой.

Я снова сел на кровать, и с тех пор мое решение осталось неизменным, поэтому именно об этом я и расскажу сегодня вечером.

Но прежде чем начать, я хотел бы обратиться к вам с просьбой.

Когда я вошел в этот зал, я заметил, что вон тот джентльмен

...запер за собой дверь.

Я не люблю читать лекции в запертой аудитории.

Поэтому я прошу вашего понимания...

А теперь начнем!

Уважаемая публика, достопочтенные господа! Вопрос следующий: что можно сказать по поводу восстания?

Для начала, пожалуйста, послушайте историю.

II

Летом 1992 года я находился на станции «Зоологический сад», узловой станции берлинского метро, ожидая поезд со стороны Кройцберга. Место, где должен был остановиться прибывающий поезд, здесь, как и на всех подобных платформах, было обозначено гигантским зеркалом, установленным на алюминиевом столбе, и множеством сигнальных огней: именно здесь каждый машинист должен был остановиться со своим поездом, а на красный свет ни один поезд не мог двигаться дальше этой точки. До этого места и ни на йоту дальше возвещали зеркало и сигнальный огонь, прикреплённый под ним, устанавливая правило упорядоченного движения по прибытии поезда. Но это не означало, что сама платформа там заканчивалась; нет, сама платформа проходила мимо этого сигнала и заканчивалась примерно в полутора метрах за ним. Таким образом, между зеркалом и фактическим концом платформы существовала дважды запретная зона, откуда поезду и его машинисту был запрещен вход описанным ранее образом, в то время как ожидающие пассажиры, среди которых теперь находился и я, были дважды исключены в самом абсолютном смысле, ибо, хотя четкие и разумные правила дорожного движения к нам не относились, и нас не касалось регулярное чередование прибытия на красный свет и отправления на зеленый, для нас существовала поперечная желтая линия на тротуаре у подножия зеркала, а также запрещающий текст мелкими буквами на табличке на задней стене и, наконец, как внутреннее отражение этой линии и этого знака, безупречно функционирующий инстинкт, который принял этот запрет раз и навсегда и таким образом закрыл для нас проход как минимум дважды.

Это было в августе. Я ждал поезда со стороны Кройцберга, но он немного опоздал. Я наблюдал за толпой беззаботных пассажиров вокруг и поначалу заметил лишь некоторое напряжение в этих так называемых беззаботных пассажирах. Я понял причину, когда...

вероятно, последний в этой напряженно-беззаботной толпе, кто заметил — наконец-то, я тоже

заметил, что в пространстве, обозначенном желтой линией, в пространстве, запрещенном знаком на стене, теперь кто-то стоял в этой запретной зоне.

На платформе стоял старый клошар и мочился на рельсы, полуобернувшись к нам спиной и слегка сгорбившись, словно его мучили и это мочеиспускание, и эти рельсы.

Особый инстинкт, который запрещает ступать именно на эту территорию, не просто запрещает ступать на нее, но и как бы стирает ее из сознания.

так что теперь, когда это сознание внезапно осознало, что между зеркалом и концом платформы существует целая зона, оно немедленно заявило: если бы какой-нибудь пешеход заявил, что такая зона, безусловно, излишня с точки зрения технологии дорожного движения и совершенно бессмысленна с точки зрения безопасности движения, оно, то есть это сознание, запротестовало бы самым решительным образом и ответило бы, что всё это ошибка; сохранение и поддержание таких зон имеет значение с самыми далеко идущими последствиями. Любая запретная зона такого рода, такая как наша здесь, в Зоологическом саду, не только явно сообщает о своей неизбежной случайности, но и предлагает образцовое доказательство того, что правила нашего человеческого мира (включая самые простые) не просто непостижимы, но и неоспоримы. Эти правила, продолжало наше сознание, даже самые незначительные, невозможно отделить от их невидимого корпуса; Подобные законы — даже самые мягкие — становятся видимыми только тогда, когда нарушаются, и могут быть постигнуты в действии только через некоторый элемент скандала, то есть через введение определенной степени опасности; и вносить опасность в процесс, пока они действуют, равносильно решению начать атаку — неважно, насколько слабую — против себя самого, то есть мочеиспускание должно прекратиться, это осознание должно быть отдано по приказу, клошар должен уйти, скандал должен быть пресечен в зародыше, а регулирование должно быть извлечено из тела на свет дня — в данном случае запрет входить в пространство шириной в полтора метра — должно снова погрузиться в это тело, и вся система должна продолжать функционировать поистине невидимо, насколько я могу судить, и здесь сознание указало на себя само.

Таким образом, это было более или менее сутью преобладающего настроения в рядах собравшихся пассажиров в этот ранний августовский полдень, и я думал, что на этом все будет в этот ранний полдень, то есть, когда мочеиспускание прекратится, эта запретная зона вместе с клошаром, насколько это касалось нашего сознания, медленно уйдет

назад и затеряться в будничной неизвестности; за исключением того, что в этот момент с другой стороны, на платформе напротив нашей, предназначенной для движения поездов в противоположном направлении — то есть для тех представителей общественности, которые направляются в Кройцберг, — внезапно появились двое полицейских, и вместе с ними и весь ранний августовский полдень, как это обычно и происходит во всем мире, когда появляется полиция, изменился радикально, одним махом.

Мне очень не хочется отвлекать слушателей от угрожающего напора этого повествования, но, увы, я чувствую, что пора на мгновение притормозить и, поскольку это, очевидно, ускользнуло от вашего внимания, напомнить вам, господа, о моей просьбе относительно запертого выхода из этого в остальном захватывающего лекционного зала. Если великолепные барочные часы за вашей спиной показывают точное время, то я стою на этой трибуне уже около пятнадцати минут, и эти пятнадцать минут для меня — для человека, который всю жизнь либо боялся оказаться взаперти, либо боялся не запереться — целая вечность. Я бы не обременял вас, господа, этим признанием, если бы вам было понятно иное, то есть то, что я лично чувствую себя ввергнутым прямиком в ад таким автоматическим жестом, как у этого господина, который провел меня сюда и который, после того как я вошел и повернулся спиной, вероятнее всего по рассеянности повернул ключ в замке и, вероятно, по еще большей рассеянности сунул ключ себе в карман.

Мой дорогой сэр, я думаю, никто не будет смеяться над вашей рассеянностью или винить вас, если вы не дождетесь конца моей лекции, а прямо сейчас встанете и не отопрете эту дверь, и я не думаю, что нужно тратить дальнейшие слова относительно этой моей особой чувствительности, которая на самом деле не имеет никакого отношения к нашей теме, поскольку я вижу по вашему жесту, что вы намерены выполнить мою просьбу, и с этими словами я могу вернуться в Зоологический сад и продолжить с того места, на котором остановился, то есть я могу продолжить с краткого наброска плана этой станции метро, который, кажется, абсолютно необходим, чтобы вы могли проследить, что на самом деле произошло по прибытии полиции на станцию метро в тот ранний августовский день.

Узел линий метро в Зоологическом саду представляет собой систему, состоящую из нескольких подземных уровней. Тёмные и жуткие переходы и коридоры с лестницами ведут с одного уровня на другой, и такие же тёмные и жуткие переходы соединяются на каждом уровне под ним, причём две платформы обслуживают два противоположных направления движения поездов. Так что, если, скажем, вы приедете в Зоологический сад со стороны Рулебена,

но передумали и решили не продолжать движение по направлению к Кройцбергу, а вместо этого вернуться в Рулебен, то вы не сможете просто подняться и пройти прямо на противоположную сторону на вашем уровне, потому что два набора рельс, по которым транспорт идет в Кройцберг и из него, утоплены в траншею, канал не слишком глубокий, но имеющий самое строго определенное назначение, так что если вы передумаете, вам придется спуститься по лестнице, ведущей в темный и зловещий проход под этим двойным набором рельсов, и пройти под траншеей с его двойным набором рельсов, через нее на другую сторону и по другой лестнице, которая приведет вас на платформу, которую мы можем назвать нашей платформой, откуда вы можете вернуться в Рулебен, если так все сложится для вас.

Именно в такой сложной системе двое транспортных полицейских внезапно появились напротив нас, по другую сторону траншеи, в которой находились два комплекта рельсов.

В сущности, только один из них был из них настоящим городовым, а другой, судя по его молодости и раскрасневшемуся до самых ушей лицу, когда он пытался утихомирить разъяренную немецкую овчарку, которая беспрестанно рычала на него, должен был быть каким-то начинающим городовым; во всяком случае, черт их лиц я не мог разглядеть, кроме жирного, блестящего, прыщавого цвета лица и установленных тонких, беспощадных губ как у старого, так и у молодого; черт лиц, стало быть, никаких, потому что при таких чертах лица, даже если бы вы положили передо мной тысячу листов ватмана и после каждого испорченного рисунка стегали меня кнутом, все равно ни один из тысячи не оказался бы верным изображением. Итак, только один из двоих был настоящим, это было сразу очевидно, тот, кто заметил клошара, мочащегося на противоположной платформе — к тому же в запретной зоне — и который тут же бросился в бой, шагнув к краю платформы, туда, где он был ближе всего к клошару, и яростно приказал ему немедленно прекратить то, что он делает, или — заорал полицейский — клошар пожалеет об этом.

Кратчайшее расстояние между двумя платформами по необходимости равнялось ширине двух поездов, скользящих друг мимо друга, то есть это кратчайшее расстояние между двумя мужчинами не могло быть больше десяти метров. Но эта десятиметровая близость оказалась недостаточной, чтобы страх клошара перед полицией пересилил его уверенность в том, что прерывание этого неприятного мочеиспускания будет ещё более мучительным, так что он, отчасти повернув своё жалкое лицо в нашу сторону и как бы позволяя

Хрипловатое официальное предупреждение офицера пролетело мимо его ушей — тем самым в глазах этого полицейского был совершен по отношению к нему поступок, который никому не позволено совершать по отношению к полицейскому: клошар проигнорировал его и продолжил мочиться.

Я уже однажды пытался записать для себя, что произошло после этого, и должен признаться, что моя неудача глубоко повлияла на меня. Сегодня я ясно вижу, где я совершил ошибку, но ... Ясно увидеть ошибку — это, конечно, не то же самое, что исправить сам факт ошибки. Ошибка...

Результатом акцентирования внимания на не тех вещах стала моя собственная ошибка, из-за которой я промахнулся, пытаясь уловить суть событий не там, где надо. Но это было не самое печальное, не сама ошибка оставила во мне такой глубокий след, а её причина, а именно то, что моё внимание было уведено в сторону эмпатией, эмпатией к клошару, поскольку я предпочитал видеть суть этого раннего августовского дня исключительно в его бегстве, вызванном погоней.

И сегодня я не буду отрицать, что, как вы, возможно, прекрасно понимаете, история, которую я здесь рассказываю, — это история погони и бегства — о чём же ещё говорить? — но та первая попытка письма ограничилась лишь упоминанием о погоне, прежде чем посвятить себя подробному, тщательному анализу бегства, то есть, главным образом, если не исключительно, только бегству, как бы игнорируя тот факт, что ему предшествовала и сопутствовала погоня, были эти два преследователя, и этот факт, и эти преследователи, должны были быть подвергнуты самому тщательному исследованию. Эта однобокость нарушила равновесие, а вместе с ним и истину, так что я не совершу той же ошибки сейчас, особенно перед вами.

Единственное, что письменная версия сообщала о настоящем полицейском (да и то в большой спешке, ибо ей хотелось как можно скорее добраться до клошара), заключалось в том, что, видя, что его предупреждение не возымело действия, и заметив непрекращающийся поток мочи на перила, он выбрал единственно возможное решение: он сосредоточился на входе в лестницу, ведущую вниз, в коридор под перилами, соединяющий две платформы, и, почти бегом, в сопровождении ученика полицейского и рычащей немецкой овчарки, побежал к этой лестнице. Да, именно сосредоточился — я сейчас же добавляю это немедленно и с дисциплинированной сдержанностью, признавая, что, делая это совершенно необходимое уточнение, вместо того, чтобы добавлять, я бы предпочёл крикнуть: конечно, он ушёл, потому что не мог перепрыгнуть через что расстояние из десять метров.

Уважаемая публика, — и позвольте мне сказать вам это сегодня наконец, со второй попытки, с отчаянной настойчивостью, — именно это расстояние в десять метров, уважаемые господа, составляло фокусную точку тех нескольких минут, предшествовавших прибытию опоздавшего поезда со стороны Кройцберга в тот ранний полдень, — и я прошу вас представить это себе так же отчетливо, как если бы сотня прожекторов освещала эти десять метров на подземной платформе Зоологического сада!

Первая версия... Она у меня есть, на минутку... да, вот она, эта письменная версия гласит, цитирую: «Разъярённые этой пропастью, разделяющей их, они бросились... ко входу на лестницу, ведущую вниз под перила» —

бла-бла-бла-бла, мы уже знаем, что — «по тому, как они бежали, было видно», — продолжает текст, — «как они были взбешены возможностью, что виновный каким-то образом ускользнёт от них, пока они будут внизу под рельсами, мчась к нему. По пути к выходу на лестницу они были как на иголках от того, что им временно пришлось увеличить расстояние между собой и тем, чего они так жаждали, и по пути они постоянно бросали мучительные взгляды на клошара на противоположной платформе, опасаясь, что он может каким-то образом исчезнуть, пока они будут переходить под путями. К этому времени старый клошар наконец-то это понял и перестал мочиться, потому что понял» — это всё ещё первая версия

— что они будут там через секунду и схватят его. И он приготовился бежать, целясь к выходу в центре нашей платформы, ведущему к свободе; это была его цель, но когда он повернулся в нашу сторону, чтобы начать этот так называемый полёт, всем пассажирам сразу стало очевидно, что этот полёт никогда не состоится, потому что всё тело старого клошара так сильно дрожало, что над всей платформой внезапно повисла тишина.

Каким-то образом его ножные мышцы отказались работать, потому что даже при самых невероятных усилиях и размахивании руками ему потребовалось около полуминуты, чтобы продвинуться максимум на несколько сантиметров, прямо на наших глазах, пока он изо всех сил пытался продвинуться вперед, дрожа всем телом, рассекая воздух руками» — продолжается первая версия — «тогда как тем временем полицейский и его сообщник с рычащей немецкой овчаркой приближались, быстрые, как ветер. Я наблюдал за стариком, его безнадежной попыткой вырваться, и все это время я чувствовал, как внизу, внизу, все ближе и ближе, пока невидимый, но вскоре появившийся в поле зрения с улыбкой» — говорится в рукописи — «излучающий удовлетворение от того, что все хорошо с миром, все на месте, и, более того, все в этом чудесном мире находится именно там, где ему и положено быть, ибо это

как постановили, что виновный должен дрожать и ползти дюйм за дюймом, тогда как преследователь, быстрый, как ветер в семимильных сапогах...», и так далее, все это в захватывающем и истеричном тоне до самого конца, так что я перестану здесь цитировать, этого примера, пожалуй, было более чем достаточно.

Не знаю, заметили ли вы, что эта первая версия просто проигнорировала суть, эта первая версия просто перескочила через важнейшие десять метров, как будто не имело значения, как неописуемые черты лица полицейского то ожесточились, то совершенно потемнели, то, наконец, были охвачены яростью и вытекающей из этого жаждой мести, как будто все это не имело ни малейшего значения в этом богом забытом мире для автора предыдущего текста, для того раннего меня, тогда как именно это мрачное потемнение и эта жажда мести яснее всего обнажали то, что происходило внутри полицейского из-за этих десяти метров.

Этот полицейский, в своих собственных глазах, был существом с ограниченными полномочиями, в полной мере уполномоченным предполагаемым презрением общества к клошарам превратить эту ограниченную власть в неограниченную, чтобы поражать и крушить именно таких клошаров, таких оборванных старых парий, как тот, что здесь, в Зоологическом саду, мгновенно и с самой решительной силой, когда такой пария, иллюстрируя одним своим присутствием в запретном месте логику презрения общества, затем фактически бросался по чистой небрежности к ногам решительного блюстителя закона. Выражение лица полицейского можно было прочесть так, что в то время как эти клошары обычно проводили весь день, избегая запретных мест (зон, чреватых для них опасностью), для этих людей существовали только тропы, окруженные такими местами, такими опасными зонами, поскольку они шатались повсюду, петляя, как мирные жители, заблудившиеся на минном поле, бродя среди мин, пытаясь пробраться, но им это не удавалось, потому что время от времени —

вероятно, от усталости, от смехотворного изнеможения — они по ошибке заблудились и умудрились наступить именно на такую мину, мина взорвалась, и тогда эти изможденные бездельники оказались лицом к лицу с тем, кто немедленно призвал их к ответу и взял за шиворот, кто нанес удар по их статусу изгоя, точно так же, как это делал сейчас этот полицейский — ну, все это и даже больше можно было прочитать на этом неописуемом лице, когда этот полноправный полицейский, заметив, что происходит на противоположной стороне, бросился туда, где его от клошара отделяло кратчайшее расстояние, и приказал ему прекратить мочиться.

Всё вышеперечисленное вполне может быть обыденным, я знаю, но прежде чем вы слишком уснёте и подумаете: «Ну и что, что клошар справляет нужду, а полицейский его держит за шиворот?», прежде чем вы скажете это себе, прошу вас, подумайте, что в этой истории, которую я сейчас рассказываю, полицейский не смог схватить клошара за шиворот. Они стояли друг напротив друга, расстояние между ними, как вы знаете, было не больше десяти метров, и с этого расстояния каждый мог видеть малейшее движение глаз другого, не имея возможности прикоснуться к нему. Ну вот, они стояли друг напротив друга, законченный изгой и законченный полицейский, и этот законченный полицейский превратился в беспомощного полицейского, а законченный изгой превратился в непокорного изгоя, и вот так они стояли друг напротив друга на одном из подземных этажей Зоологического сада.

В глазах полицейского беспомощный полицейский ещё более невыносим, чем пьяный изгой, поэтому неудивительно, что этот полицейский, видя непослушание противника, схватил дубинку, но тут же понял, что размахивать ею бесполезно — расстояние, эти десять метров, — и вот, черты его лица действительно закаменели, брови определённо нахмурились. Безграничная власть означала, что эта безграничная власть должна была произвести немедленный и абсолютный эффект, коль скоро этот изгой должен был быть лишён минимальной защиты, прав или средств правовой защиты, гарантированных обществом. Но эта безграничная власть внезапно утратила всю свою эффективность: клошар просто проигнорировал полицейского и продолжал мочиться, страдальчески гримасничая, при этом слегка повернув в нашу сторону своё скорбное лицо, тогда как он, полицейский, лишь топтался на месте, на этой унизительной сцене, будучи оставленным без внимания, и вынужден был заметить, как вся его безграничная власть могла обернуться простой беспомощностью; более того, поскольку ему, к сожалению, не разрешили выстрелить из револьвера в этого человека, можно было видеть, что он чувствовал себя совершенно безоружным, и это состояние безоружности — на что указывал его потемневший лоб — было особенно невыносимо для полицейского с пистолетом в кобуре.

Полицейский обычно делит мир на добро и зло, и я видел по глазам этого полицейского, что он думал именно так. Не могло быть никаких сомнений относительно того, где он сам себя поставил, и ещё меньше сомнений относительно того, где он поставил старого клошара, и, таким образом, с его точки зрения, это был пример того, как добро решило отомстить злу. Я не хочу ввязываться в этот вопрос добра и зла, и я напоминаю о нём.

из глаз полицейского только потому, что именно такая полицейская простодушность проливает сейчас самый яркий свет, а тогда она проливала еще более яркий свет, на эту поистине непреодолимую пропасть в десять метров, разделявшую их двоих, и примечательным было не — как первая письменная версия пыталась передать, возбуждая эмоции — способ и способ, которым произошли погоня и бегство (всё это, кстати, произошло более или менее так, как описывала грубая и готовая формулировка первой версии), а то, что, несмотря на погоню и несмотря на бегство, полицейскому не удалось преодолеть эту пропасть в десять метров, эти десять метров упорствовали, или, скорее: напрасно полицейский наконец схватил клошара примерно в то же время, когда прибывающий поезд с грохотом въехал на станцию, в моих глазах эти десять метров оказались непреодолимыми, потому что то, что мои глаза видели в этой погоне и этом бегстве, если использовать простоту полицейского языка, было то, что добро никогда не может догнать зло, потому что с между добром и злом нет никакой надежды.

Именно это меня так тронуло, а не дрожащий и ковыляющий клошар и не летящий в семимильных сапогах полицейский.

Господа, вы, наверное, уже догадались, почему я поднял эту историю.

III

Сейчас вы можете сказать: «Ладно, ладно», но давайте надеяться, что этот человек не говорит здесь, что запах мочи должен витать повсюду, и мы должны поцеловать нарушителя закона на лбу?

Прежде чем говорить о существенных делах, я обычно жду и откладываю все как можно дольше, но в этот раз я считаю следующее объявление настолько важным, что любое дальнейшее промедление исключено; прошу вас понять, полицейский был готов убить этого клошара из-за этого Расстояние в десять метров, и я привёл эту историю, чтобы, стоя здесь перед вами, стало ясно: зло существует, и добру, как ни прискорбно это говорить, никогда его не догнать.

Затем я сел в один из поездов на станции «Зоологический сад», свет под зеркалом загорелся зелёным, и мы проплыли мимо полутораметровой зоны, где, конечно же, уже никого не было. Я думал, что мир невыносим, и мне хотелось выскочить на тёмные рельсы, но, конечно же,

Конечно, я этого не сделал, вместо этого я задумался, когда в последний раз я произносил слова «добро» и «зло».

Это было в детстве? Или когда я учился в старшей школе?

В любом случае, это было давно, заключил я тогда, мчась из Зоологического сада в сторону Рулебена, и теперь я хотел бы попросить вас, господа, ни на мгновение не верить, что, намекая на это «зло», вытащенное из темных глубин, я имею в виду, скажем, клошара и полицейского! Надеюсь, вы поймете, что тогда речь шла о драме добра и зла, о том, как, к сожалению, между ними не было никакой связи, и как одной решающей детали в мире, к сожалению, достаточно, чтобы сделать весь мир невыносимым.

По дороге в Рулебене я вспоминал это дрожащее тело, эти размахивающие руками и размышлял о том клошаре и других изгоях — когда же они восстанут и каким будет это восстание? Без сомнения, самым жестоким и ужасным, содрогнулся я, они по очереди будут убивать друг друга, но потом остановился и сказал себе: нет, нет, восстание, которое я задумал, будет совсем другим, всеобщим.

Бунт всегда тотален, подумал я, внезапно протрезвев, и напряженно смотрел, как одна за другой проносятся освещенные станции, и снова увидел перед собой клошара, и понял, что для него запретны не только эти полтора метра между зеркалом и концом платформы, его запретная зона включала в себя всю платформу, лестницы, улицы, здания, то, что над землей и под ней, все.

К тому времени я с тревогой смотрел на проплывающие мимо освещенные станции и ошеломленно осознавал, что существует точка, откуда навсегда запрещен въезд в этот город, в эту страну, на весь этот континент, — и я с изумлением смотрел наружу, на Бисмаркштрассе, Теодор-Хойсс-Плац и, наконец, на Рулебена.

Уважаемое собрание: да, зло существует.

IV

Посмотрите на меня, я устал.

Как у нас дела с этой дверью?

Я говорю уже сорок две минуты, а дверь все еще заперта.

Мне нужно ещё раз посмотреть, говоришь, потому что теперь открыто? Хорошо, а как насчёт этой охраны? Снова? Сопроводить меня? Куда?

Я просто хочу домой.

Гостеприимство? Какое гостеприимство?

Лекция окончена.

На этот раз я говорил о восстании.

ТРЕТЬЯ ЛЕКЦИЯ

я

Я здесь в последний раз.

В последний раз я стою перед вами, чтобы прочитать лекцию.

И я не буду задавать вопросов. Я понимаю, что должен прочитать лекцию. Я не буду спрашивать, какова её цель. Я не хочу знать.

Единственная причина, по которой я не буду хранить полное молчание, заключается в том, что, учитывая моё положение, я вынужден говорить, а вы, возможно, понимаете, что я буду говорить как человек, хранящий молчание. Следовательно, этот разговор не перерастёт в любопытство, то есть я не начну расспрашивать вас о вашей истинной личности или о несколько зловещей двусмысленности ваших намерений относительно того, что со мной делать. Я сдержу своё слово, так что те обеспокоенные господа, отвечающие за безопасность, которые провели меня сюда из подвала и которым я дал слово не задавать — и не ожидать ответа — никаких вопросов, да, господа, можете расслабиться и вздохнуть с облегчением прямо здесь, с самого начала: я не буду расспрашивать — даже здесь, в этом великолепном зале, под, возможно, защитной эгидой вашего необычайно публичного присутствия, — я не буду спрашивать, каковы были ваши намерения относительно меня в последние недели, понимаете?.. .как бы это сказать...

лектор совершенно нелеп как оратор, потому что он всецело поглощен исследованием танцевальных движений прощания с миром и не способен ни на что другое; нет, я не буду докучать вам вопросами о том, почему вы выбрали и пригласили меня сюда только для того, чтобы после моей второй лекции затащить меня лягушкой в подвальное помещение и лишить свободы; так же, наконец, вы можете быть абсолютно уверены: я не буду пытаться выведать, в чем смысл так называемой прощальной речи, когда прощаешься, как я, то есть когда уходящему не нужна аудитория, а этой аудитории не нужен уходящий, ибо им уже нечем больше делиться.

Ибо в моём случае, без сомнения, прощание действительно и окончательно; и эта моя лекция будет подлинным прощанием. Первое утверждение объясняется внутренним побуждением (о нём пока достаточно); а второе — вашим третьим приглашением, или, вернее, вашим безапелляционным вызовом, как это сразу станет ясно из следующего краткого — хотя для некоторых из вас, быть может, и не лишнего — описания событий.

Видите ли, сегодня на рассвете — который, кстати, был седьмым за время моего заключения здесь — меня разбудил звонок домашнего телефона у моей кровати.

Голос, сдержанный и элегантный, сообщил мне, что сегодня вечером я вновь предстану перед вами. Благодаря нашим памятным встречам, сказал голос, мы смогли узнать ваши взгляды на меланхолию и бунт. На этот раз мы хотели бы услышать ваше мнение о вещах, и тут голос смягчился и добавил, что я — это «я»

говорил не о нём, а обо мне — не раз намекал ранее, что моё внутреннее состояние можно сравнить скорее с состоянием прощающегося, и поэтому он, голос, теперь хотел бы успокоить меня, чтобы я не волновался: люди, сидящие сегодня вечером в зале, — тоже всего лишь прощающиеся, а поскольку сегодня вечером прощающиеся будут с обеих сторон, я с полным правом могу считать свою лекцию прощальной. Затем было сказано что-то о большом ожидании, но фраза оборвалась на полуслове, голос замолчал, связь прервалась.

Уважаемые господа!

До сегодняшнего утра домашний телефон был склонен работать исключительно в одном направлении, когда я просил еду или питье у

«обслуживающий» персонал, который появлялся только по этим случаям. Никогда наоборот, то есть, в течение семи дней никто ничего не сообщил мне о моей или вашей ситуации. Поэтому, благодаря этому одностороннему движению, только сейчас я могу сообщить вам: меня не интересует, чего вы от меня хотите, меня не интересуют ваши намерения, и с чем вы прощаетесь, ибо, по всей вероятности, не только существует непреодолимая пропасть между нашими толкованиями прощания, но и содержание наших прощаний далеко не одинаково. Я хотел бы настоятельно дать вам понять, что после монотонной бессмысленности моего подземного пребывания я читаю эту лекцию, помимо собственного развлечения, не из-за какой-то безосновательной, мнимой общей черты, а исключительно потому, что, выполняя вашу просьбу, я хочу получить, в дополнение к моим двум

ежедневные прогулки (утренняя и дневная), третья и четвертая прогулки, ранняя утренняя и так называемая вечерняя.

Видите ли, мне крайне необходим воздух, мой организм, с тех пор как несколько лет назад внезапно заболел, не может обходиться без свежего воздуха, так что проветривание, особенно частое, в моём случае, как говорится, крайне желательно. Поэтому я предлагаю вам лекцию в обмен на свежий воздух, и поскольку я принимаю ваше согласие на отсутствие серьёзных препятствий для осуществления этих двух дополнительных прогулок, мне остаётся только пояснить, о какой именно лекции идёт речь.

К настоящему моменту вы уже должны были привыкнуть к тому, что я никогда ничего не обещаю, напротив, я каждый раз делал все возможное, чтобы охладить пыл ваших ожиданий.

На этот раз мне придется сделать то же самое, нет, на этот раз я обещаю даже меньше, чем прежде.

Неделю назад те же самые господа, которые привели меня сюда сегодня вечером, проводили меня отсюда в подвал через аварийный выход (вы, возможно, помните, там были проблемы с дверями), и эти господа, которые тогда, неделю назад, сказали мне не задавать никаких вопросов и не беспокоиться, если на первый взгляд это похоже на заключение, — на самом деле я буду пользоваться самым благоприятным гостеприимством во время моего пребывания здесь, — эти же самые господа, провожая меня сейчас из подвала, продолжали говорить то же самое, что и раньше, что я должен по-прежнему воздерживаться от любых вопросов, не беспокоиться, а просто спокойно сосредоточиться на предмете, который нас всех волнует, в конце концов, мы — и здесь господа указали на себя — здесь для того, чтобы вы могли сделать это без каких-либо помех.

Эти нестандартные интерпретации гостеприимства и плена ясно показывают, насколько глубоко ошибались эти господа по пути из подвала в лекционный зал, и насколько радикально мы различаемся в оценках ситуации, и насколько совершенно различны наши интересы под, казалось бы, угасающими проблесками созвездия нашего «предмета общей заботы». Если я правильно заключаю из того крайне малого, что могу предположить относительно этого замка и вашего круга, вас больше всего волнует предсказуемость мира, иными словами, ваша собственная безопасность. Всё это, однако, интересует меня лишь косвенно; напротив, меня (как уже упоминалось) интересует последовательность шагов, позволяющих выйти из мира. Пожалуйста, поймите меня правильно, я не спорю...

поскольку я тоже должен терпеть то же самое — что в этом мире действительно отсутствует определенность, но в то время как вы, господа, я полагаю, сетуете на отсутствие

безопасность во вселенной, я сокрушаюсь об отсутствии прекрасного смысла в человеческом мире, или — поскольку мы измеряем наши различия нашим разочарованием — ваше разочарование охватывает так называемую вселенную, тогда как мое ограничивается так называемым человечеством, под этим я подразумеваю, что вы, господа, фактически были разочарованы, не сумев открыть ключи к вселенной, сохранив при этом саму эту вселенную; тогда как я разочаровался в человеческом разуме, осознав, что ключ к ней — это обыкновенная проституция, и поскольку я не нашел ничего другого, я остался ни с чем.

Наверное, звучит странно, что, даже не пытаясь скрыть это каким-то хитрым приёмом, я открыто признаю, что в моём случае речь идёт о чём-то столь тривиальном. Это странно, возможно, даже немного нелепо, и я бы, конечно, понял, если бы вы крикнули мне: «Эй, господин художник, вам следовало бы стряхнуть пыль с этой тривиальной мысли, прежде чем бросать её нам, ведь этой истории уже как минимум сто пятьдесят лет, то есть она затхлая; ну и что, что вы разочаровались в человеческом разуме, так почему бы не разочароваться во всём человечестве?»

Пожалуйста, пожалуйста, избавьте нас от подобных вещей. А пока что мне делать? Сто пятьдесят лет, ну, прошло уже сто пятьдесят лет; со мной случилось то же самое, что и с кем-то сто пятьдесят лет назад, возможно, это произошло потому, что я путешествовал вспять, для меня всё повернулось вспять по сравнению с тем, как — я полагаю — это произошло для вас в этом мире сто пятьдесят лет спустя. Потому что здесь и сейчас обычный ход выбора темы интеллектом заключается в том, что вслед за прошлым опытом и последующими катастрофическими травмами этот человеческий интеллект, возвышаясь над смирением перед лицом человеческой вселенной, пресыщается этим миром, погрязшим в монотонности безнадежности, и превосходит его, наконец оставляя позади и определяя эту конкретную тему в некоем загадочном величии — некоем непостижимом, таинственном величии, то есть во вселенной или в божестве вселенной.

Отныне — как ни печально это говорить, но, должен добавить, предсказуемо — он, интеллект, не может процветать, потому что его внимание никогда не сможет выйти за пределы самого себя, и, как субъект, обращающий внимание, он навсегда остаётся пленником собственной безопасности. Его интересует не столько вселенная, сколько его собственный особый статус во вселенной, его интересует не столько божественность вселенной, сколько вероятность его собственной избранности, словом, эта тема становится священной, но, к сожалению, недостижимой целью, и всё же достоинство этой темы, высокая

уровень внимания, уделяемого ему, — в отличие от ранга, достоинства субъекта, уделяющего ему внимание, — продолжает существовать и будет существовать всегда.

Для меня все это произошло совсем по-другому.

Началось всё с того, с чего обычно начинается: первым актом моего сознания, едва ли не вылезая из чрева матери, было желание узнать всё и сразу об этой вселенской полноте, частью которой я был; и о её существовании я узнал не из опыта других, а из намёков других, начиная с первого беглого, скользящего взгляда, обнаружившего окружающий меня человеческий мир лишённым интереса, —

глупый, незначительный и, следовательно, ничтожный — и поскольку это суждение было по меньшей мере столь же безрассудно привлекательным, сколь и убедительным, после этого первого беглого взгляда я просто проигнорировал человеческий мир и, словно стыдясь его, проскочил мимо него и немедленно устремился к иному миру, где, или так я верил, я столкнусь с драматическим присутствием величия и вечности. Сам процесс был больше всего похож на грезы, ибо вселенная, которую я верил, что нашел (назовем ее здесь ее именем), в конечном счете, по самой своей природе не нуждалась ни в каком подтверждении и зависела исключительно от воображения. Это воображение украшало безграничную и беспристрастную природу совершенно неоправданной силой притяжения, а затем оно переживало эту украшенную природу как вселенную; Однако когда в конце концов более тщательное, доскональное исследование, имевшее целью, как само собой разумеющееся, установление так называемого высшего смысла, село на мель и лишило эту так называемую вселенную её притягательной силы, осталась только сама природа с её сводящей с ума нейтральностью, её неукротимым, расточительным всемогуществом — и, конечно же, наступило разочарование, глубочайший крах, горькое осознание того, что вместо жажды познания всё это время было первобытным желанием обладания, а обладание так и не состоялось. Я не хочу здесь медлить, поэтому, подводя итог, всё, что я могу сказать об этом крахе, — это то, что его тяжелейшим последствием оказался крах воображения, свободного воображения, после которого единственной возможностью было отступление, и здесь мы говорим о глобальном отступлении, где нельзя ожидать благоприятного поворота событий — и, поскольку это хорошо установленный случай, позвольте мне быть многословным: благоприятного поворота событий быть не может... Но как бы это ни случилось, как бы ни была поучительна печальная история моего падения, история постепенного пробуждения к пониманию того, что то, на что я смотрел с таким изумлением и тоской, не существовало, ибо оно было склеено воедино исключительно этим изумлением; давайте сейчас опустим подробности; достаточно

сказать, что я вернулся ровно туда, откуда вы, проницательные, предположительно, и отправились, в самую прозаическую обстановку, в мир, погрязший в скуке безнадежности.

И здесь я имею в виду самые банальные реалии жизни, мир поваренной соли, окаменевшей в своей ёмкости, шнурки, истончающиеся в узлах изо дня в день, уличные нападения и любовные клятвы, утекающие в канализацию, мир, где даже букет фиалок отчётливо пахнет деньгами. Именно туда я и упал с грохотом, где было бы жизненно важно каким-то образом открыть радость так называемых мелочей и найти в принципе, управляющем человеческим миром, несомненные следы величия, вечного, иными словами, более просторного существования.

Учитывая то, что вы, возможно, поняли обо мне из вышесказанного, никто, конечно, не удивится, если я без лишних слов признаюсь, что в этой самой банальной реальности мира я нашёл вместо радости от мелочей отвращение к мелочам, вместо того чтобы обнаружить несомненные следы величия вечного, я нашёл неопровержимые доказательства мелочности и стремления к сиюминутному удовлетворению. Так что теперь ничто не мешает мне получать особое удовольствие, используя избитые выражения и говоря, например, что я вёл отчаянную борьбу, ища наиболее тонкую форму, учитывая моё положение в этом разочарованном человеческом мире, ограниченном осязаемыми реальностями, которые можно потрогать рукой. Я мечтал о форме, способной передать безнадёжное положение эпохи, в которой люди... как бы это выразить самым банальным образом... вынуждены жить среди ужасающего отсутствия идеалов.

Но довольно скоро я осознал, что ни один способ выражения, ни одна форма, даже самая бесконечно тонкая, не может возникнуть из чистой воли, поскольку само мышление не знакомо с беспредметной свободой. Поэтому я вообразил, что моя форма и способ выражения должны отсылать к чувственности, коренящейся в вышеупомянутом принципе, управляющем функционированием человеческого мира.

Ну, именно этого мне и не удалось найти, этой определенной чувствительности в этом контролирующем принципе, и тот факт, что я не мог ее найти — а именно потому, что ее не было, — наполнил меня такой горечью, что по сей день я не в силах от нее избавиться, сколько бы я ни пил...

сладкий или кислый, острый или соленый — что бы я ни пробовал, ничего не помогает.

Я рассказываю вам всё это — историю о различиях между нашими разочарованиями и интеллектуальными выборами — чтобы вы поняли то, что я должен объявить сейчас: с горьким привкусом во рту я стою перед вами, ожидающими услышать от меня какую-то содержательную речь, горький привкус, независимый от гнетущего чувства, вызванного пленом, навязанным ради моей собственной безопасности. Я говорю об этом так подробно, чтобы сделать невозможным просто проскользнуть мимо этого горького привкуса и подчеркнуть именно его горечь, чтобы вы по-настоящему поняли, что я имею в виду, когда с этим горьким привкусом во рту повторяю: то, что я могу обещать вам как лектор сегодня вечером, — это едва ли немного лучше нуля. По моему опыту, независимо от того, будет ли темой лекции меланхолия, бунт или одержимость, лекция, подобная моей, каким-то образом не привлечёт внимания сегодняшней аудитории, вероятно, не потому, что, несмотря на всю свою банальность, она всё ещё слишком...

«трудно», как утверждают слушатели, но потому, что все, исходящее из этой области (которой, как вы помните, я признал, что она может быть 150-летней давности), все, исходящее из этой области, наводит скуку на эту аудиторию, потому что она не может понять, почему кто-то, например этот лектор, особенно после 150 лет, не может смириться с тем, что человеческий мир либо вульгарен, либо лжив, либо и то, и другое.

Конечно, теперь я мог бы ответить: «Вот именно так и должно быть, и как же следует исчислять эти сто пятьдесят лет? Что, если мы не уверены, что эти полтора века ещё впереди, господа! Может быть, мне — то есть, исходя из моего рода разочарования — не стоит отсчитывать сто пятьдесят лет назад!»

Да, я мог бы так говорить и задавать подобные вопросы, но это не изменило бы того факта, что даже в этом случае я не смог бы преодолеть то, что делает мир человеческого интеллекта таким пошлым и тому подобным, даже если бы впереди меня (или позади вас) было ещё сто пятьдесят лет. Я не способен игнорировать пошлость и лживость, я всё смотрю и просто не вижу дальше, так что и вселенная, и любой бог вселенной исчезают из моего поля зрения; а что касается моего поля зрения, если можно так выразиться, оно простирается лишь до этого пугающего свойства человеческого мира, я мог бы даже прямо сказать, что я потерял свой кругозор в непроглядном тумане пошлости и лживости.

Было время, когда все это впервые стало для меня очевидным, и довольно тревожное состояние заставило меня, в глубине души, отдать все свои силы

Это была серьёзная мысль. После этих размышлений, или, скорее, в их ходе, однажды я проснулся и почувствовал тошноту, и эта тошнота радикально отличалась от всех остальных.

У него не было объекта.

Я хорошо помню тот день: я сидел, сгорбившись, на краю кровати, созерцая точку на полу передо мной, куда случайно светило солнце, и ждал, пока пройдёт тошнота. Но она не проходила, и когда я подумал, что, возможно, она никогда не пройдёт, к ней присоединилось какое-то головокружение, которое я сначала не мог определить.

Это головокружение было непохоже на освобождение или облегчение, вообще на них не похоже, скорее это была кошмарная невесомость, как когда хочешь что-то пригвоздить, но ничего не получается, потому что ничто не имеет веса и ничего нельзя пригвоздить. Это был тот тип кошмара, когда понимаешь, что недостающий вес вещей сидит прямо у тебя на груди, словно какой-то суккуб, но прежде чем ты успеваешь его сбросить, он каким-то таинственным образом засасывается в непознаваемое царство твоих клеток, и с этого момента ты беззащитен, твои клетки уже весят тонну, в то время как все твое тело такое легкое, что оно почти парит, и так продолжается до тех пор, пока ты не можешь только удивляться, как клетки могут быть такими невыносимо тяжелыми, когда тело такое тошнотворно легкое, и в этой тошнотворной легкости вещи постепенно от тебя отступают, так же как и ты сам начинаешь постепенно отступать от них, одним словом, это как когда человек, тащащий груз, изнемогает от всей этой ноши и вдруг смотрит на свои руки и видит, что в них ничего нет, никогда не было, что он ничего не тащил, — то есть когда ты внезапно понимаешь, что чего-то больше нет у тебя, как ничего и не было никогда.

Уважаемые господа!

Я — этот человек!

И причина, по которой я обещаю вам так мало, заключается в том, что мне нечем обещать.

За вами, господа, стоит Вселенная, даже если её нет. А за мной, даже если я утверждаю, что она существует, нет ничего, ничего, ничего.

Но я больше не буду злоупотреблять вашим терпением.

Мое задание — рассказать об имуществе.

Пожалуйста, уделите мне внимание.

II

Однажды осенним днём, ещё тогда, когда я мог свободно передвигаться по улицам без разрешения и сопровождения, мне по какой-то причине пришлось зайти на почту. Я уже не помню точно, что именно я делал, может быть, письма или несколько небольших посылок, не уверен, но помню, что обе руки у меня были заняты, когда я направился к входу почты на главной улице.

В те времена, как вы знаете, подобные здания ещё не были защищены, так что любой мог беспрепятственно пройти через вход. Можно было зайти внутрь, чтобы отправить или получить деньги, купить почтовые марки, оплатить счета, а затем выйти или даже вернуться, если что-то забыл, — словом, люди были вольны делать всё, что им вздумается, и так было и в этот осенний день.

Я вошёл и, пробившись сквозь толпу приходящих и уходящих, нашёл нужное мне окошко выдачи. Это было несложно, ведь выбирать нужное окошко нужно было по виду работы: с вывеской «Деньги» или с вывеской «Конверт». Поскольку у меня были конверты, или мелкие пакеты, мне пришлось встать перед окошком с надписью «Конверт», или, вернее, занять место в конце очереди, поскольку я забыл упомянуть, что у обоих типов окошек выстраивались довольно длинные очереди. Чтобы описать всю картину целиком — знаю, обстоятельства тех дней вам знакомы — по какой-то странной причине слева от входа, где можно было отправлять крупногабаритные посылки, никого не стояло; и ещё, напротив всего этого — напротив отделения для отправки крупногабаритных посылок, окошек выдачи с их различными обозначениями и людей, стоящих в очереди, — стояли столы разной высоты с полками; имелись стойки для письма и столы со стульями, так что для того, чтобы просто наклеить почтовую марку, не нужно было садиться (то есть занимать столешницу), в то время как для того, чтобы написать письмо или открытку, можно было сесть (то есть иметь стол и стул).

Ну, вот я стою в очереди и смотрю на затылок человека, стоящего передо мной, но на самом деле я смотрю не на эту голову, а постоянно проверяю расстояние между мной и окошком обслуживания.

Я не смотрел на затылок, к которому были рассеянно прикованы мои глаза, а считал, сколько людей ждут меня впереди, один, два, три, четыре, пять, шесть... семь, решил я, но, может быть, эти двое

Там были люди, мужчина и ребёнок, вместе, так что было всего шесть, и в этот момент, совершенно случайно, я вдруг вспомнил, где нахожусь. Я видел себя сверху, словно смотрел с облака, стоя в очереди, и видел, как всё работает, и работало, пусть и не совсем гладко, но рывками. И всё же, работало; после того, как всё было чётко разграничено на почте, было понятно, чего ожидать от человека по эту сторону окошка обслуживания или от человека, сидящего внутри, за тем окошком; всё было устроено так, чтобы письма, мелкие посылки, деньги и более крупные посылки могли свободно перемещаться; функция марок понималась как сбор, уплачиваемый за этот трафик, другими словами, в целом, почта работала. Я, конечно, не знаю, какая польза была бы от неблагополучной почты. Настроение было не совсем веселым, но и не мрачным. Почтовая служащая (я хорошо ее видел, если отводил взгляд от затылка передо мной и смотрел через стеклянную панель, отделявшую служащую от нас) работала не слишком рьяно (что сразу вызвало бы к ней симпатию), но и не медлила (что сделало бы ее противной), и, оценивая в целом ситуацию, учитывая, как мы все стояли в очереди, можно было подумать, что так все и останется.

Шесть, сказал я себе, или, если мужчина и ребенок вместе, пять.

Снаружи проник луч солнечного света.

Довольно много людей входили и выходили; некоторые просто стояли, оглядываясь по сторонам, прежде чем решить, в какую очередь встать, в то время как другие практически бежали от двери до конца очереди, в которую им предназначалось, чтобы кто-нибудь из стоящих и оглядывающихся, или, может быть, какой-нибудь позже прибывший, ловкий клиент, не протиснулся перед ними. Если вы стояли в очереди, вы считали, глядя в затылки впереди вас, и постоянно пересчитывали оставшееся расстояние, как я, заботясь на самом деле только об одном: сколько времени потребуется, чтобы дойти до этого окна. Те, кто занял свое место в очереди, следили за каждым стоящим впереди, было важно, пять это или шесть, так что для новичка нагло влезть в начало очереди вместо того, чтобы присоединиться к концу было немыслимо. Это считалось бы явным случаем, легко подлежащим осуждению; Однако была и другая, подлая попытка, когда, игнорируя очередь, кто-то подошел к окну, заявив, что не собирается вмешиваться, что он не пришел туда по той же причине, что и остальные, а просто чтобы спросить

вопрос, ему просто нужна была какая-то информация, один вопрос, и он бы ушел.

Я не буду продолжать анализ потенциально недружелюбных сцен, которые могут возникнуть, пока стоишь в очереди, не желая переусердствовать и позволить мучительной стилистической бессмысленности накалить напряжение до предела, в то же время я намерен дать представление о мелочных отношениях, царящих на этой сцене, отчасти для того, чтобы убедить вас, что эта почтовая версия существования действительно была мрачной в тот день, а также для того, чтобы внести ясность: женщина, которая в этот момент истории внезапно подошла к нашему окну и тем самым дала решительный поворот не только конкретному дню, но в определенном смысле и всей моей жизни, эта женщина никак не вписывалась в эту почтовую версию существования.

Она вошла в дверь, словно никогда раньше не бывала на почте: растерянная, испуганная, крайне расстроенная, было видно, что ей стоило огромных усилий войти, и удержаться тоже стоило огромных усилий. Внешне она казалась невзрачной, одежда почти ничего не выдавала (расстегнутая светло-зелёная хлопковая куртка, под ней вязаный кардиган, чёрная юбка, а на голове — какой-то платок, не помню ни цвета, ни материала, возможно, это была вязаная шляпка, правда, не помню). Что-то выдавали в ней только глаза и поза, ибо они сразу же давали понять, что эта женщина... совершенно разбита.

После долгих колебаний в дверях она подошла к письменному столу, села спиной к нам, положила сумочку на колени и начала нервно в ней рыться. Очевидно, она не нашла то, что искала. Она закрыла сумочку и принялась шарить по карманам пальто, но безуспешно, потому что предмет, как в итоге оказалось, шариковая ручка, прятался в левом кармане её кардигана.

Вот откуда она вытащила его, только чтобы оглядеться вокруг, с этой ручкой в руке, всё ещё испуганная и растерянная, и, учитывая беспрестанное движение вокруг, казалось, что надежды найти выход из этого испуганного замешательства было очень мало. И всё же она нашла выход сама, потому что, казалось, мало-помалу начала понимать, для чего нужны все эти разнообразные окошки с надписями «платёжки» и «конверты», и встала, чтобы, довольно неуверенно, с остановками и рывками, подойти к нужному окошку, обозначенному табличкой с конвертом, и, среди видимых признаков недовольства стоящих в очереди, она наклонилась к окну и очень тихим голосом сказала:

сказал клерку: «Прошу прощения... Я хотел бы отправить телеграмму, но не могу найти одну из этих... бумаг».

Через стеклянную панель кабинки мы ясно видели, как служащий бросил на женщину угрюмый взгляд и сунул ей в отверстие чистый бланк телеграммы.

Женщина взяла бланк, но не отошла от окна, лишь слегка отошла в сторону. Она пристально посмотрела на листок, переворачивая его и изучая, но если она намеревалась, как я, вероятно, и предполагал, привлечь к себе внимание и получить совет по заполнению бланка, то это был напрасный труд, поскольку почтовый служащий не только не обратил на неё внимания, но и полностью проигнорировал её и с показной сердечностью повернулся к следующему посетителю. Стоявшие в очереди, особенно те, кто стоял ближе всего к окну, вероятно, испытывали желание оттолкнуть женщину, а может быть, даже — случайно — слегка наступить ей на ногу, чтобы она опомнилась и не задержала очередь; с другой стороны, эти же люди, ожидавшие в очереди, были несколько озадачены, поскольку было действительно невозможно решить, в чем была проблема этой женщины, и я думаю, что я был не единственным, кому уже пришло в голову, что, возможно, ее проблема была не столько в форме телеграммы, сколько в том, что никто не сказал ей уйти, забыть об отправке этой телеграммы, да, я все больше склонялся к такому выводу, отмечая при этом, что передо мной осталось всего пять, а может быть, и четыре, и я скоро узнаю, были ли этот мужчина и этот ребенок вместе; у меня крепло подозрение, что женщина по крайней мере в той же степени ожидала, что ее немедленно отговорят от отправки этой телеграммы, как и уверения в том, что телеграмму непременно нужно отправить.

Вам может показаться странным, если я сейчас утверждаю, что мне вообще не приходило в голову, что, скажем, речь идёт о какой-то семейной или романтической драме; всё это могло бы показаться довольно странным и даже подозрительным, если бы после случившегося, спустя столько лет, я попытался бы переместить основные моменты инцидента в сторону, которая была бы мне по душе. Но это не так, не только потому, что любое вмешательство такого рода уже давно мне не нравится, но и потому, что искреннее намерение вмешаться в акценты истории означало бы совершенно иной исход. Поэтому кажется само собой разумеющимся, что не стоит даже пытаться угадывать, что скрывалось за необычным поведением женщины, то есть сама женщина и её история стали очевидными причинами не вмешиваться в акценты истории, поскольку

казалось бессмысленным воображать, что в связи с ней — именно с ней! — может возникнуть какая-то романтическая или семейная драма.

Равным образом невозможно было вообразить там что-либо иное, невозможно было сказать, какой фон лежал за ней, потому что ее смущение обладало какой-то неопределимой воздушностью, ее встревоженные глаза излучали особую, совершенную невинность, и в этой безутешной позе, когда она помедлила у окна, а потом вернулась к письменному столу и снова села на стул, была какая-то чистота, которую я и, без сомнения, немало других стоявших в очереди — именно в силу ее несоответствия месту, ее почти потусторонности — не смогли бы объяснить (без смущения) с точки зрения трезвых, мирских соображений.

Я не хочу утверждать, что эта женщина, учитывая всю ее скорбную чистоту, была ангелом, но я также не хочу говорить, что она не была ангелом.

Если мне всё же придётся что-то сказать по этому поводу, то лучше всего сказать, что, хотя письменный стол и стул не могли находиться дальше восьми-десяти метров от меня, даже если бы я захотел, я не смог бы преодолеть это расстояние в восемь-десять метров. Невозможно было просто подойти к ней, слегка коснуться её плеча и заговорить с ней; нужно было признать: эта женщина, сидящая спиной к нам, в этой хлопчатобумажной куртке, которая почему-то так сильно помялась или перекрутилась на талии, была совершенно неприступной и недоступной.

И она была левшой.

Я наблюдал за тем, как она пишет, и в то же время отметил последнее изменение в строке: «три», — сказал я себе, и теперь без малейшего удовлетворения пришел к выводу, что мужчина и ребенок были вместе.

Затем женщина поднялась со стула и с бланком телеграммы в руке вернулась к окну. Она подождала, пока стоявший там человек закончит свои дела, затем наклонилась к проему, указала на бланк и сказала: «Прошу прощения ещё раз... Кажется, я всё испортила...»

Почтальонша, уже не скрывая, насколько тягостны ей эти постоянные прерывания, словно выражая солидарность с общим делом стоящих в очереди, раздраженно швырнула перед женщиной очередной чистый бланк. Женщина поблагодарила её, извинилась перед очередниками и вернулась к своему столу. Она вытащила из сумочки пачку бумажных салфеток, высморкалась, сложила салфетку, сунула её в карман пальто и снова принялась писать.

Я наблюдала, как она пишет.

Она судорожно сжимала перо, держа его почти у кончика. Она медленно выводила каждую букву, останавливаясь после каждого слова, чтобы обдумать его. Иногда она поднимала голову, словно чтобы посмотреть в окно, или, скорее, словно созерцала солнечные лучи, струящиеся сквозь окно почты, ошеломлённо ища что-то в падающем свете. Затем она снова склонялась над бланком, совсем близко к бумаге, и продолжала писать.

Я заметил в очереди еще двоих и видел, как мужчина и ребенок уходили вместе, закрыв за собой дверь.

Затем женщина снова поднялась и в третий раз подошла к окошку выдачи. «Прошу прощения за то, что снова беспокою вас...», — начала она с тревогой. «Я закончила... Только... я хотела бы кое-что добавить. Не знаю, можно ли так...» Она протянула бланк телеграммы через отверстие. «Я хотела бы добавить ещё одно слово... Но я не знаю... Мне нужно всё переписать?»

Почтальонка какое-то время молчала, просто смотрела прямо перед собой с суровым выражением лица. Было видно, что она ненавидит эту женщину.

Затем, словно сосчитав до десяти и немного успокоившись, она беспомощно развела руками, бросила заговорщический, дружеский взгляд на следующего в очереди, молодого солдата, и, сделав лицо, словно говорящее: «Что я могу сделать?», взяла телеграмму и склонилась над ней. «Скажи мне. Как это слово? Я напишу. Давай покончим с этим».

Женщина ответила еле слышным голосом.

«Я бы хотел здесь добавить: „бесполезно“.

И она указала в телеграмме точное место.

Почтовая служащая подняла брови, кивнула, написала слово на нужном месте, подсчитала слоги, быстро все сложила, взяла деньги, вернула сдачу и не спускала глаз с женщины, пока та, почти бегом, не покинула помещение, а дверь за ней захлопнулась.

Затем она заговорила достаточно громко, чтобы все могли ее услышать.

«Я просто не могу выносить этих психов. С меня уже хватит. Если увижу ещё хоть одного... Ты только посмотри!» — повернулась она к молодому солдату и с отвращением ударила ладонью по телеграмме. «И что мне теперь с этим делать?!»

«Почему? Что в этом плохого?» — спросил молодой человек.

С гневным жестом служащая протянула ему телеграмму и скомкала ее в кулаке.

«Адресата нет».

Уважаемые господа!

III

Думаю, в этот момент мы можем сделать передышку.

У каждого потока мыслей свой темп, включая мой собственный, и, признаюсь, порой я не могу даже за своим, не говоря уже о чужих. Представьте, как какой-нибудь уличный патруль, может быть, патруль Хайноци (неважно, какой из множества), преследует кого-то, имеющего разрешение убить или захватить, — теперь это не имеет значения, и преследуемый просто задыхается, патруль тоже отстаёт, и обе стороны утверждают, что охота продолжается, хотя это не так. Именно в этот момент нужно сделать глубокий вдох, попытаться восстановить темп в подъезде или на заднем дворе среди бочек с маслом, хотя бы на время этой одышки, тяжело дыша, восстанавливая темп, ведь именно в этом и заключается суть погони, — вернуть тот темп, который обе стороны — и преследователь, и преследуемый — одновременно потеряли. Что ж, вот так и я оказываюсь сейчас, вынужденный прервать свою лекцию. Вы знаете, что произойдет дальше в этот промежуток времени, в подходящем дверном проеме или на заднем дворе среди бочек из-под масла, где можно перевести дух; однако я обещаю вам, что это последний раз, не будет никаких дальнейших так называемых прерываний или отклонений, то есть только это последнее, и затем, поверьте мне, с этого момента все пойдет гладко, как хорошо смазанная машина, беспрепятственно, следуя по прямой к финишу, не останавливаясь до последнего предложения — где не только эта лекция, но и все мое занятие подойдет к своему окончательному заключению — и в этот момент я тоже раз и навсегда смогу удалиться из центра вашего внимания, которое все это время было таким двусмысленным и теперь, возможно, становится довольно зловещим.

Да, мы здесь на мгновение останавливаемся, а пока, чтобы сделать дыхание менее слышимым, пока это «я» внутри меня снова обретает свой нормальный темп, позвольте мне вернуться к обыденному месту моего пребывания в вашем подвале, и, помимо напоминания вам о необходимости не забывать о дополнениях к моей ежедневной норме прогулок, позвольте мне поднять еще один вопрос, о котором я собирался упомянуть.

Ввиду некоего решающего поворота в сложившейся ситуации, который от меня скрывали, боюсь, что ваше решение назвать эту лекцию моей прощальной речью не обязательно гарантирует, что моё последнее появление здесь станет первым шагом к освобождению. То есть, весьма вероятно, что мне придётся остаться здесь, возможно, освободившись от вашего внимания, но не от предписанной вами для меня охранной охраны. Если дела обстоят таким образом, я могу рассчитывать на длительное пребывание здесь, но вы должны понять, что для меня такое пребывание равносильно посадке на «Титаник», то есть мои потребности радикально меняются, рациональные сводятся практически к нулю, в то время как мои иррациональные потребности, те, которые возникают, становятся теперь важнейшими, я бы сказал, жизненно важными, так что однажды на прошлой неделе, когда я лежал на кровати и переключал каналы телевизора (эти показатели того, что дела идут своим чередом), однажды на прошлой неделе я внезапно понял, что с этими каналами что-то не так, ах, но, конечно же, я понял, что то, что я смотрю, — это не что иное, как так называемый консервированный материал, указывающий на то, что снаружи, в реальном мире, что-то радикально изменилось, произошло что-то необратимое, что побудило нас, господа, к отчаянному решению устроиться на длительную осаду, и теперь я останусь вашим особым пленником на все время этой осады. Мне стало ясно, что, возможно, я никогда не покину эту крепость, ваши великолепные, но смертоносные владения. Я вдруг понял, что — если можно так выразиться — вот мы снова, вот мы снова на борту «Титаника».

Я не говорю, что белизна, чистая белизна подвала — белизна пола, стен и аскетичной обстановки — огорчала меня, как не раз полагали мои охранники, или как вы их там называете, — нет, проблема не в этой белизне, которая для других действительно может быть по-настоящему ослепительной, и не в полном отсутствии какого-либо цвета вообще. Нет, коль уж мы об этом говорим, для меня это всеобщее изгнание всех цветов в белизну представляет собой изящное подведение итогов реально происходящих событий, так что я далек от мысли протестовать против этого; это было бы совершенно бессмысленно.

Речь идет о моем гонораре.

До сих пор я не поднимал эту тему, и не сделал бы этого сейчас, если бы не чувствовал себя сейчас на борту « Титаника», но поскольку я, похоже, там и нахожусь, я должен сообщить вам, что, хотя я и не претендую на денежные соображения, тем не менее, поскольку эти мои конкретные почти нулевые потребности

Упомянутые выше вопросы действительно возникли, и вот они, и я прошу вас обратить на них внимание. Я бы потребовал:

1. Все документы и предметы, сохранившиеся с моего детства.

2. Двести двадцать тысяч метров пряжи.

3. Револьвер.

Что касается первого, то достаточно сказать, что здесь я имею в виду дневники, табели успеваемости, аттестаты, фотографии, школьные тетради, сборники рассказов, раскраски, рисунки, куклы, игрушки, коллекции салфеток, почтовые марки, значки и спичечные коробки, словом, всё, что специальный отряд, посланный вами, сможет извлечь из этого лабиринта моего детства. (Если он найдёт дом, в котором я родился, он должен непременно обыскать чердак, вход на который — возможно, у вас этого нет в моём досье — находится сзади, сбоку от дома дяди Фери...) Что касается второго требования, то достаточно будет сказать, что для моих целей пряжа может быть в клубке или в мотке, мне всё равно, главное, чтобы она была цельным куском, то есть мне нужен один отрезок пряжи длиной двести двадцать тысяч метров.

Что касается третьего пункта, то, думаю, комментарии излишни, поскольку выдача разрешений на оружие самообороны расширена и распространяется на учащихся средних школ.

На этом всё, и я надеюсь, вы отправите этого коммандос при первой же возможности, так же как, надеюсь, вы не станете спрашивать о моих причинах; мне всё равно, можете считать это моей последней просьбой, в конце концов, мне всё равно, как вы её воспринимаете, поскольку мы имеем дело с совершенно личным вопросом: зачем мне всё это нужно, как оно связано друг с другом и почему именно эти три. В любом случае, упоминание этих документов и предметов моего детства приходится как нельзя кстати и для вас, господа, поскольку именно это сейчас и последует: упоминание этих вещей, ибо мы достигли конца нашего отступления, где я могу раскрыть вам всё, что мог рассказать об имуществе как краеугольном камне, опоре, фундаменте, глубочайшей сути нашего мира, или, вернее, нашего прежнего мира; всё это к настоящему моменту может относиться лишь к абсолютной утрате всего имущества, хотя корни уходят в моё детство, откуда берут начало все эти запрошенные документы и предметы. Это то самое детство — с куклами, табелями успеваемости и коллекцией спичечных коробков — которое относится к истории, которая вас волнует, господа. Видите ли, история, которая последует дальше, и которую вы...

Очевидно, я с нетерпением ждала продолжения после всех этих, казалось бы, второстепенных и тривиальных историй и анализов, которые начались ещё в детстве, и отправной точкой стала любовь к вещам. Что касается финала, то его можно кратко описать как абсолютное отвращение, которое вызывает имущество. Конечно, вас интригует то, что могло произойти между началом и концом этой истории. Что ж, должен сказать, что всё гораздо проще, чем вы думаете, и его можно кратко изложить.

Сначала у меня была только одна кукла, и я ее очень любила.

Потом мне подарили плюшевого мишку и льва, оба из искусственного плюша, и я их тоже очень любил. После этого мне подарили деревянный замок с оловянными солдатиками, а потом пришла школа, и мне подарили футбольный мяч, рюкзак, синий спортивный костюм, и любовь постепенно переросла в симпатию, я был рад всем этим вещам — футбольным мячам, рюкзакам, спортивным костюмам. А запас моих вещей рос и рос, и по мере того, как он рос, моя радость превращалась в жажду обладать ещё большим количеством этих вещей или, по крайней мере, чтобы эти вещи, которыми я владел, навсегда оставались моими в самом строгом, неоспоримом смысле, и чтобы этот запас продолжал расти и расти.

И вот эта сокровищница росла и росла, как и я. Потом я вырос и стал мужчиной со всем, что обычно: женой, ребёнком, домом, машиной, телевизором — всё это, конечно же, на самом деле сводилось к жажде и желанию, чтобы всё, чем я владею, оставалось моим.

Но настал день, конечно, уже во взрослой жизни, когда я остановился в таверне и задержался, как это обычно делают мужья по дороге домой после покупок. Когда же пришло время прощаться, и кто-то спросил, кому принадлежит эта полная сумка, я, будучи немного пьяным, промолчал, хотя она и принадлежала мне, но никто этого не знал, слова просто отказывались идти на язык, поэтому я промолчал и позволил недоумению по поводу отсутствующего владельца превратиться в перепалку между моими собутыльниками, закончившуюся дележом содержимого полной сумки, где каждый взял домой то, что ему хотелось, учитывая, что какой-то незнакомый пьяница явно не уследил за своими вещами. (Кажется, я припомнил, что мне удалось взять домой помидор.) Позже я не смог придумать серьёзной причины для молчания, но тот день оказался судьбоносным: с тех пор, словно в меня вселился дьявол, я всё чаще и чаще делал подобные вещи, я, казалось, выработал привычку отстраняться от

мои вещи, отрицание того, что вещи мои, и это отчуждение и отрицание, хотя и началось с осязаемых вещей — настоящих объектов собственности — не остановилось на этом, а начало метастазировать на вещи, которые не были настоящими объектами собственности, и распространилось, скажем, от сумки с товарами до головы, полной идей, от помидоров до мыслей и, наконец, до самого языка. Например, мне становилось всё труднее сказать: «Иди сюда, моя дорогая!» или «Пожалуйста, передай мне мою шляпу!», и у меня начались проблемы даже с такими безобидными выражениями, как «О боже!» или «Твоя мать...»

...», то есть у меня просто начались проблемы с любыми притяжательными местоимениями — прилагательными, местоимениями, суффиксами, — особенно когда речь шла о первом лице единственного числа, хотя, конечно, у меня были все основания продолжать их использовать, ведь в конце концов у меня была моя любовь, моя шляпа, мой бог, моя мать.

Может быть, мне едва ли нужно говорить, что в конце концов вместе с этим переходом, хотя и не связанным с ним, я потерял всё: моего бога, мою мать, мою любовь и, в конце концов, даже мою шляпу; но ни на секунду не думайте, что это объясняет пагубный кризис притяжательных прилагательных и местоимений, нет, вовсе нет, это вообще ничего не объясняет; прошли годы этой сокрушительной двуличности, а я не нашёл выхода. Двуличностью я это называю, но я мог бы сказать, что это была полная анархия, потому что даже когда я изо всех сил пытался сказать «нет» вещам, в то же время я говорил им «да». Возьмём, к примеру, улицу, где, видите ли, я заметил странный факт, а именно, что люди ходили не прямо перед собой, как обычно, а боком, все без исключения, кривясь, искоса поглядывая на витрины; то есть, осознавая и отрешаясь от того, что живу среди людей, явно неспособных противиться гипнотическому влечению к приобретению, я в то же время время от времени не мог удержаться от того, чтобы не бросить взгляд на эти витрины. А порой, борясь с тошнотой, я даже заходил в какой-нибудь магазин, чтобы купить, скажем, новую шляпу, чтобы покрыть голову.

Я могу охарактеризовать свое положение только как самую ужасающую анархию, раздираемую притяжательными местоимениями и тошнотой, реальным имуществом и реальным отвращением, лживыми или, по крайней мере, нечистыми основами моей жизни, при этом я не имел ни малейшего представления о том, что разрывало меня на части, что так окончательно сбивало меня с толку, когда мне приходилось употреблять первое лицо единственного числа по отношению к миру.

Вы уже знаете, что положило конец этой анархии для меня.

Да, господа, это была та самая телеграмма на почте в тот осенний день.

Я не могу сказать, что мне сразу все стало ясно; сначала только одно слово «бесполезно» пронзило мое сердце, а потом

«адресат неизвестен». И вот я, с пронзенным сердцем, иду домой, блуждая и, если позволите мне так выразиться, колеблясь между смертельно сладкой меланхолией и необходимостью немедленного бунта.

Я уже не помню, как долго это продолжалось, возможно, дни, а может быть, и недели, пока однажды утром я не сидел у окна, глядя на безрадостный свет, и на улице, под кухонным окном, стая воробьев взлетела с сухих веток неподстриженной живой изгороди и почти сразу же спикировала обратно.

Это было так, как будто завесу сорвали, а затем опустили, настолько быстрым был этот взрыв вверх и падение вниз, и хотя тут не могло быть непосредственной связи, я до сих пор верю, что какая-то связь должна была существовать между стремительным порывом стаи воробьев и моим просветлением, ибо это было похоже на просветление, так же, как и в тот предыдущий день тошноты (я вспоминаю того суккуба), я проснулся и осознал, что ничем не обладаю и никогда не буду владеть, и я не единственный такой, и я представлял, как мои глаза обнимают весь этот мир, погрязший в жажде обладания, — все мы были и будем такими вечно.

К настоящему времени вы, возможно, уже привыкли к тому, что, кроме повторения доказательств, от меня ничего особенного ожидать нельзя, так что не удивляйтесь, услышав во второй раз, хотя и из более глубинной глубины, что «я ничем не обладаю» и что «ты тоже ничем не обладаешь». И всё же я хотел бы убедиться, что вы понимаете, что я имею в виду.

Вы, господа, прекрасно знаете, что когда-то существовал мир, где — совершенно независимо от определения его содержания — можно было ясно, пусть даже и в ограниченном смысле, определить значение вещей, и это значение устанавливалось лишь до тех пор, пока царил мир как в человеческих, так и в природных отношениях. Глядя на эти сухие ветки перед кухонным окном, я вдруг понял; то есть, стая воробьев, взлетая и опускаясь обратно, отбросила завесу с того факта, что этот мир, существование которого, кстати, многие охарактеризовали бы как условное, закончился, условия мира больше не достигаются ни в человеческих, ни в природных отношениях.

отношения, потому что теперь в этих отношениях преобладало состояние войны, короче говоря, произошел решительный поворот, вероятность которого и наше движение к которому мы, конечно, осознавали все это время (мы даже говорили друг другу, моргая, что нет никакой возможности это сдержать, все неудержимо несется к краю пропасти и т. д. и т. п.)

— за исключением того, что мы не осознавали, что изменение уже произошло.

Точно так же, как в поездке на поезде, выйдя из леса или пологих холмов, мы внезапно оказываемся посреди мрачной пустыни, именно так это и произошло, из мира в войну, с той лишь разницей, что в данном случае было гораздо труднее, если не невозможно, провести границу, где заканчивается одно и начинается другое, потому что никакая граница не разделяет эти два понятия, вместо этого одно порождает другое, каким-то образом вклинивается в другое, поэтому — в отличие от настоящей поездки на поезде — в ситуации война/мир все происходит почти незаметно, в один момент мы выглядываем в окно — и там по-прежнему лес и пологие склоны холмов, затем мы смотрим снова — и это пустыня.

Пожалуйста, не поймите меня неправильно. Когда я говорю о состоянии войны, я не имею в виду... Я не знаю... скажем, стрельбу на улицах или что-то в этом роде... Нет, это не выстрелы на улице и не страх, что по нам могут стрелять. Конечно, это может произойти в любой момент, но это не то, что делает войну, совсем нет. Это не уличная охота и тому подобное. Но когда...

... как бы это сказать... время идет, мир продолжает свой путь и по пути приходит к дорожному знаку, и этот дорожный знак никуда не указывает, дорога заканчивается здесь, движение дальше продолжаться не может, все как будто сходится здесь, и затем... по какой-то причине — и мы можем назвать это единственной истинной и необъяснимой тайной — из бутылки вырывается демон.

Этот зловреднейший демон не то же самое, что ангел смерти, ибо он не дух мира, а демон войны, восторга от того, что всё сущее может быть разрушено. Это — восторг самый сильный, высший, непревзойдённый, и ничто и никто не избегнут его власти.

Всему можно сказать «нет», кроме этого, потому что оно незаметно проникает всюду, потому что оно — начало и конец всякого настоящего высказывания, неподражаемый экстаз власти над вещами, где глубины господства совершенно безграничны.

Этот демон движим необъяснимой ненавистью, и он заставляет нас уничтожать себя. И как только он вырывается на свободу, защитный периметр вокруг нас, империя вещей вне нас, всё, чем мы властвуем, с высоты...

от коллекции спичечных коробков до королевства, все, что принадлежит нам, вдруг теряет свой смысл и распадается на части.

Я сидел у кухонного окна, и стая воробьев заставила меня кое-что понять.

На самом деле... У нас ничего нет.

IV

Уважаемые господа!

Прежде чем я поклонюсь в последний раз, позвольте мне поделиться с вами новостью, возможно, вы ее еще не слышали.

В 1981 году на Окинаве, одном из южных островов Японии, известном прежде всего американской военной базой и входящем в Восточно-Азиатский фаунистический регион, после ликвидации американской базы и возвращения японцев местные власти решили построить дорогу. До этого не существовало дороги, соединяющей южную часть Окинавы, где благодаря американской базе существовала относительно обширная цивилизация, с северной частью острова, полностью сохранившейся в первозданном виде. Строительство дороги должно было установить связь между южной и северной частями острова, между цивилизацией и природой.

Работа началась, и бульдозеры, экскаваторы и рабочие бригады прибыли в субтропические джунгли, доселе нетронутые человеком. И вот в один прекрасный день, а именно 4 июля 1981 года, в этом царстве нетронутой природы рабочие со своими бульдозерами наехали на красивую птицу. Эта птица была длиной около тридцати сантиметров, с оливково-коричневой спиной, с чёрно-белыми полосами на груди и брюхе, с длинным клювом и лапами ярко-кораллового цвета. Сами рабочие сочли её красивой, и благодаря этому туша попала в руки учёного, изучавшего фауну острова вслед за дорожными строителями и американскими войсками, и этот учёный с изумлением взглянул на тушу.

Птица принадлежала к неизвестному виду.

Никто никогда не видел этого вида, ни в одной орнитологической монографии он не упоминался, и учёный по имени Мано осознал масштаб открытия. Но он отказался монополизировать славу и, в традиционной японской манере, предложил эту честь профессору Ямасине, директору орнитологического института в Токио.

настаивая на том, что особая честь описания вида принадлежит профессору.

Нетронутая природа северной части острова, конечно, не исключила коренных жителей, которые жили там на протяжении столетий, так что, учитывая присутствие этой коренной популяции, птица все равно продемонстрировала такое совершенное мастерство в сохранении своего существования невидимым на протяжении бесконечной череды поколений, и что ж, этот факт, понятно, вызвал значительный интерес во всем мире.

Профессор Ямасина, основываясь на наблюдениях Мано, определил, что новый вид принадлежит к семейству пастушковых (Rallidae), и, поскольку из-за длинного клюва его нельзя было отнести к короткоклювым погонышам, он выделил в этой классификации отдельную ветвь и назвал его окинавским пастушком ( Yanbaru-kuina по-японски). Неудивительно, что в первом же предложении, описывая поведение птицы, профессор Ямасина отметил, что окинавский пастушок ведёт весьма скрытный образ жизни.

Теперь оставалось только объяснить, как могло случиться, что этот скрытный способ существования имел столь оглушительный успех.

Наблюдения пришли к выводу, что мы столкнулись с прискорбно малой популяцией, и именно это, а также крайне ограниченный ареал вида, отчасти объясняют успешность этого невидимого способа выживания.

Одна из теорий заключалась в том, что птицы обитали в местности, где мелкие хищники должны были быть относительно немногочисленны или вообще отсутствовать, и они учли тот факт, что люди не представляли опасности — каким-то чудом аборигенное население воздержалось от охоты на них, птицам удалось остаться вне поля зрения, поэтому их пути никогда не пересекались.

Эти наблюдения, если можно так выразиться, в отношении столь робкого существа были тщательными и всесторонними, хотя и оставляли место для нескольких разумных догадок, которые ни на йоту не приближали к разгадке тайны.

Последующие расследования выявили возможное значение факта отсутствия способности окинавского пастушка летать.

Видите ли, недавно открытый вид обитал на земле и не был способен летать.

Феномен нелетания известен в орнитофауне как континентальных массивов суши, так и океанических островов, но в последнем случае объяснение ещё более очевидно. Оно более очевидно, но приводит к

ловушка, которая, как оказывается, отдаляет решение поставленного вопроса в бесконечность.

Учитывая, что для островных птиц серьёзной опасностью является быть унесенным штормом, некоторые виды пытались защититься от неё, просто воздерживаясь от полёта. Защитный рефлекс не летать стал наследственным, и, особенно у крупных птиц, изначально плохо летавших, за относительно короткие сроки это привело к полной потере способности летать. Это, в свою очередь, потребовало скрытного образа жизни, поскольку наземные обитатели полностью зависят от хищников. Именно это и произошло с нашим пастушком: потеря способности летать привела к крайней робости, заключили учёные. Но, учитывая, что в мире птиц есть несколько подобных случаев, следует отметить, что ни один из них не был столь успешным, как наш пастушок.

Профессор и его соавтор не скрывали своего безграничного восхищения окинавским пастушком, этим великим мастером уединения, из-за его совершенного защитного механизма.

Я тоже отдаю дань уважения этой птице, поэтому и рассказала эту историю, но в то же время чувствую себя в ловушке.

Видите ли, моя точка зрения отличается от точки зрения профессора Ямасины и его коллег-исследователей. В моём представлении окинавский пастушок — это просто птица, которая не умеет летать.

В

Ну вот и все мои новости, и больше ничего я на данный момент придумать не могу.

Я сдержал свои обещания и сказал все, что намеревался сказать.

Будут ли у меня те же охранники по пути вниз?

Это да?

В таком случае, господа, я готов.

Лекция окончена.

Давайте отправимся в путь.

СТО ЛЮДЕЙВСЕХДО ЛД

Потребовалось две с половиной тысячи лет, в общем и целом двадцать пять сотен, то есть примерно сто поколений, чтобы этот факт стал очевидным и опознаваемым с неоспоримой точностью, именно столько времени потребовалось, чтобы дойти до этого момента, до наших дней, но можно также сказать, что примерно двух с половиной тысяч лет хватило, чтобы учение рассыпалось, зачахло, чтобы его послание стало тусклым и извращенным, чтобы полный и непоправимый распад его первоначального смысла через бесконечную цепь неверных толкований и непониманий потребовался сто поколений, можно также сказать, что все это потребовалось сто человек, включая первого, который понял это и завещал это традиции, и последнего из ста, который окончательно отказался от непревзойденной области знания, относящегося к факту, то есть того, кто — с другой точки зрения — оказался способным построить постижимый человеком мир, основанный на искажении этого непостижимо глубокого знания, поскольку не только невозможно было восстановить изначальное учение, но больше неинтересно знать, что было утрачено, потому что это то, что произошло, сто людей, сто поколений, две с половиной тысячи лет, и мы забыли, что самый оригинальный философ мира задумал и провозгласил между 450 и 380, или между 563 и 483 годами до нашей эры, в окрестностях Оленьего парка Исипатхана и Кушинагара, потребовалось всего сто человек, так что у нас в начале двадцать первого века больше нет даже самого смутного представления о том, что факт одновременно создает и разрушает себя, что слова и идеи не могут ничего сказать о мире — об огромном космосе, содержащем так называемые самоочевидные факты — кроме постулирования ничто; совершенного и сверкающего ничто, в то время как, с другой стороны, к тому времени, как то, как устроен мир, было зафиксировано письменно, это окончательно и навсегда выпало из нашей памяти, выпало окончательно и безвозвратно, хотя не из-за недостатка фактов или реальности, а потому, что для того, чтобы обрести примитивное духовное состояние, избрать самый очевидный путь, чтобы получить контроль над постижимым человеком миром и тем самым установить

безопасность бытия в царстве природы, это забвение казалось неизбежным, ничего другого не требовалось, единственным необходимым требованием было это отречение в тесном проходе к просторной и медленно рассеивающейся цепи мысли, так что, отбросив наше осознание необычайно сложной вселенной, мы могли бы теперь проводить наши жизни среди бесплодно бьющихся волн все более ясной, простодушной, грубой логики, таким образом давая начало рефлексивному человеческому существованию, это через жалкое непонимание механизма причинности, к завораживающе грубому руководящему принципу, основанному на коррелятивной системе факт-реакция-факт, или, скорее, симптом-реакция-факт, который сам по себе не препятствует, фактически, он гарантирует, что действию закона ничто не препятствует, и меньше всего это существо, предназначенное для так многого, хотя и не для всего, которое упорствует в иллюзии, что оно наконец-то обрел разум в обмен на средство видения глубочайшей взаимосвязи вещей, который он отбросил как дефектный, хотя самым загадочным образом он все еще сохраняет свое тайное функционирование; таким образом, самолишенный командной силы истинного интеллекта, униженный этой нанесенной себе раной, барахтающийся в высокомерии знания, которое никогда не было знанием, если только это не знание глупца, настаивающего на том, чтобы его привели обратно к факту неприкосновенности его роли, то есть его присутствия, т. е. его существования, и внутри этой непостижимой тайны стать тем, чем он в любом случае должен стать внутри одновременно существующего и растворяющегося контекста триллионов косвенных фактов.

Всего две с половиной тысячи лет, и не осталось ни одного человека, который бы полностью осознавал, что второй из ста слышал когда-то в Оленьем парке и в Кушинагаре, каждое звено в изначальной цепочке мыслей превратилось в самую вопиющую ошибку, каждый пункт в текстах ошибочен, каждый пункт в комментариях ошибочен, как и каждый пункт в исправлениях и изменениях, уточнениях и пересмотрах, ничего, кроме ошибок, ошибок на ошибках, так что только одно спасает нас от безумия цинизма, только одно порождает уверенность, более слабую, чем самый слабый ветерок, а именно, что в каждом созданном и существующем явлении можно почувствовать, что изначальное учение действительно существовало когда-то, и что мир, космос, вселенная, другими словами что-то и всё — каким-то образом, то есть, непередаваемым образом все еще существует — возможно ли почувствовать это хотя бы на краткий миг, независимо от того, что именно есть мир, космос,

и вселенная; в нас явно неискоренимо заложено чувство, что повсюду и всегда факты существуют во всей своей непостижимости и неуловимости, более того, триллионы и триллионы фактов существуют высвобожденными в тишине времени, потому что среди беспрестанных молний сомнения это чувство действительно неистребимо, что, например, там, где сейчас весна, распускаются весенние почки и то, что должно зеленеть, зеленеет — мы чувствуем это на краткий миг, независимо от того, что именно такое бутон, зеленый цвет и весна; вот мы стоим теперь, совершенно заброшенные, потеряв того, кто мог просветить, — потому что он когда-то давно понял, — и нас швырнули вниз, чтобы быть здесь, без того единственного, просто быть, как весна и бутоны и все это зеленеет, здесь в глубочайшем непонимании того, что значит, что это непременно должна быть весна, с почками и всем, что вот-вот зазеленеет, что, следовательно, должен быть прямой опыт, т. е. повод для прямой конфронтации и опыта, или, точнее: это все, для чего есть повод — стоять там весной, где весна, и наблюдать, как бутоны и все зеленеет, стоять и стоять там, когда наступает весна, стоять и наблюдать это среди самой катастрофической непосредственности, предоставленные самим себе, лелея мрачное подозрение, что когда-нибудь мы все-таки должны увидеть, как это возможно, что одновременно со всеми этими существованиями, со всеми этими триллионами и триллионами фактов, вообще ничего не существует.

Может быть, на самом деле их было сто человек, именно столько потребовалось, и нет надежды, что будет сто один, потому что жизнь, основанная на непонимании, неверном толковании и ошибочных идеях, должна закончиться так же, как должна закончиться весна, как должно закончиться распускание почек и зеленение, и все будет так же непостижимо, как было с начала незапамятных времен, без какой-либо помощи на этом пути, и даже этот конец не несет просветления, поскольку тот, кто мог бы его дать, уже дал его когда-то давно, только никто не понял того, что он провозгласил: прочь рассуждение и прочь смысл, прочь жажду желания и страдания; не было никого, кто по-настоящему понял и принял это, несомненно, именно это и следовало сделать тогда, после 380

или 438, принять то, что можно было бы понять из слов, сказанных аскетическим князем философов, и найти форму, какую-то совершенно новую форму, чтобы воплотить это душераздирающее состояние соприкосновения, и не передавать его так называемому пониманию, не бросать его для так называемого толкования, не оставлять его на произвол судьбы

милость ума, который не мог не уничтожить его немедленно, оставив его себе или передав в область религии, не имеет значения, какой путь избрал ум, чтобы покончить с княжеским посланием, это была слепота средь бела дня, ум, вырывающий послание у адресата, так что теперь где-то предположительно у нас есть послание, в то время как есть эта горестная, неизлечимая слепота, и после этих ста не появилось никого, кто бы хотя бы признал, что то, что относится к другому, никогда не может на самом деле коснуться этого другого, так что теперь остались только слова, на следующие две с половиной тысячи лет, человеческие слова, которые никогда не будут —

точно так же, как они никогда и не были ни на что годны, потому что они не только не расшифровали того, что было и все еще вписано в непосредственную священность триллионов и триллионов фактов, не только увели нас от того места, куда им следовало бы направить, но они даже не годятся и никогда не будут годиться для того, чтобы по-настоящему утешить нас в утрате, из-за отсутствия пути назад к единому, и не могут даже предупредить нас: мы должны очень внимательно слушать то, что говорится, если это вообще говорится, потому что это говорится один и только один раз.

0

Память — это искусство забывать.

Он не имеет дела с реальностью, реальность — не то, что его занимает, он не имеет никакого существенного отношения к той невыразимой, бесконечной сложности, которая есть сама реальность, таким же образом и в той же степени, в какой мы сами не способны достичь точки, где мы можем уловить хотя бы проблеск этой неописуемой, бесконечной сложности (ибо реальность и проблеск ее — одно и то же); поэтому вспоминающий преодолевает то же расстояние до прошлого, которое должно быть вызвано, как и то, которое он преодолевал, когда это прошлое было настоящим, тем самым обнаруживая, что связи с реальностью никогда не было, и эта связь никогда не была желанной, поскольку независимо от ужаса или красоты, которые вызывает воспоминание, вспоминающий всегда работает, исходя из суть образа, который вот-вот вызовется, сущность, которая не имеет реальности и даже не исходит из ошибки, ибо он не может вспомнить реальность не потому, что совершает ошибку, а потому, что обращается со сложным самым вольным и произвольным образом, бесконечно упрощая бесконечно сложное, чтобы прийти к чему-то, относительно чего у него есть определенная дистанция, и именно так память сладка, именно так память ослепительна, и именно так память становится душераздирающей и чарующей, ибо вот вы стоите здесь, посреди бесконечной и непостижимой сложности, вы стоите здесь совершенно ошеломленный, беспомощный, ничего не понимающий и потерянный, держа в руке бесконечную простоту воспоминания — плюс, конечно, опустошительная нежность меланхолии, ибо вы чувствуете, держа это воспоминание, что его реальность находится где-то в бессердечной, трезвой, ледяной дали.

II. РАССКАЖИТЕ НАМ

NINEDRAGONCROSSING

Будущее, то же самое старое.

Он всегда планировал, что когда-нибудь поедет посмотреть на водопад Анхель, затем он планировал посетить водопад Виктория, и в конце концов остановился хотя бы на водопаде Шаффхаузен; однажды он поедет и увидит их, он любил водопады, это нелегко объяснить, он начинал всякий раз, когда его спрашивали, что ему нравится в водопадах, водопадах, начинал он, и тут же прерывал себя, как бы это сказать? Он недоуменно посмотрел на собеседника, словно ожидая, что тот поможет ему ответить, что же именно у него с водопадами, но, конечно же, тот, кто задал вопрос, никогда не спешил помочь с ответом, да и с чего бы ему, ведь он задал вопрос, потому что не знал ответа, так что обычно это вызывало некоторое замешательство, которое либо усиливалось, либо тут же прекращалось, потому что, немного помедлив, либо сразу, ему каким-то образом удавалось закрыть тему, потому что в такие моменты, когда от него пытались добиться ответа, он либо постепенно, либо резким движением буквально отворачивался от собеседника, он не хотел быть грубым, но его очень нервировало, что так всегда происходило, что он сразу же смущался, всё это действовало ему на нервы, когда его спрашивали, и он сам из-за этого смущался, просто стоял там, как обухом по голове, в то время как его собеседник явно не понимал, что происходит, что это такое с сковорода? — так что те из его знакомых, кто знал об этом, предпочли оставить это дело, хотя вопрос был бы оправдан, все вокруг него знали, что он любит водопады и что он всегда планировал путешествовать, чтобы увидеть хотя бы один, как говорится, хотя бы раз в жизни, в первую очередь водопад Анхель или водопад Виктория, но в крайнем случае водопад Шаффхаузен; тогда как все произошло совсем иначе, фактически совершенно иначе, ибо он прибыл в тот период жизни, когда уже не знаешь, сколько лет осталось, может быть, много, может быть, пять или десять, или даже целых двадцать, но также возможно, что не доживешь до послезавтра, и вот, однажды ему стало ясно как день

что на этом этапе жизни он, как говорится, никогда не увидит ни водопада Ангела, ни водопада Виктория, ни даже водопада Шаффхаузен; кстати, звук одного из этих водопадов постоянно звучал у него в ушах; после того как он фантазировал о них все эти годы, он начал слышать один из них, но какой именно, он, конечно, не мог знать, так что через некоторое время, где-то лет к шестидесяти, он уже не был уверен, почему ему хотелось увидеть первый, второй или хотя бы третий из этих водопадов; может быть, для того, чтобы хотя бы решить, какой именно он слышал всю свою жизнь, или, точнее, вторую половину своей жизни, всякий раз, когда закрывал глаза ночью? или потому, что он действительно хотел увидеть один из них, если не один из первых двух, то хотя бы третий, ему уже было за шестьдесят, и это фактически положило конец всегда открытой доселе стороне вопроса, более того, это каким-то образом дало понять, что он никогда не увидит ни первый, ни второй, ни даже последний из этих водопадов, не потому, что это было бы так уж невозможно, почему бы и нет, он мог бы легко пойти в бюро путешествий, когда у него случайно были бы деньги, даже теперь, когда ему уже за шестьдесят, и заплатить за поездку к Ангелу, или к Виктории, или хотя бы в Шаффхаузен; с другой стороны, он всегда думал, что именно по этой причине, именно потому, что там случайно есть водопад, он все-таки не поедет, а подождет, пока одно из его рабочих заданий не приведет его куда-нибудь поблизости, но этого так и не произошло, по гротескной иронии судьбы он, которого за все эти годы отправляли почти во все уголки земного шара, никогда не посылали к водопадам, никогда не было никакой работы переводчиком поблизости от Ангела, Виктории или хотя бы водопада Шаффхаузен, и вот как случилось, что он, который всю жизнь хотел увидеть Ангела, Викторию или хотя бы водопад Шаффхаузен, именно он, у которого была эта штука с водопадами, в один прекрасный день, и в который раз, снова оказался в Шанхае (повод был неинтересный, ему нужно было переводить на одной из обычных деловых встреч), и он, для которого всю жизнь водопады играли такую особую роль, теперь совершенно поразительным образом именно здесь, в Шанхае, должен был осознать причина, по которой он всю жизнь мечтал увидеть Ангела, или Викторию, или хотя бы водопад Шаффхаузен, именно здесь, в Шанхае, где, как всем известно, водопадов нет, потому что все начиналось с того, что он заканчивал свою дневную работу и был измотан, он был синхронным переводчиком с тех пор, как себя помнил, и из всех вещей именно синхронный перевод был

изматывало его больше всего, особенно когда это случалось на деловой встрече в Азии, как это было сейчас, и особенно когда на обязательном последующем ужине ему приходилось пить столько же, сколько он выпил этим вечером, ну, что сделано, то сделано, в любом случае, вот он к вечеру, выжатая тряпка для посуды, как говорится, пьяный в стельку, изношенная тряпка для посуды, этот мертвецки пьяный, вот он стоит посреди города, на берегу реки, напился, мертвецки пьяный, выжатая тряпка для посуды, говорит вполголоса и не очень остроумно: так вот он Шанхай, то есть вот я снова в Шанхае, он должен был признать, что, увы, он обнаружил, что свежий воздух не так уж полезен, хотя, как говорится, он питал на него большие надежды, поскольку он сознавал, если можно сейчас говорить об осознанности в его случае, сознавал, что выпил слишком много, что он выпил гораздо больше, чем мог вынести, но он не был в в состоянии отказаться, один стакан следовал за другим, их было слишком много, и уже в комнате ему стало плохо, смутное ощущение, что ему нужен свежий воздух, свежий воздух, но, оказавшись на свежем воздухе, он еще больше закружился вокруг, правда, здесь, на улице, было все же лучше, чем в помещении, он уже не помнил, уволили ли его или он просто выскользнул наружу, увы, в этот момент говорить о памяти в его случае уже не имело смысла, когда он стоял в странной позе у верхнего сектора массивной дуги зданий Бунда, он прислонился к перилам и смотрел на знаменитый Пудун на другом берегу реки, и к этому времени почти катастрофически свежий воздух подействовал настолько, что его сознание на мгновение прояснилось и внезапно дало ему понять, что все это его нисколько не интересует, и ему ужасно скучно в Шанхае, здесь же, стоя на берегу реки у верхнего сектора массивной дуги зданий Бунда, это было очевидно по его поза, и что ему теперь делать? — в конце концов, он не мог до конца времён стоять, облокотившись на перила, в этом всё более бедственном состоянии, он был один, сознание снова затуманилось, голова кружилась, ресторан явно не был в данном случае вариантом, он не мог вынести мысли о еде, в этом неустойчивом состоянии даже мысль о том, чтобы пойти и сесть в ресторане, чтобы просто пережить вечер, казалась невыносимой, и в любом случае он был не в настроении, не в настроении ни для чего, но затем его сознание вернулось к вопросу, что теперь, он собирается остаться здесь навсегда? Может, сходить в кино? Или в какой-нибудь ночной клуб? А есть ли здесь поблизости ночные клубы? Он покачал головой на берегу реки,

но тут же остановился, потому что от тряски головой тошнота усилилась, поэтому он смотрел строго перед собой, словно созерцая Пудун, хотя все, что он видел, была грязная вода реки, и эта сцена ему совершенно надоела, однако он был свободен на весь вечер, на самом деле, если быть более точным, это был единственный вечер, назначенный ему свободным временем службой перевода, которая доставила его сюда на целых три дня, только на один вечер; эта мысль начала крутиться у него в голове, это был его единственный свободный вечер, и он не знал, что с ним делать, он не отрывал взгляда от мутной поверхности реки, в то время как его сознание шептало ему, что ладно, он ничего не будет делать в этот свободный вечер, хватит мучиться о том, что делать, ему следует взять себя в руки и протрезветь, вернуться в свой отель, лечь в кровать и посмотреть телевизор, в Европе он редко смотрел китайские телепередачи, в его комнате будет приятно прохладно, он позвонит в обслуживание номеров и закажет тонну льда и, возможно, бутылку Perrier, да, большая бутылка настоящего Perrier была бы великолепна, эта мысль наэлектризовала его, так что он больше не чувствовал себя таким уж ужасным из-за того, что необъяснимо мир продолжает вращаться вокруг него хуже, чем прежде, и хотя ему не удалось протрезветь одной лишь силой воли, он каким-то образом умудрился найти дорогу на Фучжоу-роуд, так что, казалось, дела приняли благоприятный оборот; однако через несколько шагов его охватила ужасная тошнота, однако он не остановился, чтобы вырвать, он продолжал идти, то есть ему удавалось идти неплохо, лицо его покраснело, а волосы встали дыбом, хотя он и пребывал в блаженном неведении относительно этого, это в любом случае не интересовало бы его, его интересовала только ходьба и надежда на то, что тошнота скоро начнет отступать и он скоро вернется в свою гостиницу; он представил себе гостиничный номер, он чувствовал прохладу кондиционера, пока шел по улице Фучжоу, не могло быть и речи о том, чтобы втиснуться в тесное такси или сесть в метро, и то, и другое было бы тут же под рукой, особенно здесь, на улице Фучжоу, он должен был держаться поверхности, открытого пространства, эта мысль грохотала у него в голове, и он продолжал дышать как можно глубже, большими глотками вдыхая воздух глубоко в легкие, глубоко в легкие, эта мысль грохотала у него в голове, но он не чувствовал себя лучше, на самом деле ему стало хуже, хотя погода, теперь, когда было уже почти десять вечера, можно было сказать, была почти приятной, он пошел дальше, был вынужден остановиться и вырвать, встревоженные прохожие расступались перед ним, затем он снова отправился в путь, снова и снова шатаясь и восстанавливая равновесие в последний момент, затем шатаясь и восстанавливая

он снова обрел равновесие и продолжал идти, неудержимо идти по дороге Фучжоу; Конечно, в то время он ещё не думал — ибо время для размышлений ещё не пришло — что именно так он и пойдёт дальше, пешком, отнюдь нет; более того, ему всё время приходила в голову мысль, что он хотел бы, как говорится, воспользоваться первой же возможностью, но он не воспользовался первой возможностью, потому что не знал, какой именно, а просто продолжал идти, пока не дошёл до угла площади с весьма многозначительным названием — Народной площади, где вдруг, словно он всё это планировал, без малейшего колебания, повернул налево, и его движения можно было бы истолковать как намерение пересечь площадь по диагонали, но этого не произошло, потому что ноги приняли иное решение, и хотя верхняя часть тела была наклонена в сторону этого диагонального перехода, ноги продолжали идти прямо, так что ему ничего не оставалось, как идти вперёд, по прямой, теперь, когда тошнота, казалось, немного утихла. Однако к этому времени он начал чувствовать себя довольно измотанным и начал жалеть, что отправился пешком. выругал себя, идиот ты, что слоняешься без дела в Шанхае, где каждое расстояние в десять и сто раз больше обычного, особенно когда ему дали купон на такси, и, если бы он выбрал общественный транспорт, билет был бы бесплатным, у фирмы была относительно либеральная политика в таких вопросах, но теперь это уже не имело значения, он отмахнулся от этой мысли, но широкий жест заставил его остановиться, тогда как ему нужно было двигаться дальше; сознательный внутренний голос продолжал напоминать ему, что ему пора в путь, поэтому он снова отправился в путь и пошел дальше, потому что в довершение всего он прибыл в место, где смутно осознавал, что не имеет ни малейшего представления о том, как найти автобус номер 72, который был его единственным шансом; он теперь влюблялся в 72-й, он всегда очень любил его, и всегда будет любить его, из-за маршрута этого автобуса, хотя на мгновение не был доступен его голове, как и многое другое, доступное там, только желание найти 72-й любой ценой, потому что только 72-й мог решить его проблему, только 72-й, повторил голос сознания внутри него — ибо это сознание знало, что обычно этот автобус и его маршрут были ему довольно хорошо знакомы, это была популярная, далеко идущая автобусная линия, которой он пользовался бесчисленное количество раз, когда бывал в Шанхае, поэтому, гремел голос внутри него, ты должен найти этот автобус — и так он поплелся дальше, держа в уме стороны света, потому что даже в этом состоянии он приблизительно их знал, он никогда не ошибался

определив, где в основном север, юг, восток и запад, и он уже достаточно хорошо знал Шанхай, чтобы нигде в нем не заблудиться, если только это был внутренний город, центральные части в более широком смысле, как это было в данном случае, он гулял по парку на Народной площади, хотя и не осознавал этого, а потом ноги повели его в южном направлении, он прошел по всей длине узкой боковой улочки и вдруг оказался в бывшем Французском квартале, в том старом Французском квартале, который пережил такое невероятное возрождение; пробудившееся в нем сознание заставило его таращиться, место ожило с тех пор, как он был здесь в последний раз, маленький Сен-Жермен-де здесь, в Шанхае, он пытался выговорить эти слова, Сен-Жермен... Сен-де, или, по крайней мере, немного похожее название, он отказался от попыток его выговорить, теперь эта главная улица, эта Хуайхай-роуд, в отличие от той, другой, была преувеличенно длинной, а толпы слишком густыми, была пятница, вечер, магазины все еще открыты, рестораны и все прочие мыслимые увеселительные заведения все еще открыты, все еще открыто, жизни здесь никогда не позволяли замирать, толпа была просто безумной, движение колоссальное, и все происходило со скоростью, ровно на размер больше, чем мог выдержать рассудок, именно это мнение начинало у него формироваться, на размер больше, чем мог выдержать рассудок, думало оживающее сознание внутри него, ибо если обозначить то, что терпимо, размером 3X, то только 4X, и только он, будет соответствовать размеру Шанхая, или как бы это еще выразиться, думал он, проталкиваясь локтями сквозь толпу перед ярко освещенными витринами магазинов, эта скорость была ужасающей, уносила его неизвестно куда, и, очевидно, никто не знал, что это так ужасно, ну же, его шаги замедлились, на этот раз ноги слушались его, позволяя ему задать вопрос: ну же, люди, куда вы так спешите, в самом деле, и вообще, почему все здесь так спешат, и он повернул голову влево и вправо, но из-за мгновенного головокружения он быстро перестал это делать, и снова, как будто его голова была подперта, балансируя на шее, он устремил свой взгляд в одну точку, здесь пятничный вечер, и более того, если я выберу кого-то одного, например, вот эту нарядную женщину, в руках которой две сумки из элегантных магазинов, нельзя сказать, что она так безумно спешит, но в тот момент, когда его взгляд вернулся к всей толпе, проходящей по тротуару, он снова почувствовал, что бессмысленный хаос этого темпа невыносим и безумен, почему они не могут просто прогуляться? он провокационно смотрел на одно лицо за другим, повсюду

мир это пятница вечер, десять тридцать или одиннадцать, не имеет значения, воздух приятен и становится все более и более приятным, как будто воздух слегка пошевелился, это был не совсем бриз, нет, не совсем, в конце концов, это был Шанхай в августе, ад, но казалось, что дуновение воздуха хоть немного погладило их всех, всех их, хаотично толкущихся на улице Хуайхай, ибо теперь он чувствовал себя способным воспринимать даже это, что это был хаос, и это восприятие, возможно, было первым признаком его выздоровления, воспринимая, что эти люди, все эти люди здесь, хаотично и совершенно безумно спешат и толкутся, вперед и назад, поперек и внутрь, вверх и вниз, безумно гигантская суматоха, это был Шанхай, и где-нибудь еще во всем мире примерно в это время, люди будут замедляться, это был конец недели, люди — он вытягивал шею в сторону приближающихся лиц, словно какой-то пророк, пытающийся заставить глупцов увидеть свет, вот ты на улице Хуайхай, отлично, так что ты немного пройдешься по магазинам, это хорошо, потом немного поужинаешь в ресторане, или немного поболтаешь, или что-то еще, ладно, но нет, эти люди здесь вели себя так, будто они сошли с ума, это место было действительно похоже на сумасшедший дом, поэтому он резко свернул направо, то есть по полукруглой дуге перешел на другую сторону улицы благодаря удачным действиям автомобилей, которые бросились ему на помощь с визгом тормозов, ему едва удалось вписаться в ту часть времени, которую услужливые водители предоставили ему для свободного проезда среди своих машин, поперек, вверх и в сторону; Казалось, это был его, по-видимому, решительный план — направить Маданг Лу на север, это внезапно мелькнуло в нем, как светофор, потому что с меня хватит, я пойду сюда, сюда, и действительно, этот маневр сработал, ах, это будет означать лишь небольшой крюк, вот я на этой маленькой улочке — как оказалось, это был узкий переулок, крошечный переулок европейского размера, можно даже сказать, что у него были тесные парижские размеры, сказал он себе, так что по сравнению с автомобильным потоком пешеходам оставался лишь узкий тротуар, который был каким угодно, но совсем не удобным, правда, но эта неистовая суета на улице Хуайхай, по крайней мере, осталась позади — здесь он больше не чувствовал отчаянной суеты, которая царила там, здесь люди как-то не так спешили, в конце концов, на этой улице был по-настоящему европейский, почти парижский уют, это как-то, кажется, срабатывает, он кивнул, эта парижская идея, и он шел дальше, слегка успокоившись, пока не увидел конец улицы и увидел, что там, где улица кончалась, — на самом деле совсем рядом с ним впереди, —

мрачная громада шоссе, раскинувшегося над уровнем улицы, словно какой-то монстр, подумал он с усмешкой, словно какой-то Голем лежал на его спине

там, его раскинувшееся тело вписывало аккуратную дугу между двумя строительными блоками, сказал он себе, взглянув на нее, потому что с этого момента он был способен говорить себе такие вещи, как: о нет, только не это; эти супермагистрали в Шанхае приняли такие размеры, что было в принципе невозможно перейти на другую сторону, и он просто слишком устал для этого, или, как бы это сказать, это просто не сработает для того, кто так напился, он был слишком измотан, чтобы бороться с такой скоростной автомагистралью, пешеход, подумал он теперь вполне отчетливо, вблизи такой скоростной автомагистрали просто не имеет шансов; как говорится, судьба его решена, и он снова подумал об автобусе, что он тут делает, бродит пешком, ноги его горели от усталости, не говоря уже обо всем остальном, предостерег он себя, одним словом, ноги надоели, решил он, и вместо того, чтобы быстро поискать остановку автобуса, 72-го, он поплелся дальше, и почему он все еще идет пешком? он спросил себя, но затем вспомнил, что, вероятно, находится в самом лучшем месте, чтобы найти выход, ибо давайте посмотрим, как только его две драгоценные ноги нажали на тормоза, вот я на дороге Маданг Лу, позади меня дорога Хуайхай, а передо мной Цзиньлин Си Лу, следовательно, это должно быть прямо здесь, недалеко именно от этой скоростной автомагистрали, должна быть, действительно была, автобусная остановка 72-го маршрута где-то здесь, вспомнил он, и очертания его местонахождения постепенно становились все более и более знакомыми — где он стоял, где была эта скоростная автомагистраль и ближайшая автобусная остановка — пока он сейчас стоял на Маданг Лу, о да, и он снова двинулся в путь, он должен был двигаться прямо вдоль именно этой скоростной автомагистрали, Яньань Гаоцзя Лу, так вот почему он не повернул назад, когда мельком увидел эту мрачную неповоротливую массу, вот почему он пошел дальше, через Яньань, и вот почему, когда он достиг края раскинувшегося монстра — он усмехнулся снова, потому что не имел ни малейшего понятия, почему, но находил это чудовище забавным — вот почему, когда он достиг края этой знаменитой автострады и убедился, что нет никаких признаков автобусной остановки, ни здесь, ни там, ни где-либо еще, он начал идти по этим милым драгоценным ногам, он взглянул на них, пока они шли, одна за другой, и если его глаза не обманывали его, что вполне возможно, подумал он, — или его память подвела его, что было бы неудивительно, — то его инстинкты — его зрение и его память — в общем, его инстинкты найдут то, что он ищет, потому что это должно быть здесь, подумал он, скривив лицо, это должно быть там, поэтому вперед, поверните налево здесь и вперед вдоль Яньани, и он посмотрел на эти драгоценные ноги там внизу,

его ноги, как одна за другой шли, и он был уверен теперь, что все будет в порядке, и если он продолжит идти по Яньани, прямо вперед, упорно, то осталось всего несколько сотен метров, самое большее пятьсот, и вот она, желанная, искупительная, ведущая домой 72-я, когда он гордо смотрел на эти две ноги там внизу, и он был уверен, что с ними все будет хорошо.

Я занимаюсь синхронным переводом, произнёс он вслух и помолчал, проверяя, не услышал ли его кто-нибудь, но никто не услышал, и поэтому он не мог рассчитывать на помощь, тогда как он отчаянно нуждался в помощи, в немедленном спасении, в мгновенном вмешательстве, в срочном ангельском чуде, ну конечно, как он мог вообразить, что его объявление, сделанное на венгерском языке и в Шанхае, хоть как-то поможет, да, это было бы трудно объяснить, но объяснить что-либо в его ситуации было бы утомительно, Я занимаюсь синхронным переводом, повторил он, и, насколько мог, он старался держать голову — то есть череп, где зарождалась боль — совершенно неподвижно, пока произносил эти слова, всё его тело напряглось, вот как ему удавалось сдерживать боль там, наверху, пытаясь не дать ей усилиться, ибо это была сильная боль, которая становилась всё сильнее, она становилась настолько сильной, настолько мощной, что просто ослепляла его, и каким-то образом она стала отчуждённой, чужой, он отказывался признавать, что она его, потому что эта боль, эта адская боль, невыразимая словами, не поддающаяся признанию, это была такая пытка, и она обрушилась на него так быстро, она поразила его, как молния, или, если выразиться точнее, он внезапно осознал, что вот он сидит здесь, трезвый как стеклышко, где-то здесь, в месте, которое пока невозможно определить, вокруг него рев, грохот, грохот безумного движения, повсюду, над головой, внизу, слева и справа, да, этот ужасный грохот, просто повсюду, и вот он сидит прямо посреди всего этого, но где это «здесь», он не имел ни малейшего понятия; ослепленный, он не мог видеть, и, если уж на то пошло, он не мог слышать, потому что шум, который он слышал, был таким же сильным и нарастал с той же скоростью, что и боль внутри его черепа, так что он ничего не слышал, таким образом, он был не только слепым, но и глухим, и теперь он мог только представлять, что говорит, кто он такой, но на самом деле не мог этого сказать, потому что он стал еще и немым, чтобы боль не усиливалась, вопрос, конечно же: может ли что-то, что болит так сильно, что это невыносимо, причинять еще большую боль,

Ответ был: да, может, заключил он, и что-то мощно пульсировало за пределами этой боли, поэтому он просто сидел там, сохраняя неподвижность, его поза не изменилась, здесь, где-то, повсюду вокруг него, этот рев, грохот, гром, и не оставалось ничего другого, как оставаться таким, ничего не делая, ничего не говоря, не двигаясь, не думая о том, где он и что происходит, да, особенно не думая, даже о том, почему он сейчас совершенно трезв, разве он не был мертвецки пьян, пьян как скунс, да, он был ужасно пьян, но перестань вспоминать, отчаянно увещевал он себя, потому что, очевидно, вспоминать означало двигаться, и его единственный шанс сейчас был отказаться от всякого движения, полностью остановиться, чтобы эта боль в его голове уменьшилась, не говорить, не слышать, не думать, не вспоминать, нет, даже не надеяться, потому что надеяться означало тоже двигаться, и даже это могло бы вывести это полностью парализованное состояние, которое он пытался поддерживать, полностью остановиться, чтобы боль уменьшилась, должна утихнуть, и эта строгая дисциплина возымела свое действие, хотя и по прошествии неизмеримого времени, по прошествии дней? ночей? и еще дней? и еще ночей?

вдруг, бах, оно начало стихать, уменьшаться и остановилось, и настал момент, когда после дней и ночей, ночей и дней — он смог приоткрыть глаз лишь на щелочку, сначала лишь на щелочку, но этого было достаточно, чтобы он установил, что он никогда не сидел на том месте, где сидел, и, возможно, никто никогда не сидел там раньше, потому что он сразу понял, что сидит посреди скоростных автомагистралей, изгибающихся во все стороны, или, если выразиться точнее, скоростных автомагистралей, изгибающихся в разных направлениях, его окружали скоростные автомагистрали, без сомнения, образ, увиденный через щель, подсказывал ему: скоростные автомагистрали наверху, скоростные автомагистрали внизу, скоростные автомагистрали слева и, наконец, скоростные автомагистрали справа тоже, естественно, его первой мыслью было, что он нездоров, а следующей мыслью было, что не только он, но и всё вокруг него нездорово, надземные автомагистрали на многих уровнях, кто когда-либо слышал о таком, таким образом он на некоторое время сжался от узнавания, не желая признавать это, потому что как одновременное переводчик он обладал определенными областями специализации, одной из которых были транспортные системы и системы дорожного движения, и поскольку он был синхронным переводчиком со специализацией в транспортных системах и системах дорожного движения, у него уже сложилось хорошее представление о том, где он находится, но он отказывался в это верить, потому что, в конце концов, он никак не мог здесь находиться; он метафорически покачал головой, потому что, конечно, он не мог на самом деле покачать головой из-за боли, ни один человек не мог находиться в том месте, где он сейчас

был, несмотря на то, что он мог видеть знаменитую колонну внизу с обвивающимися вокруг нее драконами, о нет, подумал он сейчас, о нет, я внутри Перекрёстка Девяти Драконов, но как я вообще могу быть внутри, вот в чём вопрос, Перекрёсток Девяти Драконов, или, как говорят местные жители, Цзялунчжу Цзяоцзи, это не то, внутри чего может находиться человек, и настал момент, когда эта щель стала полным обзором, потому что к этому времени он осмелился открыть один глаз, боль сохранялась притуплённым правлением в его голове, притуплённая, так что он подумал, что надежда, которая теперь могла вспыхнуть в нём, не будет совсем беспочвенной, и он выглянул этим единственным глазом, ибо он открыл только левый, он широко раскрыл его, или можно было бы сказать, что глаз просто широко распахнулся, потому что у него не было галлюцинаций, он действительно был внутри Перекрёстка Девяти Драконов, или, как говорят местные жители, Цзялунчжу Цзяоцзи, он был глубоко внутри него, спиной прислонившись к перилам какого-то пешеходного моста, словно кто-то его к ним прислонил, кто это мог сделать, он не имел ни малейшего понятия, в любом случае он был здесь, прислоненный, потому что этот, как его там называют, пешеходный мост, имел перила из плексигласа, пластиковую обшивку по пояс по всей длине, очевидно, чтобы не дать кому-либо опрокинуться и упасть среди свистящих машин, чтобы не дать вам опрокинуться, повторил он, и теперь его другой глаз распахнулся самым смелым образом, ибо в этот момент он осознал, что находится высоко, что этот пешеходный мост, как указывало его название, был настоящим мостом, который возвышался в воздухе над уровнем земли и не просто перекидывался через что-то, но фактически вел пешехода на разных уровнях высоты между скоростными автомагистралями, которые бежали вверх и вниз, туда и сюда, было ли это разумным поступком?! — спросил он себя, нет, неразумным, ответил он, так что в конце концов — и тут он опустил взгляд, чтобы посмотреть перед собой

— тогда я, должно быть, сошел с ума, вот как это должно было закончиться, я напился до беспамятства, совершенно напился, так напился, что оказался здесь, в этом безумии, я заключён в этом безумии, ведь было очевидно, что он пленник, он не мог пошевелиться, и теперь дело было не в том, что ему не хватало смелости пошевелиться, ведь после того, как вся эта боль в верхних слоях атмосферы значительно утихла, у него всё ещё не было сил, он был измотан, настолько измотан, что даже это глазное яблоко истощило его — то, как он сначала приоткрыл левый глаз на крошечную щелочку, потом полностью, а потом и второй, чтобы осмотреться, — но, конечно, это не подразумевало движения головы, нет, сначала он осторожно вращал только глазными яблоками, не двигая головой, потребовалось некоторое время, прежде чем он осмелился это сделать, а потом он это сделал, и это был успех,

Боль не усилилась, она осталась на том же тупом уровне, затем он снова открыл оба глаза, чтобы еще раз увидеть, где он находится, и он заговорил, и на этот раз он не сказал, кто он, а вместо этого сказал: «Я абсолютно трезв, моя голова ясная, я способен думать, я могу видеть и слышать, но я хотел бы не видеть и не слышать, потому что теперь, когда я могу видеть то, что вижу, и слышать то, что слышу, я могу также думать о том, где я нахожусь, а это невозможно, невозможно, что я нахожусь внутри Перекрёстка Девяти Драконов, и совсем другое дело, что известная колонна, на которой Перекрёсток Девяти Драконов символически и не очень символически покоится, стоит там внизу на самом видном месте, тем не менее, не может быть, чтобы я сидел внутри Перекрёстка Девяти Драконов, или, как называют его местные жители, Цзялончжу Цзяоцзи, потому что человек не может сидеть внутри Перекрёстка Девяти Драконов, через него можно проехать на машине, и всё, это всё-таки перекрёсток, всемирно известный транспортный узел, так называемый городской перекресток с разделенным шоссе, это все, что он мог вспомнить на крайний случай из специализированного словаря, который носил в голове, и человек не мог бы забраться внутрь такого городского шоссе, как его там называют, особенно не так, чтобы он оказался, прислонившись спиной к плексигласовому ограждению пешеходного моста, и он наполовину опрокинулся и поэтому опирался на левую руку, чтобы не поскользнуться еще больше, нет, ни так, ни как-либо иначе, это абсурд, я, наверное, не сумасшедший, успокаивал он себя, но это всего лишь галлюцинации, это обычное дело, когда кто-то так напивается, как я, что было perfectamente, как говорит Малкольм Лоури в „У подножия вулкана“, и я помню, как шел по Хуайхаю, и я отчетливо помню Маданг Лу, и Яньань, о да, последний образ вспыхнул перед ним, он увидел мужчину, его рубашка была пропитана рвотой, его хлопковые штаны были пропитаны рвотой, легкие летние кожаные туфли пропитанный рвотой, и это был он сам, и вот он здесь, скользит вниз по Перекрестку Девяти Драконов, потому что его левая рука, эта левая, слабеет, она больше не может поддерживать это тело, эту рубашку, пропитанную рвотой, эти штаны, пропитанные рвотой, и эти легкие летние кожаные туфли, пропитанные рвотой, он сползет вниз полностью, понял он, и он сполз вниз и мгновенно уснул, как будто его ударили по голове, хотя на самом деле он просто устал, ужасно и невообразимо устал, прямо здесь, в середине Перекрестка Девяти Драконов.

Я синхронный переводчик, и у меня прекрасная память — он поднялся из своего унизительного положения лежа на спине на пешеходном мосту — все, что нужно знать с точки зрения транспортных систем о перекрестке

как это у меня в голове до последней детали, и он встал, и хотя ему сначала пришлось ухватиться за поручень, через первые три или четыре метра он отпустил его и сделал несколько шагов без посторонней помощи, наслаждаясь всем достоинством своего равновесия, таким образом отправившись по пешеходному мосту куда-то, но так как мост сразу же изогнулся в повороте, уводя к будущему, которое было для него слишком неопределенным, он решил, что будет разумнее остановиться, и поэтому он остановился, затем посмотрел вниз в глубину, после чего он посмотрел вверх на высоту, как бы для того, чтобы убедиться, что все в порядке у него в голове, и теперь все было хорошо, его голова была ясна, его голова больше не болела, его голова была способна вполне ясно задавать вопросы о существовании, а именно о своем собственном, что он и приступил к делу, а именно; если он оказался здесь пассивным субъектом какой-то темной истории, отныне навсегда обреченной оставаться таковой, то, очевидно, должна быть причина, — а между тем он все время поглядывал вниз, в глубину, и вверх, в высоту, — и эта причина должна быть не чем иным, как тем фактом, —

Это осознание пронзило его — я дошел до точки в своей жизни, когда должен теперь заявить о том, что я узнал о мире за шестьдесят лет, почти сорок из которых я был синхронным переводчиком, и если я этого не сделаю, то унесу это с собой в могилу, но это, и он продолжил свою мысль, это, однако, не произойдет, и я собираюсь сделать свое заявление прямо здесь, и эти предложения следовали одно за другим в его голове достаточно гладко, но в этот момент он снова взглянул в глубину, а другой в высоту, короче говоря, он посмотрел во всех направлениях, в которых этот Перекрёсток Девяти Драконов, или, как его называли местные жители, Цзялончжу Цзяоцзи, простирался на бесчисленные части, эти скоростные дороги, беспорядочно извивающиеся во всех направлениях, разделенные на разные уровни, перемешивающие их и отправляющие в путь, ну, в этот момент он протер глаза, несколько раз запустил пальцы в свои взъерошенные волосы, затем пригладил их и просто смотрел вперед в определенную точку в гуще Перекрёстка Девяти Драконов, даже когда его взгляд уже информировал каждую частичку пешеходного моста — поручень, оргстекло и всю поверхность пешеходной дорожки, — что он, конечно, рад был бы заявить о себе здесь и сейчас, но проблема в том, что он ничего не узнал о мире, и поэтому что ему было сказать, что, в самом деле: что он был синхронным переводчиком, прожившим почти сорок лет, посвятив себя исключительно своей профессии, что-то, и здесь он поднял указательный палец, что заставило его осознать, что он говорит вслух на пешеходном мосту, что, по правде говоря, ему всегда нравилось делать, я

— и он указал на себя, как будто обращаясь к аудитории, —

всегда любил синхронный перевод, правда, это изматывает — он первый признался бы, что это очень изматывает, на самом деле для него ничего на свете не было более изматывающим, чем синхронный перевод, но он любил им заниматься; он не утверждал, что, например, когда он смотрел, скажем, на колоду карт, у него не было вопросов без ответов, потому что, если уж на то пошло, они у него были, особенно относительно этой колоды карт, потому что помимо своей профессии он также любил карточные игры, и его вопрос был таким: ну, полная ли это колода карт или просто сорок восемь отдельных карт, но это были только вопросы такого рода, один конкретный вопрос, касающийся самого мира, который, он прекрасно понимал, можно было бы ожидать от опытного синхрониста лет шестидесяти, этот один конкретный вопрос, нет, он никогда не приходил ему в голову, так что если судьба забросила его сейчас сюда, чтобы он сделал заявление об этом, то он попал в сложную ситуацию, потому что он ничего ни о чём не знал, не мог ничего сказать о мире в целом, ничего, что он мог бы облечь в форму жизненной философии, нет, ничего подобного, тут он слегка покачал головой, с ним говорило то, что он видел здесь, с этого пешеходного моста, но о жизни в целом, увы, он мог сказать ничего, потому что давайте возьмем это место, например, вот этот пешеходный мост, где он стоял, отсюда — и его рука начертила широкую дугу, включающую весь Перекресток Девяти Драконов — глядя на него отсюда, все это не имело никакого смысла, никакого, на самом деле, если смотреть отсюда, этот Перекресток Девяти Драконов создает отчетливое впечатление, что все это началось так: скажем, сказал он, сначала была одна магистраль, скажем, с запада на восток, и это означало, что магистраль также шла с востока на запад, так что здесь, в нашем примере, случайно есть — и он посмотрел вниз с моста — Дорога Яньань, ну тогда это трехполосное шоссе — то есть по три полосы в каждом направлении — пришло к этой точке, где его проезжая часть пересекалась под прямым углом с шоссе, идущим с другого направления, которое, как он продолжил, в случае нашего примера было знаменитым Наньбэй Лу, то есть эта встреча создала перекресток, но поскольку мы имеем дело со скоростными автомагистралями здесь, в условиях мегаполиса, в случае На таком перекрестке мы вполне можем рассчитывать на прибытие автомобилей с разными пунктами назначения, автомобилей, которые не обязательно выберут мчаться прямо в одном направлении, но, например, один из них может захотеть повернуть; вместо того, чтобы ехать прямо, один из них может настаивать на повороте, скажем, налево, и это приводит в движение весь пагубный

ерунда, ведь на этот перекресток в большом количестве прибудут другие автомобили с похожими намерениями, тем самым создав проблему управления движением с учетом четырех сторон света, не так ли? И он огляделся вокруг и вверх-вниз посреди безумного грохота, теоретически четыре раза по три, то есть становится возможным двенадцать различных направлений, то есть, и он на мгновение развел руками, давайте начнем с самого начала. Вот едет автомобиль по Яньани с запада, со своим собственным пунктом назначения. Он может, с одной стороны, продолжать ехать прямо, а с другой — повернуть налево под прямым углом, чтобы продолжить движение в северном направлении по Наньбэй Лу, или, конечно, повернуть направо на девяносто градусов, чтобы продолжить свой путь на юг по этому участку Наньбэй. Так что это три направления, и у этого автомобиля могут быть три младших брата, потому что помимо него самого есть еще три на четырех подходах к перекрестку, поэтому мы можем заключить, — продолжал он свою цепочку мыслей, — что всего есть четыре автомобиля, и для каждый мы должны гарантировать три возможных выбора, таким образом рождая двенадцать возможных направлений, таким образом создавая, он издал мучительный вздох, адское столкновение, ибо мы не можем назвать то, что было создано здесь, ничем иным, как адским — потому что простая, прямолинейная ситуация породила адскую структуру такой степени сложности, как ЭТА, и с возрастающим ужасом он теперь смотрел изнутри на бетонную массу многообразных скоростных автомагистралей, изгибающихся вокруг него вверх и вниз и так и этак, адская структура без какого-либо рационального объяснения вообще, как еще он мог, синхронный переводчик, неквалифицированный для того, чтобы давать ответы на великие вопросы, назвать это, он не был экспертом по транспортным технологиям, только синхронным переводчиком, специализирующимся на этом, среди прочего — и он хотел подчеркнуть это среди прочего вещи, другими словами, как бы ему это выразиться, учитывая эту простую отправную точку, этот единственный автомобиль, приближающийся с запада и намеревающийся ехать в одном из трех возможных направлений (прямо вперед, налево на север или направо на юг), ну, тогда было еще три таких же, одним словом, учитывая такую ясную ситуацию, почему мы в конечном итоге имеем что-то вроде ЭТОГО?! и снова его взгляд скользнул по ужасающей кавалькаде массивных пандусов скоростной автомагистрали, тянущихся и изгибающихся друг над другом и друг под другом, и он мог только смотреть туда-сюда, он пытался следить за отдельными участками шоссе, чтобы выяснить, в каком направлении они ведут, но это оказалось невозможным, по крайней мере отсюда, изнутри, все это оказалось таким озадачивающе сложным, таким не поддающимся обзору с первого взгляда, что если бы вы посмотрели

на это, как он это сделал сейчас, то рано или поздно не только ваши глаза, но и ваш мозг начинали болеть, потому что все было именно так, как он только что описал и продемонстрировал на основе технологического словаря транспорта, на который он с гордостью ссылался, ибо изначально было только два основных направления, и эти два остались — направления восток-запад Яньань Лу и направления север-юг Наньбэй Лу — то есть две главные транспортные артерии мегаполиса, пересекающиеся на уровне земли, транспортные средства, движущиеся по ним, регулировались светофорами, и если кто-то приходил на этот перекресток как пешеход, его судьба была бы сведена к так называемому надземному пешеходному переходу, ну, ладно, он находился на уровне земли, однако встречные машины прибывали с различными другими пунктами назначения, которые могли быть предусмотрены только адскими правилами, другими словами, поверх этого простого перекрестка на уровне земли они построили так называемый «комплекс», так называемого «звездообразного» монстра столичной скоростной автомагистрали, естественно, только после совершения в данном случае необходимого семидневного буддийского ритуала чтобы усмирить Девять Драконов, которых потревожили внизу, и после этого ритуала строители могли приступить прежде всего к центральной колонне, представляющей девять драконов, затем приступить к железобетонным колоннам, поддерживающим отдельные участки скоростной дороги с их консольными кронштейнами, распорками, контрфорсами, балками и полубалками, надстройками и фундаментами, после чего под встревоженными, бдительными глазами горожан строительство продвигалось, расширялось, расползалось и продвигалось еще больше, поднималось выше, расширялось еще больше и расползалось еще шире, пока весь проект не был завершен, так что сегодня он выглядит так: если двигаться снизу вверх, первый уровень над перекрестком на уровне земли несет разделенную скоростную дорогу, идущую с севера на юг и с юга на север, таким образом повторяя то, что происходит внизу в двух противоположных направлениях, достаточно хорошо, но сверху им пришлось добавить еще один надземный уровень, который был обозначен не синхронистами, специализирующимися на транспортных технологиях, а самими экспертами по проектированию дорожного движения как «первый уровень интеркардинального направления», под которыми они подразумевали скоростные автомагистрали, состоящие из северо-западных и юго-восточных косвенных соединительных съездов и юго-западных и северо-восточных прямых соединительных съездов, что далеко не конец истории, поскольку теперь мы переходим к третьему уровню, который снова назван не синхронными переводчиками, а экспертами по проектированию дорожного движения «вторым уровнем межкардинальных направлений»,

что означает северо-западные и юго-восточные прямые соединительные пандусы и юго-

западный и северо-восточный непрямые соединительные пандусы, только чтобы увенчать все это на четвертом уровне так называемой «альтернативной прямой магистралью», что означает не что иное, как высоко поднятую копию шоссе восток-запад и запад-восток, которая уже была построена рациональным образом на уровне земли, который был нашей отправной точкой, так что вот что происходит, когда экспертам удается создать решение, а именно в этом случае Перекресток Девяти Драконов, или, как они сами его назвали, Цзюлунчжу Цзяоцзи, когда они его создают, а не, например, синхронные переводчики, которыми он, как оказалось, является, он сказал это под скоростной автомагистралью, глядя на этот пресловутый столб, Столб Девяти Драконов, и, по его мнению, то, что здесь произошло, началось со здравого беспокойства — автомобили, прибывающие с четырех сторон света, намеревались отправиться в двенадцати интеркардовых направлениях, все эти автомобили демонстрировали, что они не желают ждать, не желают, чтобы их замедляли светофоры, которые попеременно разрешают и запрещают проезд в двенадцати направлениях, они (те, кто прибывает с четырех основных направлений) были слишком многочисленны, и со временем их станет ещё больше, и с таким множеством никакая система светофоров не справится — и поэтому все вы, сказал им дьявол, будете парализованы, все вы, ухмыльнулся им дьявол, никуда отсюда не уйдёте, вы останетесь на уровне земли вечными пленниками светофоров, то красных, то зелёных, поэтому позвольте мне предложить, сказал дьявол проектировщикам дорожного движения, чтобы вы построили Перекрёсток Девяти Драконов в свете вышеизложенного, или, как вы бы это назвали, сказал дьявол, пожав плечами, Цзюлунчжу Цзяоцзи, потому что это единственное решение, которое делает возможной скорость, с которой может работать город, и, конечно, проектировщики дорожного движения признали, что строительство Перекрёстка Девяти Драконов необходимо для того, чтобы справиться с растущей скоростью, и поэтому они построили его, после чего на одной только эстакаде Наньбэй, то есть на одной только Наньбэй Гаоцзя Лу, они построили ещё около семи подобных, и ситуация на эстакаде Яньань Дорога, то есть Яньань Гаоцзя Лу, оказалась не лучше, словом, желаемая скорость была достигнута, и только он — и здесь снова заговорил синхронный переводчик, смертельно раненый осужденный с Перекрёстка Девяти Драконов — только он один не понимал, зачем нам нужна такая скорость, скорость, которую к тому же скоро придётся увеличить, боже, неужели нет никого, — воскликнул он теперь в искусственно освещённый небосвод Перекрёстка Девяти Драконов, — никого, кто понимает, что нам просто не нужна такая скорость?! — и он подождал немного, но никто не отозвался, поэтому он оттолкнулся от перил, о которые

он наклонился последние несколько минут и, проявляя величайшую осторожность, тем не менее двинулся в темноте по этому пешеходному мосту, изгибающемуся в неизвестное будущее, пока, сделав ровно семнадцать шагов, его фигура не исчезла за поворотом, и таким образом вскоре после этого всякое человеческое присутствие прекратилось во внутреннем аду Перекрёстка Девяти Драконов, который в любом случае не является местом для человека, потому что людям нечего там делать.

«Ваш Перье, сэр», — сказал официант за дверью, обслуживающий номера, но затем ему пришлось отправить его обратно за дополнительной бутылкой, и ему пришлось попросить, чтобы первую бутылку заменили на большую, затем он приказал принести два или три свежих кувшина льда, потому что, когда он наконец добрался до своего номера и рухнул на кровать, у него не то чтобы сразу разболелась голова, но внезапно вместо головы оказалась большая миска с кашей; он вошел в номер, разделся, сбросил обувь и бросился на кровать, организовав все оттуда, телефон был под рукой: заказ в номер, изменение заказа, повторение заказа и так далее, при этом он лежал на спине и не двигался, положив голову — эту миску с кашей — на подушку, закрыв глаза; Так продолжалось некоторое время, пока ужасная вонь, исходившая от него самого, не начала его беспокоить, после чего он дополз до ванной, почистил зубы, включил душ, намылил тело и оставался под душем столько, сколько позволяли силы, затем вытерся полотенцем, обрызгал себя чудовищным количеством гостиничного дезодоранта, натянул чистую футболку и трусы, и прежде чем лечь обратно, взял грязную одежду и легкие летние кожаные туфли, засунул их в пластиковый пакет, который завязал тугим узлом и выставил перед дверью, затем растянулся на кровати, включил телевизор, просто слушая звук, но не глядя, потому что голова у него продолжала оставаться миской с кашей, и все было в порядке, теперь все в порядке, глаза закрыты, телевизор включен, звук не слишком громкий, и голос говорил ему по гонконгскому каналу, который последний раз использовался накануне вечером, что Целое не имеет цели, потому что нет ничего вне Целого, откуда что-либо могло бы привести к здесь, ибо не было места, откуда... и не было ничего внешнего, и не могло быть его собственной цели, ибо цель всегда была за пределами того момента, когда кто-то желает цели, но Целое не имело смысла, если бы оно имело его, Целое было бы включено в повествование, которое всегда

обладает одной существенной чертой: у него должен быть конец, тогда как Целое не может иметь конца, и поэтому мы можем сказать, что у него нет повествования, а значит, нет смысла, и, следовательно, нет цели, задачи или предназначения, и если это так, то нет и существования, потому что на самом деле нет никакого Целого, это был мужской голос, тихо гудящий, певучий голос, снова и снова, но пока он слушал с закрытыми глазами, лежа на спине, близкий к засыпанию, с полным грузом каши в голове, он слушал это или, скорее, позволял себе слышать это, у него было чувство, что голос не столько пытался что-то сказать ему, сколько убаюкать его, качать его южным, музыкальным звучанием кантонского диалекта, сгладить все шероховатое внутри него, все, что могло выплеснуться, все, что ныло, звук осторожно обволакивал, охлаждал, охлаждал и снова охлаждал этот тяжелый груз каши в его голове, и это было приятно, и это было именно то, что ему было нужно, чтобы он позволил им продолжать говорить ему посредством этого южнокитайского музыкального инструмента, погруженного в кантонский диалект, Целое не имеет цели, никакого смысла, поскольку Целое не может быть заключено в причинно-следственную сеть целей и рациональности, ибо тогда Целое неизбежно запуталось бы в повествовании, тогда как среди прочих черт повествование имеет одну характерную черту, а именно то, что оно должно иметь конец, разве мы уже не обсуждали это? этот большой ком каши теперь вопрошал внутри его головы, нет, ответил голос и продолжил, Целое не может иметь конца, и бесконечных повествований не существует, поэтому у него нет цели, таким образом, это не имеет никакого значения, из чего следует, что все, что мы называем миром, Вселенная, космос подозрительно лишены какого-либо ощутимого содержания, другими словами словами, оно не существует, другими словами, Целое не существует, оно существует не существует, потому что если бы он существовал, если бы он существовал, то каждая ссылка на меньшие целые и отношения между этими меньшими целыми будут ссылаются на него также, но это не так, поэтому Целое не существует, но в В то же время верно и то, что из повседневного опыта чего-то всегда порождая что-то еще, что порождает что-то еще Опять же, мы не можем сделать вывод, что из всего различимого настоящего, прошлого и будущих целых следует, что должна существовать большая совокупность этих, это не согласуется с концепцией Целого, и не потому, что нет бесконечность, это не причина его отсутствия — здесь на несколько мгновений кто-то, должно быть, включил в розетку электробритву или какой-то другой прибор в соседней комнате за телевизором, потому что на несколько мгновений телевизор

начал гудеть, но только на несколько мгновений, и все, а затем все вернулось на круги своя, программа с мужским голосом в

напевное гудение, но это было больше, чем просто напев и гудение, это было прямо-таки вкрадчиво медоточиво и постоянно, в течение каждой малейшей доли мгновения, стремясь убедить, непрерывно и мелодично соблазнительно, и ярко, как всегда бывает кантонский диалект, и это было как раз посередине того, чтобы сказать, на этом сладко-убедительном, вечно живом кантонском диалекте, что совокупность Целого не является суммой меньших целостность, а просто существует... если бы оно существовало, за исключением того, что его нет, поэтому нет смысла об этом говорить, и это было бы нормально, если бы не одна проблема, что теперь вера в это тоже не имеет смысла, однако, без этого Весь наш образ мышления рушится, потому что мы не можем сосуществовать с Целым которого не существует, Целое, которое не равно сумме своих частей, мы не могу вынести мысли, что есть что-то, чего не существует, нечто, чего мы не можем себе представить, нечто, перед чем все наши мысли, все наши интуиции, все наши идеи распадаются в чистую массу бессмысленность, потому что самая простая мысль об этом ложна, неправильна, вводящий в заблуждение, глупый, но с другой стороны, если так обстоят дела, и нет единого конечного Целого, которое содержит в себе все остальные целые, тогда Также нет целых, которые являются суммой своих частей, и вот как это происходит может случиться, что нет смысла спрашивать о значении меньшие целые, даже если, и особенно если, мы не можем обойтись без причинно-следственно-экспериментальный, то есть с чрезвычайно убедительной силой

«Если я брошу его сверху, он упадет», необычайно убедительная сила которая заключается в своей простоте, в своей так называемой очевидности, это то, что мы есть одержимый, антецедентами и последствиями, это мода, сказал мужской голос, это последняя мода ума, последняя мода воображение, модель нашего мышления и представления того, как обстоят дела, то есть мы работаем по шаблонам, как обученные рабочие, единственное проблема в том, что у нас есть потребность во встрече с Неприступным, и вот так возникают вещи, которые недоступны, и здесь, в В этом месте, увы, вера менее всего полезна, потому что вера — это способ справляться с нашими страхами, и поэтому наш Бог, наши боги, так называемые высшие сферы, трансцендентное, все это производится возмутительно сложным сеть ошибок, проистекающих из наших страхов, основанных на нашей вере и свергающих нас в катастрофические глупости, и все это таким чудесным образом, что мы никогда не могли отказаться от них, мы постоянно производим их, даже когда они Продолжайте создавать нас, это своего рода разделение труда, заработная плата значительно, мы получаем Бесконечное, мы получаем Вечное, хотя,

как напоминают нам буддисты, они не существуют в двух отношениях: с одной стороны, у них нет никакой реальности, и с другой стороны, у них нет и нереальности, я должен вам сказать, телевизор продолжал гудеть на кантонском диалекте, что уже давно пора Я же говорил тебе, уже достаточно поздно, чтобы ты мог вынести эту мысль, — телевизор попытался пошутить, — что на самом деле таких вещей не существует, не только не существует, они невозможны, и не только невозможны, но и всякая речь, мысль, воображение, чувство и вера, относящиеся к ним, то есть к Нему, — ибо Оно не не существует, бессмысленно, после чего единственное разумное, что можно сделать, это молчать, воздерживаться от разговоров, это единственное стоящее дело сделать, воздержаться от разговоров, это единственное достойное дело, так что Кто-то, сказал телевизор, не действовал осмысленно, достойно или достойно... и в этот момент это бессмысленное, недостойное, не заслуживающее похвалы, меланхоличное, задумчивое, но в то же время сладкое как мед и ярко убедительное пророческое возвещение начало растворяться в звуке совершенно иного порядка, слова, предложения, голос, речь, трансформирующиеся медленными, легкими как паутинка, приращениями в так называемый вечный звук текущей воды, но нет, не совсем звук плещущейся воды, и он натянул на себя одеяло, потому что начал дрожать, потому что кондиционер был включен на слишком высокую мощность, нет, это не плеск воды, это был рев, как у океана, но нет, не совсем океан, отражающий этот солидный груз каши в его голове, это было что-то еще, это... этот звук, он теперь понял, прежде чем сон поглотил его, был водопадом.

Он проснулся мгновенно, словно его ударило током, и внезапно, мгновенно став бдительным, как мангуст; он посмотрел на телевизор с недоверием, но это был всё тот же человек, который, предположительно, говорил всё это время, и он всё ещё высказывал своё мнение, но без звука его голоса, был слышен только шум водопада, он вскочил с кровати, сел на её край и, наклонившись вперёд, уставился на телевизор, человек был не священником, не каким-то евангелистом, у него был тёмно-синий костюм, очки в металлической оправе, низкий лоб, тонкие губы, он стоял на какой-то кафедре, словно это была университетская лекция, он стоял на этой кафедре и всё говорил и говорил без голоса, только шум водопада, который был точно таким же, о боже, он сжал кулаки на коленях, он был точно таким же, как звук водопада, который он никак не мог опознать среди этих трёх, кошмар, подумал он и ущипнул себя, но он не спал, это был всё тот же образ человека в очках на

подиум, но саундтрек был водопадом, но этого не могло быть; он смотрел на экран телевизора, охваченный паникой, потом все меньше и меньше, наконец он успокоился, думая, что он еще раз все трезво обдумает, не то чтобы это ему к чему-то приведет, он никуда не привел, но внезапно человек в очках в металлической оправе исчез с экрана, и изображение теперь показало каскадный водопад, и он медленно понял, что это не какой-то кошмар, а просто то, что в четыре пятнадцать утра в том гонконгском телевидении

В студии всем было наплевать, все, наверное, уснули, ему вдруг стало ясно, они, должно быть, уснули, не включив видео, а звук уже включился, вот и всё, это было единственное возможное объяснение, ничего особенного тут нет, если задуматься, он наклонился ещё ближе и посмотрел на водопад на экране телевизора, и произнёс вслух, ну вот и всё, вот этот водопад, совпадения существуют, не исключено, что такое однажды с тобой случится, и вот это случилось, такое может случиться, успокаивал он себя, а потом просто продолжал смотреть, смотреть на этот водопад на экране телевизора, он не видел никаких субтитров, которые могли бы помочь определить, какой это водопад, «Ангел», «Виктория» или, может быть, «Шаффхаузен», показывали только сам водопад, звук был ровным, и в его голове, очевидно, всё ещё сильно ошеломлённой тем долгим временем, что он провёл, слушая во сне или в полудрёме человека в очках, начал проноситься поток слов. кружись снова, что Целое существует в своей целостности, Части в своей собственной особенности, и Целое и Части не могут быть объединены, они не вытекают друг из друга, поскольку, в конце концов, водопад, например, не состоит из отдельных капель, ибо отдельные капли никогда не составили бы водопад, но капли тем не менее существуют, и как душераздирающе прекрасны они могут быть, когда сверкают на солнце, действительно, как долго они существуют? вспышка, и они исчезли, но у них еще есть время в этой почти вневременной вспышке сверкать, и вдобавок есть еще Целое, и как это прекрасно, как фантастически прекрасно, что это Целое, водопад как Единство, может явиться — если бы только когда-нибудь он добрался до Ангела, если бы когда-нибудь он нашел свой путь к Виктории, если бы у него был хотя бы один шанс, слова кружились в его голове, хотя бы посетить водопад Шаффхаузен, потому что это было в точности как его собственная жизнь; для него открылся новый ход мысли, его жизнь также включала в себя великую проблему Целого и его Частей, что означало, что они не могли быть наложены или спроецированы друг на друга, хотя это было верно

что в его жизни были свои мгновения, часы и дни, которые существовали как эти мгновения, часы и дни, — и когда они стали прошлым, они не попали туда из настоящего, — его жизнь тоже имела свою Целостность, его жизнь, очевидно, рано или поздно закончится, но однажды она достигнет своей собственной полноты и не придет из будущего, и поэтому что-то еще было у него в запасе — части, а также великое Целое, это великое Целое его жизни, которое обретет свою форму и очертания в этот момент, в священный момент, когда он умрет, в момент смерти, — вот что ревел этот водопад, пока он смотрел на экран телевизора, наклонившись как можно ближе, чтобы не пропустить ни единой капли, и он позволял ему реветь, сжав сжатые кулаки на коленях, он позволял ему петь о том, что полнота существует, и она не имеет никакого отношения к прошлому или к будущему — она даже не имеет никакого отношения к тому, что случилось с ним вчера, или происходит сегодня, или произойдет завтра; он смотрел на каждую каплю водопада, чувствуя невыразимое облегчение и смакуя вкус вновь обретенной свободы, он понимал, что его жизнь будет полной жизнью, полнотой, не состоящей из частей, пустых фиаско и пустых удовольствий минут, часов и дней, нет, вовсе нет, он покачал головой, а перед ним продолжал реветь телевизор, эта полнота его жизни будет чем-то совершенно иным, он пока не мог знать, каким именно, и никогда не узнает, потому что момент, когда родится эта полнота его жизни, будет моментом его смерти —

Он закрыл глаза, откинулся на кровать и не спал до утра, когда быстро собрал вещи и вышел на стойку регистрации с таким сияющим лицом, что они связались с персоналом на его этаже, чтобы проверить, не взял ли он что-нибудь с собой. Как они могли понять, что сделало его таким счастливым? Как могли понять таксист или люди в аэропорту, если они не знали о существовании такого счастья, точно так же, как он сам не мог скрыть этого счастья, он излучал его, проходя проверку безопасности, он сиял, садясь в самолет, его глаза сверкали, когда он пристегивался ремнем безопасности, точно ребенок, который наконец получил подарок, о котором мечтал, потому что он был действительно счастлив, но он не мог об этом говорить, потому что невозможно было говорить о том, что он узнал в Шанхае. Ему действительно ничего не оставалось, как смотреть в иллюминатор на ослепительно-сияющее голубое небо, храня глубокое молчание, и уже неважно, какой это водопад, уже неважно, видел ли он их. из них, ведь это было все равно, достаточно было услышать этот звук, и он

он мчался со скоростью 900 км в час, на высоте примерно десяти тысяч метров в северно-северо-западном направлении, высоко над облаками — в ослепительно-голубом небе, навстречу надежде, что однажды он умрет.

ONETIMEON 3 8 1

В память о пожилой Амалии Родригес Он уедет отсюда, отправится на юг.

Ветра не было с самого рассвета, и вот он стоит среди других в кружащихся облаках мраморной пыли.

Белый защитный шлем не помогал, и чёрные очки тоже, и платок, повязанный на рот, тоже не помогал, и шапка-ушанка тоже не помогала, и он так и стоял там в белом шлеме, чёрных очках, платке, закрывающем рот, и ждал своей очереди. Впереди всё ещё стояли трое взрослых с тачками, очередь продвигалась медленно, всегда совсем чуть-чуть, по одному маленькому шажку за раз, потом ждал, пока очередь не поднимется, снова шаркал, и в эти моменты он тоже шаркал вперёд, потому что за ним шли ещё четверо или пятеро, все взрослые, так что все они шаркали вперёд в унисон, он в середине, наклоняясь вперёд, толкая тачку, выпрямляясь, ожидая, потом снова то же самое, всегда одно и то же, и пока он ждал, он мог только смотреть, смотреть на машину, работающую впереди. Он смотрел, без единой мысли в голове, как и другие, ибо о чем тут думать, глядя на машину, и на что там смотреть, о чем, впрочем, и думать не приходилось, достаточно было просто находиться в состоянии перманентной оцепенения и усталости, просто не думать, а только смотреть, слепо, как статуя, на машину, работающую в просеиваемой мраморной пыли, на лезвие алмазной пилы, режущее с силой, легкой, как дыхание, и в то же время зверски мощной, одну за другой тонкие плиты мрамора из огромных блоков, поднятых краном и оставленных там в куче. Чуть дальше по вершине скалистого утеса тяжело двигалась большая прокатная машина, и ее алмазный пильный диск усердно работал, если не считать того, что это был гигантский вращающийся торцовочный станок, качающийся вперед и назад на рельсах, — но это было совершенно никому не интересно, ибо кому было бы интересно смотреть, как он прорубает себе путь в скальной стене и как он вырубает следующий блок, который один из кранов переправит куда-нибудь поблизости, чтобы быть распиленным на плиты посреди этого белоснежного ада?

Никому здесь ничего не было интересно, и поэтому им не на что было смотреть, но им все равно нужно было на что-то смотреть, чтобы не сойти с ума в грохоте и пыли, и поэтому они смотрели на машину перед ними, которая резала плиты, как она резала мрамор с скрежещущим, визжащим, мучительным воем сирены, как эта ужасная стальная лента, усеянная алмазами, вращалась и вращалась, и продвигалась сквозь скалу, как нож сквозь масло.

Он проехал тачку ещё немного и снова оказался во главе колонны. Он поправил перчатки на руках, схватил мраморную плиту, слегка покачал её, чтобы найти необходимое равновесие, пока не смог, пошатываясь, вернуться с ней к тачке. Затем, ухватившись за рифлёную резиновую обивку двух ручек тачки, он подкатил её туда, где лежали другие плиты — восемь девятнадцати рядов тонко нарезанного крема «Эштремош», которые он и его товарищи, работая с рассвета, сложили к этому моменту.

Он покинет это место и отправится на юг.

За ручную погрузку платили четыре евро, он занимался этим восемь месяцев без прибавки к зарплате, четыре евро и десять центов, вот и все, под палящим солнцем, в удушливой мраморной пыли, за четыре десять с шести до одиннадцати утра и до четырех до девяти вечера, а пора на перерыв, сказал он себе под нос, пора на перерыв, и хотя он снова занял свое место в очереди и простоял в ней некоторое время, остальные могли заметить только, что он уже не стоял там, оттолкнув тачку в сторону, и была видна, если вообще видна, только его спина, а потом через несколько мгновений его маленькая худенькая фигурка исчезла в дымке карьера.

Он никогда не станет кантейро, даже не мечтай об этом, сказал ему надсмотрщик на шахте. Радуйся, что ты подрос, работаешь плечом к плечу, как другие, и набираешь вес, потому что у таких тощих ребят, как ты, не очень-то хорошие перспективы в карьере.

«Я ухожу», — пронеслось у него в голове.

Он знал, что вернется, потому что знал, что больше нигде в мире для него нет места, но он уйдет сейчас, и что бы ни случилось, он отправится в путь и направится на юг.

Он покинул очередь и направился к выходу из карьера.

Никто не окликнул его, возможно, никто даже не заметил.

Город находился слева.

Ему приходилось держаться подальше от домов, потому что встреча с кем-либо мгновенно всё испортила бы, поэтому он держался подальше от них, и

Быстрыми шагами пройдя по нижней окраине города, он вскоре нашел то, что искал.

Он искал шоссе 381.

Она шла от Эштремоша через лес до Редондо.

Но он не пытался добраться до Редондо.

Он хотел попасть на 381.

Это было асфальтовое шоссе, проложенное в 61-м году и с тех пор неоднократно переделывавшееся в восьмидесятых, так что на дороге не было ни единой трещины, она была гладкой, как зеркало. В детстве они отваживались отходить лишь немного, до реки, и Рибейра-де-Терра стала для них своего рода границей, словно дорожным знаком: до сих пор и ни при каких обстоятельствах не дальше.

Это было асфальтовое шоссе, и теперь, после десяти, оно буквально раскалилось от жары — даже сквозь толстые подошвы ботинок он чувствовал, что было чертовски жарко.

Пыль и грохот были хуже всего. Восемь часов подряд в белой каменной пыли, когда уже через полчаса эта белая мраморная пыль полностью покрывала их — даже глаз нельзя было различить за защитными очками, только грязные круги от постоянного протирания, сквозь которые они едва могли видеть друг друга, и никто больше не удосужился сказать старую шутку: «Что случилось, мельники, вы что, заблудились и попали в каменоломню?»

Никто его не видел, никто не проходил здесь в этот час. Он быстро прошёл мимо перекрёстка Примейру-де-Майу и N4. Он шёл по шоссе 381.

Солнце палило невыносимо. Он бросил защитный шлем, перчатки и платок у ворот карьера, но шапка-ушанка осталась на голове.

Что ему теперь с ним делать?

Шум был таким же невыносимым, как и пыль, от него не было спасения. Гусеничные погрузчики, экскаваторы-ковши, ленточные пилы, огромные грузовики и гигантские краны, эти гигантские краны! Все они, каждый со своим ужасным воем и грохотом, ревом и визгом, приходили и уходили, рубя, поднимая и опуская, чтобы снова поднять и опустить, так что они, те, что с тачками, или, как их называли кантейрос и водители грузовиков,

«пешеходы» не знали ни минуты облегчения.

Гул шоссе, петляющего к испанской границе, был слышен вдали, но мальчик, все еще в шапке и ушанке, мог

Не слышно шума. В любом случае, его мозг всё ещё гудел от ужасного грохота самосвалов, погрузчиков, ленточных пил, бульдозеров и гигантских кранов, этих гигантских кранов! Лёгкие были полны белой мраморной пыли, но он давно отказался от попыток её продать. Когда восемь месяцев назад его наняли, ему ясно дали понять, что против шума и пыли ничего не поделаешь. Когда он остановился в дверях на рассвете того первого дня и оглянулся на мать, она смогла сказать только: «Ничего не поделаешь, Педро».

А делать тебе, Педро, больше нечего, будешь работать в каменоломне, пока не состаришься.

Он прошёл под путепроводом и свернул налево, в поля, чтобы его не увидели с карьера, а затем вернулся на шоссе и продолжил путь по 381. Его путь пролегал мимо фермерских домов, но можно было не беспокоиться, что его увидят. В это время суток ни одна живая душа не оставалась дома, все работали в поле.

Он спрятал колпак под большим камнем, не решаясь просто выбросить его. Если он вернётся, то найдёт его там.

Если он вернется.

Пока что нигде не было видно ни тени, с этим ничего нельзя было поделать, но, по крайней мере, он мог держаться обочины дороги, где жара не так сильно обжигала ступни ног.

С этого момента всё изменилось. Фермерские дома остались позади, и всё больше деревьев бледнело под палящим солнцем. Шум автострады не доносился сюда, но и птичьего пения не было слышно — очевидно, птицы прятались в зарослях, чтобы не сгореть за считанные минуты.

Лес был недалеко отсюда, он видел первые эвкалипты, а дальше все должно было пойти лучше.

Он сделал глубокий глоток воздуха и закашлялся.

Он прибыл к реке.

Практически никто никогда не пользовался трассой 381, вряд ли кто-то из местных жителей, поскольку у жителей Редондо не было причин находиться в Эштремоше, а у жителей Эштремоша не было никаких дел в Редондо, любой транспорт там состоял из нескольких туристов, в основном из тех, кто заблудился в Эворе или по пути в Испанию, кроме них никто, никогда; все знали, что дорога на самом деле лишняя, это знали в Эштремоше, это знали в Редондо, но, конечно, никто не упомянул об этом в 61-м, пока она не была

построили, когда можно было бы сказать, что он не нужен, они сказали, что он нужен, как же он может быть не нужен? и вот он был построен, асфальт — безупречная работа, и с тех пор по нему почти не ездили машины, может быть, по одной в день, и теперь, когда Педро смотрел на солнце, можно было быть уверенным, что ни одна машина не проедет по этой дороге, никто никуда не поедет в эту ужасную жару, так было всегда, на это можно было рассчитывать и сейчас, и он так и сделал, никто не приближался спереди и никто не шел сзади, я один и останусь один, теперь он чувствовал, что дорога начинает подниматься и идти в гору, скоро он доберется до Серра-де-Осса, по крайней мере до предгорий; на самом деле он не имел ни малейшего представления, где начинается Серра-де-Осса, он никогда не забирался так далеко по 381-й дороге и, конечно, никогда не был в Редондо, но он всегда знал об этом лесу, иногда, просыпаясь среди ночи, он слышал его вдалеке, так же, как сейчас, все более отчетливо, хотя птицы молчали, в лесу все еще царила своя собственная тишина, которую можно было услышать, продолжительный немой звук с юга, конечно, это был не совсем звук, а просто подводное течение, весть, вздох, который никогда не прекращается, доносящийся с юга, где-то в том направлении находилась Серра-де-Осса, где-то там, где кончался мир, и теперь он направлялся туда.

Он не ожидал, что с ним что-то случится, как только он поднимется на Серра-де-Осса, нет, вовсе нет, на самом деле Педро был уверен, что с ним никогда ничего не случится, и он не жаждал сюда приехать, он просто знал с самого начала, что однажды придет сюда, что он найдет это место и пройдет по всей длине 381, и вот время для этого пришло, тот самый момент, когда он поднял мраморную плиту с тачки и положил ее на вершину штабеля, именно тогда он подумал, ну что ж, пора поставить тачку на место, поставить ее на место и отправиться в путь по 381.

Поэтому он поставил тачку и вот он здесь, извиваясь и поднимаясь в гору, он идет дальше по палящей жаре, избегая асфальта, чтобы не обжечь ступни, оставаясь на узкой полоске между асфальтом и кустарником, росшим вдоль дороги.

Он не ненавидел добычу, он вообще ничего не ненавидел. У него не было никаких ожиданий, никаких желаний, и он ни на что не надеялся.

Он принимал вещи такими, какие они есть. Ему приходилось мириться с пылью, с шумом, ему приходилось натягивать грубые перчатки, толкать тачку, волочить ноги в шеренге, поднимать и опускать мраморную плиту.

То, что поначалу казалось непреодолимым, — всё это он делал и смотрел на скрежещущее движение лезвия в камне. Всё это он терпел без вопросов и протеста, считая всё это само собой разумеющимся, неизбежным. Ничто не радовало его, и он не чувствовал грусти, всё казалось ему терпимым и, следовательно, нормальным. Когда он закрывал глаза ночью в постели и пытался представить себе мир, мир тоже казался покрытым пылью: всё белое, всё удушающе белое.

Однажды, перед тем как уснуть, он представил себе, что мир такой же, как он сам и другие в каменоломне: это был всего лишь призрак. Он никогда не видел снов.

Тут до него донеслись первые звуки птичьего пения. Он шёл высоко в горах, вероятно, уже довольно давно. На засохших эвкалиптах по обеим сторонам дороги ещё сохранилась листва, поэтому он резко свернул с дороги, нашёл более старое дерево и спрыгнул на землю. Он прислонился спиной к облупившемуся стволу.

Он был весь в поту. Птицы замолчали.

Эштремош Крем — лучший в мире белый мрамор. Хотя в детстве он слышал, как кантейрос говорили, что этот мрамор нужно оценить с первого дня, он никогда не понимал, что они имеют в виду. Когда же его наняли и наступил его первый рабочий день, он был настолько напуган всем, что ему предстояло узнать сразу, и ему приходилось собирать столько сил, чтобы не падать от усталости каждый час, что ему даже в голову не пришло остановиться перед плитой с единственной целью — увидеть своими глазами, что делает этот мрамор самым красивым в мире.

И вообще, он каждую минуту чувствовал на себе взгляд надсмотрщика и не осмелился бы сделать и шагу без его разрешения.

Крем из Эштремоша стал для него очередным камнем, безымянным куском камня, с которым ему приходилось бороться снова и снова, сто, тысячу раз, день за днём. Надсмотрщик не спускал с него глаз.

Его начала мучить страшная жажда.

Он вскочил на ноги и отправился через лес в надежде найти один из бесчисленных ручьев, о которых он слышал в Серра-де-Осса.

Он не хотел уходить далеко от дороги, и, увидев неровную, выжженную и изрезанную множеством трещин землю, вскоре понял, что поиски безнадежны. Он остановился, огляделся, но ничего не увидел; было очевидно, что воды среди эвкалиптов он не найдёт. Он вернулся на дорогу. Рано или поздно здесь, в лесу, рядом с домом 381, он...

Он обязательно найдёт какой-нибудь фермерский дом, хижину, может быть, охотничий домик, что угодно, где можно будет напиться досыта. Он ускорил шаг, но довольно скоро почувствовал усталость. В конце концов, он уже несколько часов шёл под палящим солнцем.

Он мог бы снова сесть. Но жажда была сильнее усталости, эта проклятая жажда, должно быть, потому, что он был так поглощен ею.

Да, ему нужно было утолить жажду.

Как далеко может быть Редондо?

Он проехал еще один поворот дороги, затем еще один и еще один.

До Редондо оставалось еще по крайней мере два часа езды.

Если не три.

Он пристально посмотрел на следующий поворот дороги и решил, что, когда доберется до него, поищет затененное место и немного отдохнет.

Но, дойдя до поворота, он не сел, а лишь немного замедлил шаг. Он повернул голову и остановился. Он услышал что-то прежде, чем увидел.

Он не поверил своим глазам.

Едва заметная струйка воды журчала среди камней на склоне холма, тонкая струйка воды стекала к обочине дороги, где она почти мгновенно испарялась на солнце.

Это было чудесное ощущение — наконец-то пить.

Было бы неправдой утверждать, что он не знал, что такое крем Эштремош, но если бы кто-нибудь его спросил, он бы едва смог пробормотать хоть слово. Возможно, он бы ответил: он был белым. Однако в редкие моменты, когда в середине лета он взбирался на крышу дома, ложился и, ослеплённый солнцем, закрывал глаза, тогда, хотя и не понимал, что видит, он всё же видел это. Это было похоже на мягкий снежный покров или на бесцветные пылающие облака, клубящиеся по его поверхности. Но он знал, что на самом деле это ничто, мираж.

По воздуху он мог определить, что теперь находится довольно высоко на горе.

Лес пробковых дубов сменил эвкалипты. На склоне дороги возвышалась каменная стена, а с другой стороны, на склоне, спускающемся к более мелким долинам, повсюду росли пробковые дубы, с ободранной до человеческого роста корой. Искривлённые, узловатые стволы, почти без листвы. Стоит ли ему продолжать идти? В какую сторону? Слева он увидел тропинку и свернул по ней, сойдя с дороги.

Или это действительно была тропа? Очевидно, в последнее время ею никто не пользовался, и не было никаких признаков того, что здесь когда-либо проходило много машин. Возможно, подумал он, это была тропа, потому что справа, на круто поднимающемся склоне горы, рядком стояли четыре или пять старых эвкалиптов, словно указывая путь и направление. Слева колючие суккуленты росли из склона горы и свисали до земли. Каменная стена отбрасывала тень.

Ещё через сотню шагов ему пришлось встать на четвереньки. Тропа, если это вообще была тропа, вела к какой-то вершине. Он шёл, опустив голову, невероятно уставший. Опустив голову, в прохладе тени скалы он чувствовал себя опустошённым и измученным. Что же могло ждать его впереди? Ещё один родничок? Предыдущий уже давно позади, ему не помешал бы ещё один глоток воды.

Он почувствовал это еще до того, как поднял голову.

Он чувствовал, что впереди что-то ждёт. Тропа резко сворачивала влево, и крутой поворот скрывал это. Он знал, что, обогнув поворот, увидит, что это такое. Всё произошло очень быстро.

Перед ним на возвышенности возвышалось огромное здание.

Его размеры не сразу можно было оценить.

Он был слишком огромным, слишком огромным, но полностью вписывался в ландшафт.

Казалось, будто оно выросло из скалы, разрослось, как растительность, которая почти полностью его покрыла.

Или как будто он возник одновременно с лесом.

Не в силах пошевелиться, он стоял и смотрел. Он никогда не видел ничего подобного.

Поусада у нас в Эштремоше показалась бы карликом по сравнению с ним.

Он никогда об этом не слышал.

Что ему теперь делать?

Он начал отряхивать рабочую одежду, но тут же поднял такое облако пыли, что резко остановился. Он взглянул на арку над входом, на пустые ниши колокольни наверху, на узкие бойницы — он осмелился рассмотреть лишь детали, избегая целого. Всё это было действительно слишком обширно.

Почему об этом никто никогда не говорил?

Он смутно припоминал, что слышал о монастыре, спрятанном в глубине Серра-де-Осса, но тот должен был быть гораздо дальше, ниже Редондо. А Редондо всё ещё был так далеко. Это не мог быть монастырь. Но что же это могло быть?

Он сделал робкий шаг вперед.

Ничего не произошло.

Вскоре он понял, что бояться ему нечего: здесь не было ни души.

К нему вернулось мужество.

Тяжелые ворота не были заперты, войти было легко.

Почему они покинули такой... такой красивый дворец?

И кто его бросил?

Затаив дыхание, он вошёл в первый зал. Это был не вестибюль, а просторный зал с высоким сводчатым потолком, пол которого был выложен тёмными мраморными плитами из рудника Борба, с глубокими нишами окон, а вдоль всей длины стен, на высоте около полутора метров, тянулась череда изумительно красивых расписных плиток с изображениями святых, пейзажей и сцен с надписями, ни одна из которых не говорила Педро ни слова.

Он вошёл в следующий зал, и в следующий, и в следующий, и в следующий, с застывшим на лице восторженным выражением. Всюду он видел святых, пейзажи, сцены и надписи, написанные кобальтово-синим цветом на стенах, и повсюду он видел полы из тёмного мрамора из рудника Борба.

Может быть, он впервые в жизни увидел сон.

Но почти ничего не осталось целым. Многие плитки упали и лежали разбитыми на полу. Стены и некогда искусно расписанные потолки покрылись плесенью. Дверные коробки покоробились, двери сгнили и рассыпались на осколки, которые валялись по всему полу. Окна

Внешние ставни висели лохмотьями. Он чувствовал сквозняки то тут, то там, но всепроникающий запах гниения не поддавался этим редким порывам ветра. Разрушение было всеобщим.

Дворец лежал в руинах.

Дворец?

На самом деле это была огромная груда развалин.

В оцепенении он бродил из одного зала в другой. Он вышел в закрытый квадратный двор, полностью заросший сорняками, затем вернулся в здание и поднялся по широкой лестнице на этаж выше.

На какое-то время он снова оцепенел, ибо не только никогда не видел, но и не мог себе представить коридор такой длины.

В довершение всего, этот коридор в центре пересекался с другим. В конце каждого коридора через большое окно лился свет, но его яркости хватало лишь на несколько метров, всё остальное находилось во тьме или тусклом полумраке... Камеры открывались из коридоров — то есть, некоторые открывались, а многие другие, как он обнаружил, не открывались, когда он пытался толкнуть дверь, словно кто-то заколотил их изнутри.

И повсюду, куда бы он ни шёл, наверху или на первом этаже, он видел эти фантастические азулежу, эти чудесные стены из изразцов! В одном месте он узнавал Иисуса Христа, несущего крест, в другом — Ангела Благовещения и Деву Марию, но в большинстве случаев он не мог разобрать, что изображено в этой, казалось бы, бесконечной череде, поскольку одна картина сменяла другую, и конца этому, казалось, не было видно. На этих изразцах было изображено почти бесчисленное количество изображений, словно в этом огромном дворце они собирались рассказать обо всём, что когда-либо происходило в истории человечества от начала до наших дней, обо всём, и он всё это видел, его глаза уже ослепляли, ошеломляли все эти синие святые, сцены, пейзажи и надписи, хотя ему было совершенно ясно, что, хотя они и рассказывали свои истории, каждая из плиток — свою историю, повествуя обо всём, что происходило с начала до наших дней, они были адресованы не ему, они не говорили с ним.

Часами он бродил по залам, лестницам, внутренним дворам, даже наткнулся на часовню, выходившую прямо из дворца, затем еще раз поднялся наверх и снова спустился, осматривая все доступные ему пространства.

И хотя все строение лежало в руинах, здание даже в своем немом запустении давало ощущение, что, несмотря на заброшенность, оно все еще кому-то принадлежит, какому-то далекому миру, может быть, самим небесам или еще более далекому Господу в бесконечной дали, в вечности.

Ему здесь не место.

Он не мог объяснить себе, что он чувствовал.

Он смотрел на все это с холодным, отчетливым отчуждением.

Он отправился на поиски воды.

В каждом внутреннем дворике стоял искусно вырезанный мраморный фонтан, но вода из них не текла уже очень давно. Он попытался найти кухню, но ничего не нашёл. Он обнаружил проход, ведущий к...

подвал, который он обыскал вдоль и поперек в поисках жидкости на дне брошенной бутылки, но безуспешно.

Наконец он вышел в террасные сады, продолжавшие продольную ось здания, и там поел ещё не завядшие плоды гранатовых деревьев, которые птицы не успели до конца расклевать, а потом нашёл и воду. В дальнем конце сада возвышалась каменная стена, и оттуда он снова услышал сладкий звук тихо журчащей воды.

Он напился досыта, сколько мог, а затем лёг под широкими ветвями олеандра. Теперь, увидев здание сзади, под новым углом, он заметил, что разные части дворца были построены на разных уровнях и сходились на открытой возвышенной террасе напротив него. Сон одолел его, и он проснулся только от звона какого-то колокольчика, который его встревожил. Он тут же пришёл в себя, но повода для тревоги не было: это было всего лишь стадо овец, медленно, очень медленно приближавшееся откуда-то снизу, мирно пасущееся, поднимаясь на холм, со стороны Редондо.

Он подождал некоторое время под олеандром, но стадо прошло весь этот путь без пастуха.

Солнце уже не палило, еще минута — и ближайший горный хребет затмит его свет.

Он поднялся на возвышенную террасу. Подойти к ней сбоку оказалось проще простого: задняя часть здания упиралась в скалистый обрыв. Всего несколько шагов — левой ногой здесь, правой там — и он оказался на террасе.

Широкая, просторная и открытая во всех направлениях терраса опиралась на каменные столбы. По всему её периметру шла мощная, почти полуметровой толщины, каменная балюстрада, когда-то облицованная плиткой, и в эту балюстраду с каждой из трёх сторон были врезаны скамьи. Он сел на центральную скамью, удобно расположившись, опираясь на левую руку. Перед ним простирался пейзаж в сторону Редондо.

Ленивый и спокойный пейзаж полностью заполнил панораму, простираясь до самого горизонта.

Мир столь огромных размеров просто не мог бы существовать.

Он услышал щебетание птиц и крик вожака стаи.

Перед ним, внизу, простирались невероятные просторы леса; вокруг царил бесконечный покой, над лесом простиралось огромное небо.

свод, а в ушах щебет птиц и звон колокольчиков — и все становилось тише и спокойнее.

Одна за другой птицы полетели домой в свои гнезда.

Солнце начало садиться.

На земле царил мир, и этот мир был настолько глубоким, что Педро, сидя там и размышляя о нем, вспомнил очередь у карьера, где ему, возможно, следовало бы стоять и сейчас, и это заставило его вспомнить о своей тачке и о том, как, когда ему приходилось наклоняться, чтобы ухватиться за рифленую резиновую накладку ручек, он даже сквозь рабочие перчатки узнавал свою тачку среди тысячи других.

Да, он мог бы это сделать.

Он спустился с террасы, прошел через сады к тропинке, а оттуда спустился к дому № 381 и направился в сторону Эштремоша.

И хотя солнце зашло и наступила темнота, ему всегда оставался свет, чтобы видеть, куда он ступает.

Обратный путь был короче.

GY Ö RGYFEH É R ' SHENRIK

МОЛЬН А Р

В 2002 году, в год его смерти — я уже не помню точной даты, даже месяца, но это было где-то весной, — режиссёр Дьёрдь Фехер позвонил мне из Будапешта и сказал, что у него есть проект, который он таскает с собой в багаже, кинопроект, по сути, это единственное, чем он действительно хотел заниматься в жизни, но это был очень сложный вопрос, и он предпочёл бы обсудить его лично. В последние годы я всё больше и больше к нему привязывался, и как раз в то время эта привязанность достигла пика, поэтому я был готов встретиться с ним в любое время. «Я пока не знаю, когда приеду», — сказал он. «Я дам тебе знать заранее», — а пока я посылаю тебе кассету, — «что-то вроде документального фильма», — чтобы ты имел представление, о чём речь. «Я снимал эти кадры так давно, наверное, где-то в конце шестидесятых, что я даже не уверен, было ли это на самом деле», — добавил он. Сейчас я едва могу вспомнить обстоятельства. В то время я работал оператором на государственном телевидении, нас отправили снимать судебный процесс, но всё обернулось фиаско, весь проект закрыли, и это единственная сохранившаяся копия, по чистой случайности. Но если вы посмотрите, то увидите, что там что-то есть. Возможно, изначально они планировали это для новостной программы, сюжета о суде, смонтированного, конечно, — я уже не помню. И, конечно же, они никогда ни для чего её не использовали, и никто к ней не подходил. Эта кассета — единственная сохранившаяся копия, оригинал был утерян. Так что именно на этом должен быть основан наш фильм.

Я был очень удивлён. Мы вдвоем? Снять фильм? Из всех людей он должен был знать лучше всех, как я не люблю снимать кино.

Более того, всякий раз, когда — перед тем, как он начал сниматься в фильме, или во время съемок и между съемками — я высказывал ему свою неприязнь и ее причины, он всегда отвечал, что верит мне и понимает, что я ненавижу весь этот

процесс, но я должен понимать, что никто не ненавидел его больше, чем он сам.

Он не раз показывал, что питает ко мне дружеские чувства, возможно, потому, что в те времена я считался последним простаком во всей венгерской киноиндустрии. Всякий раз, когда мы разговаривали, когда он смотрел на меня или случайно присутствовал, чтобы послушать мои рассказы до, во время или между съёмками, в его глазах всегда мелькал странный огонёк, проблеск заворожённости, недоверия: как можно быть настолько невежественным в отношении того, где он находится и что он вообще здесь делает, среди киношников? Мы встречались всё чаще, и я чувствовал, что за его сочувствием скрывалось любопытство, желание самому раз и навсегда выяснить, действительно ли я такой недалекий, каким кажусь. Он рассказывал мне о своих любимых писателях и любимых литературных произведениях, но ни разу не обмолвился о работе со мной. Снять со мной фильм? Я был уверен, что он ни за что не захочет воспользоваться моей недальновидностью, не говоря уже о том, что я был убеждён, что он один из тех немногих, кто знает мой секрет: я не имел ни малейшего понятия о кино и кинопроизводстве. Он заверил меня, что и сам не имеет.

Так или иначе, я погрузился в остолбенелое молчание. «Фильм, ты меня слышишь?» — продолжил он. «Только ты и я...» Он произнес эти слова с нажимом. «Мне пришло в голову, что после всех этих лет мы с тобой могли бы что-то сделать вместе». «И что именно ты имел в виду? Какой фильм ты собираешься снять?» — поинтересовался я. «Ну, знаешь... фильм», — ответил он слегка бесстрастным голосом, которым всегда отвечал всякий раз, когда странный вопрос казался ему забавным. «Какой фильм, спрашивает он?! Ну, фильм. Фильм бывает только один — именно это подразумевала бесстрастность его голоса. „В любом случае, почему бы тебе не взглянуть на кассету“, — добавил он.

«Посмотри, что ты придумаешь. Я отправлю завтра».

Он попрощался, повесил трубку, и больше я его живым не видел.

После его похорон я встретил нескольких человек, которые были у его могилы.

Мы поняли, что все испытываем глубокую привязанность к покойному. Спустя некоторое время один из этих людей рассказал мне, что незадолго до его смерти Дьюри связался с ним и попросил, словно в качестве последней просьбы, помочь им вместе, вдвоем, снять фильм. Дьюри сказал этому человеку, что пришлёт кассету. И, знаете что, кассета так и не пришла.

Этот человек мне и рассказал. Потом я встретил другого парня, и после нескольких бокалов вина выяснилось, что у каждого из нас есть свои истории о Дьюри. Он жестом подозвал меня поближе и, понизив голос, рассказал, что последним желанием Дьюри было снять совершенно особенный фильм исключительно с ним. «Только ты и я», — сказал он мне, — «Только ты и я», — и это, по его словам, Дьюри ему якобы сказала. Наконец, в моей жизни появился третий такой человек, с той же историей, с той же комичной реальностью, столь типичной для Фехера, и всё закончилось так же: обещанная кассета так и не появилась.

Я воздержался от раскрытия того, что я также был вовлечён в это дело. И уж точно не стал раскрывать тот факт, что я, с другой стороны, действительно получил кассету.

Я отчётливо помню этот случай: вместо того, чтобы оставить кассету в почтовом ящике, почтальон принёс её к двери моей квартиры. Я занёс кассету в дом, вставил в видеомагнитофон, досмотрел до конца, а затем пересмотрел.

Затем я взял ручку и бумагу и написал другу письмо от руки, как обычно. Закончив, я вложил его в конверт, запечатал, наклеил марку и отправил по адресу его матери, поскольку у него никогда не было собственного почтового адреса.

Дорогая Дьюри!

Я вижу, как камера трясётся в твоих руках, а твои глаза прикованы к двери. в зале суда вы ищете подходящий импульс, с которым можно Камера фокусируется на нем в тот момент, когда он входит, хотя я также могу сказать это по тому, как что камера прыгает так, что вы не сможете предсказать, кто именно будет входить следующим, и вот что происходит, ваши руки совершают ошибку, потому что камера прыгает на кого-то, кто входит раньше ожидаемого, и вы следите за ним некоторое время, этот человек не представляет никакого интереса, но рука держа камеру, уже знает, что это не то, что нужно, и быстро покидает его, и камера, и рука, держащая ее, довольно смущенно, это чувствуется, когда камера возвращается ко входу, своего рода признавая, что не знает своего дела — камера не та Для этой работы это слишком ПОВСЕДНЕВНАЯ КАМЕРА — вся эта штука скорее как дьявол, который немного подшутил, чтобы продемонстрировать, что

хотя он здесь не законный директор, в любом случае ОН ТОЖЕ БУДЕТ

НАСТОЯЩЕЕ... затем внезапно сцена становится серьезной, потому что тот, кого мы ждали, пока войдет, он, без сомнения, тот самый, даже не этот Повседневная камера может его ошибиться, камера дрожит в ваших руках, это дрожит, потому что в тот момент, когда человек вошел в зал суда, камера, тоже вошла в реальность, причем в реальность, где необычайно важное Дело, одна из самых ужасных историй в истории, вот-вот раскроется. Не просто история, которая является частью реальности, но которая раскрывает, что эта реальность, в по сути, так оно и есть.

Я наклоняюсь вперед, чтобы посмотреть изображение на VHS-кассете, и первое, что я замечаю, это то, что Что-то не так с тем, как он вытягивает руки вперед. На поверхностный взгляд кажется совершенно естественным, что человек, которого ведут где-то с руками, скованными наручниками спереди, чтобы не споткнуться, как он подходит, вытягивает руки немного вперед и вверх, чтобы видеть где он ступает, и на самом деле это то, что он делает, вытягивая руки вперед и вверх, когда он входит в зал суда без замедляясь у порога, позади него с обеих сторон охранники держат его руки, направляя его. Он пробирался сквозь толпу людей, стоявших рядом дверь, он входит в зал суда, слегка наклонив голову вперед, чтобы увидеть куда он ступает — я уже осознаю в момент его появления, как он держит свои скованные руки перед собой, наклонив голову немного вниз, чтобы видеть, куда он ступает, что он дает нам предварительное уведомление что главное здесь не в том, что наручники на нем — это несправедливость юридический смысл, но что величайшая несправедливость здесь в том, что любой юридический смысл существует в первую очередь, ибо в его случае дело не имеет В юридическом смысле его дело не является юридическим, он не «обвиняемый»,

поскольку он всего лишь человек, попавший в самую примитивную ловушку о котором здесь, сегодня, невозможно вымолвить ни слова, не с кем поговорить; единственный и неповторимый человек — каждое его движение передает это — единственный В этом зале суда человек, который ему равен, это он сам, и под ним его грозная дисциплина, можно почувствовать его ужасную хрупкость, что он в наручниках, что он один, что это возмутительно, что больше никто не носит наручники в этом зале суда, поскольку таким образом все это имеет появление прикованного к цепи животного, которого ведут сюда, я наблюдаю, как он приближается с быстрые шаги, он точно знает, куда идет, знает точнее чем кто-либо другой, куда он должен идти, и почему; прямо за ним находятся

два охранника, его взгляд отрезан, более отрезанного взгляда быть не может Смотри, я вижу его ужасную беззащитность, то, как он садится, как он протягивает руки одному из охранников, чтобы тот снял наручники, я обратите внимание на точные движения, он точно знает, что должен делать охранник, как он поворачивает наручники замком к охраннику, все это делает все чисто, и я не могу не смотреть, как наручники открываются, и так, как сейчас, когда руки свободны — совсем иначе, чем мгновением ранее, когда он все еще был в наручниках! — он садится на стул, и вы можете посмотрите, какой он дисциплинированный, какой он сосредоточенный, он не смотрит по сторонам, а смотрит один раз направо, один раз налево и в конце, когда вы можете услышать кто-то входит на судейскую трибуну лицом к нему, я вижу, как он поднимает взгляд, на самом деле это первый раз, когда я вижу его взгляд, я вижу его глаза, когда он смотрит судья.

Господи, откуда-то я узнаю этот взгляд!

Голос судьи, резкий и жесткий, полный враждебности и безразличия, говорит мне с убийственной уверенностью, что это не суд, ничего не будет решено здесь, это ужасная пародия, с актерами, которые по-своему идеальны для их ролей; он знает — слыша голос судьи, особенно в местах где он перечисляет номера дел, даты, ссылается на стенограммы из бывших слушания, другими словами, вещественные доказательства — что все здесь предопределено с самого начала самый первый, и никто не знает этого лучше, чем сам заключенный, которого отсюда камера в ваших руках никогда не покинет вас, или только на мгновение, как будто твоя неуклюжесть заставила тебя оставаться приклеенным к его лицу, к его взгляд, когда просто НЕВОЗМОЖНО ОТОБРАТЬ ГЛАЗ от что-то, это объясняет странное чувство зрителя, что он един с камера, такая же неуклюжая, такая же завороженная, такая же неспособная поверить своими глазами, понимая, как это могло произойти, что бы это ни было произошло, как и камера, через которую он сейчас это видит; ибо я не могу поверить своим глазам, что здесь сидит этот красивый, умный, хрупкий, исключительно чувствительный человек, погруженный в эту сверхчеловеческую концентрацию, и Я беспомощно смотрю, как это с ним случится! Что это будет? Конечно, я не могу знать этого заранее, и из-за чрезвычайного неуклюжесть рук, держащих камеру, я могу только постепенно и с Трудно начать понимать историю, и пока я пытаюсь шаг за шагом разгадать тайну, поскольку я пытаюсь собрать часть за частью из услышанного фрагменты того, что на самом деле сделал обвиняемый, и что было до этого и что произошло позже, когда все это происходило внутри меня, пока я смотрел

ужасно внутренний взгляд заключенного — ибо я не могу поступить иначе, поскольку ты не давайте мне ничего другого! — Я также должен продолжать думать о том, как такое неуклюжесть возможна, как это возможно, что сейчас аудио, сейчас видео постоянно терпит неудачу, что здесь происходит, как это возможно, что что-то не так? всегда идет не так, одно за другим, и снова и снова, и в раз я возмущен, это просто не может быть правдой! Вы делаете это на цель, именно сейчас, когда я хочу услышать или увидеть то или это, о да, я надо продолжать думать об этом, почему эта неуклюжесть, почему эта постоянная ошибка позади камера, я должен задаться вопросом, кто, черт возьми, управляет этой камерой, кто может возможно, настолько не разбирается в технике, или если он не разбирается, то почему такой ему в руки дали неисправную камеру, а через некоторое время я решил отказаться эта линия мысли, и я вынужден думать, что нет, наоборот, Команда на этих съемках делает все возможное, они честные, порядочные люди, которые делают все, что только можно вообразить в пределах их возможностей, но камера, машина просто постоянно выходит из строя, они совершенно беспомощны, это не вопрос их небрежности, безответственности или их игры с с камерой, а просто то, что нет другой альтернативы, и что Здесь происходит борьба с беспомощностью, здесь происходит необычайное испытание. прогресс, который должен быть задокументирован, иначе мир распадется на части, документально подтверждено, хотя постоянно подвергалось саботажу со стороны имеющегося оборудования, так что это битва между командой и камерой, битва между камеру и мир, я практически могу представить его перед собой, даже Когда я смотрю на лицо заключенного, все вы там, оператор, Человек, который занимается освещением, и режиссер, все пытаются общаться посредством посредством немых жестов, сначала один, потом другой тычет в раздражении в какая-то часть камеры, пытаясь указать другой, что делать, чтобы Чтобы восстановить отсутствующий звук или исчезнувшее видео, я ловлю себя на том, что плачу по крайней мере столько же внимания к этому воображаемому глупому шоу, сколько и к происходящему событию себя, только чтобы иметь каждое такое воображаемое интермеццо одно за другим стерты каким-то новым фактом, который слышится именно тогда, фактом, который позволяет мне понять что-то о произошедших событиях, факт, что медленно, шаг за шагом, знакомит меня с тем, что произошло в прошлом и что происходит сейчас.

Что убийства были совершены.

И что они намерены убить здесь человека.

Эта первая сессия суда на протяжении всего времени имела свой собственный внутренний импульс, а также его внутренний темп, так что я, зритель, пригвожден к Взгляд заключенного постепенно погружается все глубже и глубже в его историю. Он становится все более очевидным, что обвинения, утверждающие, что этот человек совершил убийства абсурдны, что силы, противостоящие подсудимому (этот судья, эти присяжные, двое охранников, все эти люди здесь) — все до одного из них презренные, кровожадные негодяи, чье величайшее преступление не в том, что они довели этого несчастного человека до такого состояния, но тот факт, что ОНИ НЕ

ПОДРАЗУМЕВАЮТ.

И ОНИ НИКОГДА НЕ ПОНИМАЮТ ТА НДХИМ.

Теперь я чувствую себя все более и более беспомощным, словно в поистине душераздирающем отчаянии Я смотрю на лицо заключённого. Мне хочется сказать ему: «Неважно, что ты...» Возможно, вы сделали это, я вас понимаю. Эти люди не могут, но я, сидя Здесь, может. Ваша история не исчезнет бесследно, они не могут так поступить. вас без лишних слов, потому что я сижу здесь и вижу вас и меня сочувствую вам, и в моем сознании я оправдал вас по всем пунктам обвинения, в то же время я даю недвусмысленное уведомление, что все вокруг Вы по праву заслуживаете обвинения.

Я должен как следует подумать, пока твое лицо постоянно перед моими глазами, и пока твоя история постепенно складывается в моем сознании, что это судьба зарезервировано миром для того, кто достаточно чувствителен и «интеллектуален»

(в специальном смысле этого слова), воплощающий в себе сущностную реальность человеческое общество и его собственное неизбежное поражение от него.

Все это продолжается уже ужасно долго, такое ощущение, как будто Я смотрел кассету несколько часов и составил окончательное мнение: формирующееся во мне представление о том, что я вижу. Поразительное свидетельство роково обречённый интеллект и высоко парящий дух. И я сам становлюсь Заключенный, просто наблюдающий, неспособный помочь обвиняемому. Для большинства Самое ужасное во всем этом — это сострадание, которое растет внутри вас, даже когда вы позаботьтесь о том, чтобы никто, никто во всем зале суда не воскликнул: Хватит! Пока вы, зритель, присутствуете, как можно ближе, быть — Это не фильм! Ты воешь глубоко внутри, ты мог бы наклониться ближе и быть В миллиметре от него вы могли бы даже приблизить свое лицо к нему экран, показывающий лицо другого человека, и все равно вы не можете его защитить

.. . Нет, ты должен наблюдать до самого конца, как они приведут к его уничтожению.

Потому что к этому времени, ближе к концу первого пробного сеанса, вы не даже много обдумываешь, когда объясняешь себе, что произошло: ты

Я полюбил этого человека, Хенрика Молнара. Даже произнесение его имени... Теперь ты стал таким странным. Как будто ты действительно его знал. Как будто тебе нужно было Докажите, что вы его знали... Нельзя любить самого себя, можно любить только себя. Ваш ребёнок так же хорошо себя чувствует. Кто в то же время не ваш ребёнок? Кто в то же время убийца.

Ваш ребенок — убийца.

Вы начинаете привыкать к атмосфере суда, к залу суда. начинает казаться знакомым, как и судья, охранники и, конечно же, подсудимый. У вас возникает ощущение, что вы как-то акклиматизировались, все самоочевидно и так будет продолжаться.

И вот наступает вторая пробная сессия, и вы натыкаетесь на своеобразное новое ощущение. Вы не можете вынести того, что этот человек в перед вами — иногда вы можете видеть или слышать только его, потому что камера и команда не стала лучше, это все то же нервное испытание борьба то со звуком, то с изображением, то с вами, зрителем, то есть мне — ты постоянно молишься: ПУСТЬ ЗВУК ВЕРНЕТСЯ или ПУСТЬ

IMAGERETURN, и вот где вы находитесь, когда вы должны столкнуться с фактом что этот человек, обвиняемый, на самом деле является убийцей.

Ты слегка отстраняешься от экрана телевизора. Ты не способен примирение всего, что вы чувствуете, со всем, что вы знаете.

Что этот человек, Хенрик Молнар, после того как сказал девушке, что она собирается умереть, действительно повернулся и ударил мальчика в грудь своим нож?

Но это невозможно.

Вы не можете себе представить, чтобы он это сделал.

Продолжая наблюдать за его взглядом, вы не можете заметить ни малейшего Изменение в нём. Эта неизменность ошеломляет вас, и вы должны поставить себя в положение Вопрос: вы действительно понимаете этого человека? Если его лицо может оставаться таким неизменен, в то время как ты сам изменился настолько, тогда это лицо закрыто закрыт и недоступен и для вас.

Он ударил ножом этого маленького ребенка? Он воткнул нож в живой человек?

Можете ли вы это представить? Можете ли вы совместить это со всем, что у вас есть? появились чувства к Хенрику Мольнару?

Смогли бы вы вонзить нож в живого человека?

В этого судью?

Да.

В охрану?

Да.

А этот маленький ребенок здесь?

Возможно.

Но что же остается Хенрику Мольнару?

И что же это значит?

Продолжая наблюдать за событиями на экране, вы осознаете, что вам необходимо проверьте себя, действительно ли вы способны вонзить нож в живое существо грудь человека.

Судья?

Нет.

Охранника?

Нет.

Этот молодой мальчик здесь?

Ни за что.

Когда вы заставляете себя представить этот жест, вы на самом деле Сделав это, всё станет невозможным. Ты никогда не станешь убийцей.

Вы не можете совершить акт нанесения удара ножом.

И вот вы снова всматриваетесь в лицо обвиняемого.

Это лицо убийцы.

Вы смотрите на Хенрика Молнара, встревоженного перспективой того, что может произойти если бы мы не действовали, чтобы остановить убийства, если бы у нас не было законов и тюрем, никаких судей или охранников, иными словами никакой цивилизации.

Поэтому вы стараетесь представить, что вы ПОНИМАЕТЕ судью, Охранники, присяжные, тюрьма, весь этот ужас. Чтобы никто не Убить кого угодно. Попытайтесь представить, что вы понимаете этого судью, этих присяжных, эти охранники.

Но вы просто не можете этого сделать. Этот судья, эти охранники и эти присяжные: Их невозможно понять. Когда вы думаете о Хенрике Мольнаре, они все кажутся монстрами.

И вот он сидит в своей бесконечной чистоте, этот самый виновный из людей, этот узник.

И это последний факт, который вы понимаете о нем: что значит быть совершенно одинокий. Вы часами наблюдали за его неизменным лицом, за его

Взгляд. Невероятно, но он остался прежним всё это время, хотя Прошли месяцы, а может быть, и годы. Хенрик Мольнар не меняется. Проходит некоторое время, прежде чем вы понимаете: он не меняется, потому что он поддерживает состояние концентрации, которое просто не поддается пониманию Здесь, где вы сейчас смотрите. Вы предполагаете, что они, вероятно, приговорят его к пожизненному заключению. Он, несчастная жертва, и ты, бессильный Зритель. Ты устаёшь и с нетерпением ждёшь финала. Ты взвешиваешь есть шансы, что, возможно, его всё-таки не приговорят к пожизненному заключению. Весь Дело настолько затянулось, что вы думаете, что все это может вот-вот закончиться.

Возможно, это не жизнь, но ты боишься, что так и будет. Ничто другое не должно быть можно было ожидать от этого судьи и этой группы охранников и присяжных.

Теперь вы верите, что этому действительно придет конец.

Затем вы слышите приговор.

Смерть.

Поэтому они его убьют.

Это ужасно.

Съёмочная группа снова явно в замешательстве. Теперь это не просто Вопрос о том, что звук сломался или изображение исчезло. К настоящему времени все из вас, весь экипаж, должен быть уверен, что вы что-то записали чрезвычайно важно. И ЧТО ВСЕ, ЧТО ВЫ СНЯЛИ

ХЕРЕЙСАМ АТ ТЕРОФЛИФЕОРДЕ АТ Х ! И это снова создает Сбои в работе камеры. Камера снова начинает трястись, Весь экипаж заметно нервничает. Смертный приговор.

Вот что, должно быть, крутится у вас в голове. Пока в ваших руках камера движется, немного дергаясь из-за напряжения.

Опять все так же неуклюже, как и в начале.

Естественно, вы должны будете последовать за ним, когда он покинет зал суда.

Продолжайте стрелять как можно дольше.

Но никто не ожидает, что в фильме будет что-то еще, что можно будет снять. коридор.

ВСЕ ошеломлены Т.

Через камеру вы тоже признаете, что никто этого не рассчитывал.

Что у Молнара всё было спланировано до мельчайших деталей. Что его Невероятная личная дисциплина и сосредоточенность были не просто видимостью. Если вы приговорите меня к смерти, я покончу с собой. Используя пистолет охранника. Он

Он не просто прячется от мира. Он такой, какой есть: дисциплинированный и сосредоточенный.

Он сам самый безупречный, нормальный и самый здравомыслящий — между тем все это безумие.

Что он казнит себя, закрой книгу. Даже стражники в состояние величайшего и самого полного замешательства, без всякого сострадания как будто они позволили чему-то сломаться, чему-то, что имело была доверена их заботе. Это просто ошеломляет.

Пока он лежит там с окровавленной грудью, камера отводит зрителя назад. туда, где он был в самом начале: боже мой, этот человек пропал!

Это непоправимо.

Дьюри, я думаю, что записанный звук и изображение следует оставить как есть. На самом деле это не то, над чем нужно работать, потому что именно это представляет собой ваш материал, как он есть. Сохраните исходный шум и слова, произнесенные в саундтреке, и, возможно, использовать субтитры, чтобы передать разговор между режиссером, оператором и осветителем.

Профессиональный комментарий о гнилом оборудовании, о том, кто что должен делать, и с кем, когда, кто должен что подключать, или в зависимости от обстоятельств, воздержаться от подключения или отключения, и что теперь, кто должен держать кабели и где, и как, или кто не должен, и где именно. субтитры должны касаться исключительно технических проблем, связанных с стрелять.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ.

Моё предложение по названию.

Обнимаю,

Лачи

Шли долгие недели. Он так и не дал знать, что получил моё письмо или что проект продвигается. Я позвонил ему, должно быть, в начале июня. О да, я получил его, да, конечно, и он извинился. Моя мать всю последнюю неделю упрашивала меня приехать, от тебя было письмо. Но мне пока не удалось собрать деньги, хотя я верю, что дело не совсем безнадёжное. Я скоро приду к тебе, нам нужно обсудить вопросы содержания. Или ты случайно не свободен сегодня вечером? Нет, ответил я. Хорошо, без проблем, быстро сказал он, я скоро тебе позвоню.

А потом он умер. На похоронах было гораздо больше людей, чем я ожидал. В то же время у меня было ощущение, что никто никого не знал, как будто все пришли одни. Несколько человек положили камешки на могилу. Затем, поскольку службы не было, собравшиеся разошлись. Несколько человек остались. Потом остался только я. Я тоже пошёл прощаться. У ворот кладбища я заметил молодую женщину. Должно быть, она наблюдала за мной из-за дерева, ожидая, когда я уйду.

Чтобы она могла вернуться. Выйдя за ворота, я ещё раз взглянул в её сторону и заметил, что она идёт обратно к могиле.

Затем с другой стороны я увидела еще одну женщину, постарше, которая наблюдала за молодой, видимо, она тоже хотела узнать, когда та уйдет, чтобы иметь возможность вернуться к могиле одной.

Я сел в трамвай. Пока он медленно полз, я заметил на другой стороне улицы пару одиноких людей. Казалось, каждый чего-то ждал. Возможно, видя, что я еду, они ждали другой трамвай в противоположном направлении, который должен был отвезти их обратно на кладбище.

Город был полон людей.

Я помню дату: это было 22 июля.

БАНКИРАМ

Пол Верховенски

Мюрсель Эртас

Икси Фортинбрас

Любое сходство с живыми или умершими людьми является случайным.

У тебя, знаешь ли, странное имя — он повернул голову в сторону заднего сиденья к человеку, который при встрече только и сказал: «Я друг Пола», Пол ничего не ответил, а Пол даже не помог, даже не объяснил, что этот человек делает в машине, и даже позже он этого не узнал, и когда этот человек сказал: «Я друг Пола», этот человек даже не взглянул на него, как человек, не считавший важным это представление, когда он вышел из дверей терминала к машине с Полом, этот человек протянул ему руку и сказал что-то непонятное: он взял его за руку и сказал что-то по-английски, что они все сразу же приняли как общий язык, но при этом он даже не взглянул на него, а вместо этого бросил взгляд куда-то за плечо, а именно в совершенно другую сторону, к раздвижным дверям маленького провинциального аэропорта, как будто он всё ещё ждал кого-то другого, и тот, кто только что прибыл — то есть он сам — был не тем человеком, которого он ждал. ибо он готовился к чему-то большему, к какой-то более значимой личности: они пожали руки, это явно ничего для него не значило, подумал Икси Фортинбрас, очевидно, он, должно быть, только что пришел с Полом из банка, и Пол, очевидно, не знал, что с ним делать, поэтому ты привез его сюда в аэропорт; Икси? Друг Пола спросил с каким-то сарказмом в голосе: Икси, с x? — да — ты говоришь это с i спереди и i сзади? — нет, обе эти буквы должны произноситься как буква e в английском — ладно, но Фортинбрас, на самом деле? как в этом, гм, как там называется, верно? — да, вот и все, ответил он, и, насколько он мог судить, обсуждение было закрыто; он отвернул голову к окну, за рядами редко расположенных чередующихся фабричных зданий, многоквартирных домов и разбитых лугов, тянувшихся вдоль взлетно-посадочных полос аэропорта, не было ничего необычного, уже в первые минуты он начал пытаться определить, когда он поймет, что он не прибыл в какое-то старое место, но ничего не было, были точно такие же фабричные здания и

доходные дома и поля, как и везде, ну и ладно, конечно, это всего лишь Киев, подумал он, но сказал Полю, что на самом деле не замечает здесь ничего, что могло бы указывать на это... и ты тоже не заметишь, ответил Поль, заговорщически подмигнув другу, если бы это действительно был его друг, сидящий рядом с ним, этот напряженный человек, одетый с головы до ног в сдержанный сливового цвета костюм в стиле Пьера Кардена и не имеющий других отличительных черт, который затем добавил, о, ты ведь приехал сюда не за этим старым изжеванным куском дерьма, не так ли? — потому что это больше никому не интересно, все уже за пределами этого, су-е-е-ствительно... ну, конечно, продолжил он, туристы-катастрофы всё равно приезжают, им интересно, но даже если они едут туда, чтобы получить свою маленькую дозу ужаса, они всё равно ничего не находят, и особенно там, потому что там, по общему мнению, больше ничего нет, я сам никогда не был, но все говорят, что всё это так неловко; этот человек скривился и посмотрел на Пола, а затем, поскольку реакции не было, он повернул голову обратно к лобовому стеклу и сделал левой рукой волнообразное движение, которое Фортинбрасу на заднем сиденье было трудно понять, может быть, оно означало: ну хватит об этом, в любом случае, сказал он Полу, явно продолжая их предыдущий разговор, который был прерван только из-за прибытия Фортинбраса и того, что он сел в машину...

Первоначально, по его словам, она работала здесь, в Deutsche Bank, затем уехала на несколько месяцев в Бухарест, а затем снова уехала — и это главное — в Тирану, и в Тиране она стала менеджером по внутреннему аудиту и провела там два года. Честно говоря, она хотела уйти и оттуда, но дама-генеральный директор, нанятая предыдущим владельцем, не очень... не очень любила ее, дамы в возрасте никогда не любят молодых женщин, особенно если эта женщина, эта молодая женщина, Тереза, может противостоять ей в определенных вопросах, а стажер... Менеджер по внутреннему аудиту может сделать именно это, а официально Тереза даже не находилась под контролем генерального директора, а находилась под контролем наблюдательного совета, поскольку работа внутреннего аудита, конечно же, заключается в надзоре за банком с учетом интересов владельца, в то время как генеральный директор, выполняя управленческие функции, попадает под компетенцию внутреннего аудита — ну, учитывая все это, Терезе просто нужно было уйти оттуда... то есть она хотела уехать из Тираны?

Пол перебил: «Да, именно так, из Тираны, именно так», — ответил друг, а затем, как его там, директор по внутреннему аудиту в Felicitas, я имею в виду Banca Fortas в Генуе, который отвечал за надзор и контроль за внутренним аудитом во всех дочерних банках, он

убедил ее поехать в Геную, работать на него, это случилось полтора года назад, и тогда у них все было хорошо, но потом появилось это расстояние, и появилась эта другая должность, потому что тогда Хайнц был в Генуе, и иногда он ездил в Тирану, ну, и Тереза действительно хорошо справлялась со своими обязанностями, она делала все так, как они хотели, э-э, связь между Тираной и Генуей была идеальной, и, по мнению Терезы, этот Хайнц был гораздо более профессиональным и способным, чем тот парень до этого, и после этого она поехала в Геную, и, без сомнения, через очень короткое время Тереза поняла, что ей крайне трудно выносить итальянский менталитет, они не способны принимать решения, они не торопятся, им требуется по крайней мере два или три месяца, чтобы что-то решить, и они всегда не торопятся, и друг Пола снова сделал то же волнообразное движение, чтобы показать, как они не торопятся, Пол молчал, он смотрел вперед, держа руки на руле, внимательно слушая рассказ, который поначалу не так уж беспокоил Фортинбраса, сидевшего на заднем сиденье, потому что он подумал: а почему бы и нет, очевидно, здесь произошла какая-то маленькая проблема, а он просто оказался в центре событий, может быть, именно об этом думал Пол, когда проигнорировал его и просто позволил ему немедленно оказаться в центре внимания СМИ в повседневной жизни Киева, Фортинбрас выглянул в окно, они уже проезжали по одному из бетонных мостов через Днепр в плотном потоке машин, он выглянул в окно и увидел Имэксбанк, затем Правэкс-банк, а затем Приватбанк, Укрэксимбанк, Ощадбанк, УкрСиббанк, Укрсоцбанк, Родовид Банк, Мегабанк, Банк Киев, Брокбизнесбанк, Астрабанк, Хрезатикбанк, Универсалбанк, Диамантбанк, затем он увидел Надра Банк, Дельта Банк, Энергобанк, Фортунабанк, Ренессанс Капитолий и так далее — боже мой, подумал Фортинбрас, что здесь происходит, каждое второе здание — банк, что же это такое, почему здесь так много банков, но задать какие-либо вопросы он не мог, потому что разговор на переднем сиденье оставался очень напряженным, его невозможно было ни прервать, ни остановить, и Поль, поддавшись своей всепрощающей натуре, просто давал своему собеседнику говорить, а тот говорил и говорил, он все говорил и говорил: по-моему, Италия — единственная европейская страна, где не принято, чтобы высшее руководство банка имело университетские дипломы; большая часть, то есть большинство, после окончания школы поступает в профессионально-технические училища, хм, и вдобавок ко всему, там работает бесчисленное множество сотрудников из совершенно разных сфер,

Например, выпускники гуманитарных вузов, поэтому она считала этого Хайнца хорошим специалистом, но что касается всей команды, работавшей там... погодите-ка, перебил Пол, кем же был этот Хайнц для Терезы? Хайнцем? — он был тем начальником, который её туда заманил, хорошо, переспросил Пол, но кого он туда заманил, Тереза? — да, Тереза, вот о ком я говорю, и, ну, поскольку Хайнц был менеджером по внутреннему аудиту низшего звена, которому люди должны были подчиняться, ответственным за дочерние банки, то... Пол снова подхватил нить разговора: этот Хайнц не был на высшем руководящем уровне, которому должны были подчиняться дочерние банки? — нет, нет, нет, — кивнул другой. — Он был менеджером низшего звена, над ним были ещё двое, понимаете? — а эти двое, кем они руководят? Пол снова перебил вопросом — они руководят людьми, которые находятся на уровень ниже, — последовал ответ.

— то есть, другими словами, те, кто всегда на уровень ниже? — да, совершенно верно, а затем есть высший уровень управления, ответственный за надзор за всем банком — и таким образом они контролируют и итальянскую часть, но только дочерние банки? — да, только дочерние банки, основной банк не входит в сферу их полномочий, да, только те дочерние банки, которые находятся в Европе, ну, теперь — друг Пола провел указательным пальцем по лбу — так вот, случилось вот что: ей не очень понравилась итальянская трудовая этика, это одно, а другое — и этого она раньше не замечала — не в чем было упрекнуть Хайнца с профессиональной точки зрения, но она просто не могла выносить его стиль, его методы, другими словами, он был как, я не знаю, она говорит, что он был как — я бы сама так сказала — женщина лет пятидесяти-шестидесяти, со своими циклами, когда ооо, она может быть очень милой и все такое, а потом она влетает в ярость, и невозможно сказать, когда это будет одно или другое, поэтому они никогда не знают утром, когда он приходит в офис, будет ли он так или иначе, невозможно узнать, его жена является причиной этого, или он сам, его жена сидит дома весь день, они генуэзцы, но живут в Милане, и может быть, он всегда был таким, или он просто стал таким, но как бы то ни было, главное, что она не могла выносить такого стиля, или такого поведения, которое он демонстрировал с ней, у нее были боли в животе, и так далее, и тому подобное, и теперь после всего этого, когда осталось два года с этим разделом в ее контракте, она садится поговорить с ним и говорит ему, что больше не может этого выносить, и тогда он сказал ей, это было в августе прошлого года, не так напрягаться, потому что если бы она могла пойти в

Москва осенью на два месяца, в основном для того, чтобы прояснить конфликты и наладить дела в их московском офисе, к тому времени, как она вернется, его там уже не будет, конечно, это пришлось принять на веру, и конечно, два месяца спустя, когда Тереза вернулась, он все еще был там: он был там, он там, и со всей уверенностью он будет там — о ком вы сейчас говорите? — спросил Пол — Хайнц, ответила его подруга, и она сказала, что определенно не могла этого вынести, она не раз садилась с Хайнцем, и они не могли ничего уладить, иногда он более нормален и склонен понимать, а когда он не более нормален, тогда он просто спорит

— Расскажите мне о другом случае, когда Тереза была расстроена, — перебил ее Пол.

Хорошо, я расскажу вам об одном очень конкретном случае, он поднял левую ладонь, чтобы Пол замолчал, он знал, чего хочет, у него уже был конкретный пример: вот вам, есть внутренний аудит, ну, теперь вам нужно знать, что она уже два месяца в Москве, и в Москве председатель был из тех, кто был там председателем уже тридцать лет, Итальянская коммунистическая партия послала его в Москву, я думаю, ясно, что у него были другие обязанности, он уже старческий маразм, но якобы в хороших отношениях с Путиным, до такой степени, что он посещает его в неформальной обстановке, никто не смеет его трогать, но он ненормальный; теперь вы должны действительно понимать, что он буквально действительно ненормальный, ну, а потом случилось вот что: Тереза была там, и после нескольких объявлений они наняли женщину на должность руководителя внутреннего аудита — Людмилу, или как там ее звали — Тереза сказала, что ее наняли откуда-то еще, она была способной, это было какое-то время

...в октябре или ноябре, в середине месяца, ну, а потом это случилось, когда Тереза вернулась, и выяснилось, что эта дама, как руководитель отдела внутреннего аудита, отвечала за проверку различных подразделений банка, у них был план работы, она его составила, он был утверждён в Генуе, и в плане работы определялось, какие подразделения будут проверяться сотрудниками, и было решено, что закупки тоже должны быть проверены, и их проверили, ну, и вот оказалось, что в ходе закупок какой-то парень что-то купил у поставщика, не получив других предложений, я не знаю, было ли это оборудование или программное обеспечение, то есть какая-то информация... информационные технологии, или какая-то услуга для банка, что-то, что банк использует для своих нужд, и главное, что выяснилось, что был какой-то скандал, то есть они так и не объявили тендер, а в таком случае полагается принять самое выгодное предложение, верно? ну, это не то, что

случилось в этот раз, эта женщина написала об этом отчет, и отчет сначала попал к генеральному директору, а генеральный директор отправил его — потому что он должен был — председателю, ну, и теперь председатель начал бушевать, что это абсурд, и самое главное, он хотел выгнать эту женщину, которая написала отчет, ну теперь это была безвыходная ситуация, с ним невозможно было спорить, потому что было совершенно ясно, что он хотел защитить человека, который организовал эту покупку, ну, после всего этого — но, Пол снова спросил, кто организовал покупку? — мы не знаем, ответил другой —

ну, а какова его должность? — может быть, начальник отдела или что-то в этом роде, — развел руками его друг, — ну, и вот после всего этого Тереза едет в Геную в отдел внутреннего аудита, чтобы рассказать о случившемся и обсудить, что делать дальше, и они говорят, и говорят, что на самом деле эту женщину спасти невозможно, потому что никто не собирается противостоять этому председателю в Москве, потому что этот московский председатель находится под защитой первого или второго по значимости человека в Генуе, который тоже старый хрен, который, если ему позвонить, отдает приказ, и результат всегда тот, что им нужен, но Фортинбрас на это не отреагировал, невозможно было ни понять, ни уследить за тем, о чем говорили два человека на переднем сиденье, и они не проявили никакого интереса к тому, насколько их гость способен следить за их разговором — если он вообще ничего не понял, это тоже хорошо, на самом деле, может быть, было бы даже лучше, если бы он ничего не понял из этой истории или отчета; Фортинбрасу не только не было понятно содержание и смысл этого разговора, но и причина его также ускользнула от него.

— почему друг Пола устроил этот спектакль, и почему именно Пол, и чего он ожидал от Пола — помимо выслушивания этого рассказа, ничего не было ясно, искал ли он совета или имел ли Пол какое-либо отношение к кому-либо из героев этой истории? все это было совершенно неясно, решил Фортинбрас, и вдобавок он едва мог надеяться, что позже он начнет улавливать суть того, о чем они говорили, что тогда это станет более ясным, было очевидно, что вся история — если это действительно была история — была всего лишь облаком неясности в лучшем случае и ничем больше, поэтому Фортинбрас отключился, он не обращал внимания, слова долетали до него с передних сидений, но он просто слышал их и больше не беспокоился об их смысле, они проехали через несколько широких перекрестков, затем добрались до роскошного жилого комплекса, окруженного заборами, с охраной, стоящей у ворот, они свернули, припарковались и поднялись на лифте на девятый этаж в большую квартиру — Фортинбрасу было совершенно неясно, чья это была

— и когда он попытался спросить, Пол с улыбкой подавил в себе слова, давая ему понять, что, ну что ж, это неинтересно, главное, что тебе здесь будет хорошо, можешь расслабиться, принять душ, он дружеским жестом положил руку ему на спину, смотри, и он поднял часы, чтобы проверить, через четыре минуты будет двенадцать часов, скажем, мы вернемся за тобой в два, этого достаточно? конечно, ответил Фортинбрас, я не устал, ну, это фантастика, фантастика и фантастика, Пол улыбнулся ему, потом его оставили одного, он принял душ, завернулся в полотенце и встал возле большого зеркального окна в просторной комнате, состоящей неизвестно почему из совершенно неправильных углов; Он смотрел наружу, но видел только многоквартирные дома жилого комплекса, образующие полукруг, затем сквозь просвет между домами небольшой участок Днепра, он понятия не имел, в каком районе города находится, так какие у тебя планы, спросил его Пол позже, когда он вернулся за ним незадолго до трёх, мои планы, Фортинбрас посмотрел на него растерянно, у меня нет никаких конкретных планов, но если бы я мог что-то выбрать, то больше всего на свете я бы хотел попасть, ну, ты знаешь, в Зону — мы туда не сможем попасть, объяснил Пол, разве что до границы, если ты настаиваешь, потому что, якобы, там слишком высокая радиация, я в это не верю, но, наверное, она время от времени меняется, заключил он и сунул в рот сигарету, но не закурил, а сел, прислонившись к одному из подоконников, и объяснил Фортинбрасу, что, по его мнению, поездка в Зону вообще не стоит того, и не стал отрицать, что это можно было попасть во внутреннюю часть Зоны за сто пятьдесят долларов или что-то в этом роде, но он пренебрежительно махнул рукой, показывая, что это ничего, дело не в деньгах, а в том, что там нечего смотреть, а затем вдруг начал говорить о том, какой Киев действительно красивый, Фортинбрас должен ему поверить: гораздо лучше было бы немного посмотреть Киев; да, ответил Фортинбрас, но прямо сейчас мне очень интересна Зона, потому что я понимаю, — продолжил он тише, — что вам здесь в Киеве не очень интересно, но вы же знаете, я никогда здесь не был, и это пугает — я знаю, что это не для вас

— как радиация распространяется здесь на расстояние до ста километров, это просто... Я понимаю, понимаю, — кивнул Пол с подоконника, — так что мы пойдем посмотрим завтра, без проблем, все в порядке, — сказал он, — но позвольте мне хотя бы показать вам сегодня кое-что в городе, а потом мы пойдем ужинать вечером, хорошо? — широкая улыбка, Фортинбрас кивнул, быстро накинул одежду и

Они уже были внизу в машине, к счастью, тот друг или деловой партнёр там уже не сидел, так что они могли поехать вдвоем, и Фортинбрас был очень рад этому, он даже выразил свою радость, а Поль спокойным голосом ответил, что этот Мюрсель не плохой парень, поверьте мне, я знаю его уже некоторое время, просто это хорошо, у него всегда есть что сказать, и это может немного утомить, но он хороший парень, с ним всё в порядке, они срезали улицы, а потом поехали по широким бульварам, там были ещё необычно широкие перекрёстки, явно они приближались к центру города, сколько ещё до центра, спросил Фортинбрас, всё уже, вы там, ответил Поль, вот рынок, и иногда по выходным я приезжаю сюда за овощами и всем таким, овощами?! Фортинбрас посмотрел на него, и за такими вещами?!

а хозяин, качая головой, только улыбался, но не отвечал, а просто кивал, да, конечно — но вы же здесь едите овощи?! — повторил он, ага, Пол на мгновение повернулся к нему, и в его взгляде было что-то вроде отеческой снисходительности, как же иначе, когда лучшие овощи во всем Киеве находятся прямо здесь — ну, но — никаких «но», Пол отмел возражения Фортинбраса, и тут внезапно перед ними появилась Святая София, и посетитель окончательно онемел, они припарковались неподалеку, но перед тем как посетить церковь, посидели в сербском ресторане, где выпили холодных коктейлей и что-то закусили, затем вошли в тихий двор Святой Софии, там не было никакой толпы, как Фортинбрас себе представлял, по крайней мере здесь, но ее не было, он даже спросил: где они, Пол, где туристы? в этот момент Пол серьезно посмотрел на него, подождал, а затем наконец сказал: они все в Зоне; и они остановились во дворе, Поль пристально посмотрел ему в глаза, а тот посмотрел на Пола, пытаясь понять, шутит ли тот сейчас или нет, но тут Поль рассмеялся, хлопнул друга по спине и сказал: «Ты действительно далеко зашел, Икси, постарайся не воспринимать вещи так серьезно, но что же ему оставалось делать, подумал Фортинбрас, если вещи были серьезными, то не имело значения, насколько они серьезны, они оставались такими же серьезными, и он почти даже сказал это сразу Полу, но затем промолчал, он был немного подавлен странной дерзостью ответа своего друга, и поэтому немного подавленный, он шагнул во внутренние помещения Святой Софии, и не только из-за этой дерзости, но и потому, что в целом — он должен был признаться себе — его друг действительно сильно изменился с последней их встречи, это было не только очевидно

по его внешнему виду — потому что за последние пару лет Поль явно похудел и занимался спортом — можно было почти увидеть контуры его мускулов под плечами пиджака — но были и внутренние изменения, там, во внутренней части Поля, в его характере, в его натуре произошла какая-то большая перемена, в Поле появилось качество, которого он никогда раньше не испытывал, цинизм, Фортинбрас обнаружил в нем некую наглость и он был очень этому не рад, правда не рад, потому что теперь Поль был его единственным другом, и он знал, что в их возрасте других не будет, но что же ему делать, продолжал он думать с этой циничной наглостью, что, спрашивал он себя, глядя на великолепный интерьер церкви, и его мозг снова и снова обдумывал это, он думал об этом и перед фресками, и он думал об этом перед мозаикой, все время понимая, что то, что он видит, ослепительно, но без Поля это ничего не стоит, и вообще без Пол, его верный друг, ничто не имело для него значения, он ходил взад и вперед по мягкому золоту, из которого, как ему казалось, было построено все здание, он полз туда-сюда по маленьким лабиринтам колонн и стен, и с трудом мог отдаться этому беспримерному пространству, вдобавок Пол уже через несколько минут начинал заметно беспокоиться, он — который в прежние времена был способен часами пребывать в таком архитектурном чуде — с нетерпением ждал, когда же они здесь закончат, практически сразу же, как только войдут внутрь, да, теперь это был Пол, больше всего на свете он хотел покончить с этим, вместо прежнего спокойствия в нем вибрировало какое-то всеобщее, беспокойное нетерпение, да, вот что теперь значил для Пола мир, череда вещей, следующих одна за другой, в которой он, Пол, должен был заботиться о каждой отдельной вещи, заботиться о вещах от своего имени, одна за другой по очереди, а затем появлялось следующее, например, он сам и тот факт, что он был здесь, тот факт, что Пол пригласил его в качестве гостя на Украину, и теперь он, Фортинбрас, был тем, о чем нужно было позаботиться, и он этим займется; просто быстрый телефонный звонок, чтобы узнать, в настроении ли он приехать в Киев, этого было достаточно, и билет на самолет уже был там, в его ноутбуке, все произошло так быстро, что не было времени подготовиться, Боже мой, куда я еду, он думал только о том, в какую опасную ситуацию он себя втягивает, и вообще: куда угодно, потому что он не мог даже вынести мысли об опасности, не говоря уже о реальной опасности, опасность была, для

последние десять лет его жизни, основная категория: другими словами, это было то, чего он не мог вытерпеть, он исключил это из своей жизни, освободившись от самых маленьких, самых крошечных опасностей, он вынюхивал их и избегал с большим отрывом, он никогда не предпринимал ничего, в чем можно было бы предположить даже самую маленькую вероятность опасности, он не был параноиком, нет, он был лишь тем, кто чувствовал опасности, которые уже были там, если это было возможно, даже в самом незначительном событии, так что он не просто воображал, что они там были, но он чувствовал — если это вообще было возможно почувствовать — опасности, которые уже присутствовали; и вот именно он, имевший такое отношение к опасным событиям, прибыл сюда по велению Поля, он, чья чрезмерная чувствительность была хорошо известна его друзьям, и прежде всего среди них Полю, поскольку он знал его лучше всех, и вот он находится в непосредственной близости от печально известной Зоны, не намного дальше ста километров, он посмотрел на карту в самолете, я сошёл с ума, куда я иду, Пол что-то говорит, и я вздрагиваю, ладно, так было всегда, но когда-нибудь я действительно за это заплачу, и, может быть, этот день сегодня, вот о чём он думал там, в атмосфере, но потом, когда он сошел с самолета, эти мысли исчезли, потому что он был поглощен тем, что его окружало, и если бы только этот друг или деловой партнёр не был в машине Поля, и если бы только им с Полем не пришлось провести первые часы после его прибытия раздавленными бессвязными рассказами этого парня в костюме Пьера Кардена, вместо того, чтобы оба провести хотя бы первый день вместе и имея возможность поговорить, потому что прошло почти два года с тех пор, как они виделись в последний раз, но какое это теперь имеет значение, подумал Фортинбрас про себя среди густых криволинейных колонн Софии с их темно-золотым мерцанием, вот я сейчас с ним среди этих густых криволинейных колонн с их темно-золотым мерцанием, и святые смотрели на него сверху вниз с мозаик и фресок с роскошного золота, очень проникновенно они смотрели на него сверху вниз, и ему, может быть, из-за этих взглядов, не хотелось побыстрее покончить с этим, как Павел ясно дал понять языком своего тела, ты оставайся здесь, прошептал он ему на ухо, я подожду тебя снаружи, и Павел уже был снаружи, во дворе, но это невозможно, подумал он, это Павел?

и он просто оглянулся на святых на мозаиках и фресках, как будто они могли знать, но они ничего не знали, ничего в целом мире, они просто посмотрели на него проникновенно и просто спросили его: что случилось с прошлым, они уставились на него и спросили его: где оно? —

где же то место, где их душевная природа что-то значила бы, но этого места больше не было, что могло случиться с Полом, с тревогой спрашивал себя Фортинбрас, что же все-таки такое с этой накачанной внешностью атлета, с этим легкомысленным цинизмом, и сердце у него ныло, и София была так прекрасна, но он больше не мог откладывать, ему нужно было преждевременно оставить этих душевных святых в их золотом свете, потому что немые побуждения Пола извне делали его пребывание там совершенно бессмысленным, и он снова сел в машину, и машина скользила дальше, и некоторое время Пол молчал, потом наконец заговорил, и Пол предложил показать ему город; Он поблагодарил его, но в то же время думал, что лучше всего было бы где-нибудь посидеть и обсудить этот вопрос в спокойной обстановке, но, конечно же, нигде не было спокойного места, и, проехав по городу, они сели в кафе, вам понравится, отметил Пол, проходя последние двести метров, и они прошли мимо дома, и табличка на доме сообщала им, что здесь жил Булгаков, и когда он это заметил, ему сразу же захотелось заглянуть внутрь дома, но Пол нетерпеливо отмахнулся, сказав: ой, это неинтересно, оставьте, там нечего смотреть, кафе гораздо интереснее, пойдемте уже, и они пошли дальше, проходя мимо отвратительных уличных художников, вот увидите, продолжал твердить Пол, подбадривая его, это место самое лучшее, но это было не так, просто четыре стены, покрашенные в четыре разных цвета, разукрашенный лепной потолок, австро-венгерский ар-деко столы и стулья, с несколькими более одетыми фигурами у столов, но он, Икси, совершенно не понимал, почему Пол так любил это место, и еще меньше понимал, почему Пол решил, что ему, Икси, оно должно понравиться, почему оно должно понравиться ему, с его дешевой безделушкой для туристов, вот такое это было место, в любом случае, он не хотел гасить энтузиазм своего друга, поэтому сдержанно заметил, что здесь приятно, но тут же снова упомянул дом Булгакова и спросил что-то о Булгакове и Киеве, но Пол лишь посмотрел на него удивленным или, скорее, пустым взглядом, он проглотил свой кофе, он ничего не знал о Булгакове, и вообще Пол ничего ни о чем не знал, его явно интересовали только местные политические и деловые сплетни, и почему — Фортинбрас нарушил его внутреннее молчание — почему бы нам не поговорить о Софии или о Булгакове, он задал этот вопрос Полу, и Пол не скрывал своего негодования, мы уже говорили о Булгакове и мы были в Софии, Пол сказал резко и немного сердито, что делать

вы уже хотите, но что же нашло на Пола? Фортинбрас все более печально спрашивал себя, что, черт возьми, произошло, он смотрел на него, он смотрел ему в глаза, и это были прежние глаза Пола, но все остальное изменилось, этот Пол Верховенски уже не тот человек, который был моим другом, сказал себе Фортинбрас тем вечером в сумерках, и он был подавлен, ты устал, добродушно заметил Пол, когда они направлялись в ресторан, выбранный для ужина, ничего, ничего, он уныло отмахнулся от замечания и просто погрузился в мягкий гул Audi A4, его даже больше не интересовал ни Днепр, ни город, и тем более не выбранный ресторан со всеми этими фирменными блюдами, это лучшее, что вы можете здесь получить, громко сказал Пол, и он заказал одно блюдо за другим, ты устал, повторил он позже, но ты же знаешь, когда ты устал, ты не должен лежать, слушай, и он наклонился ближе к нему, Я отвезу тебя куда-нибудь, хорошо? и где-то в его глазах был лукавый взгляд? Фортинбрас спросил: да, Пол улыбнулся ему, и мы избавимся от этой усталости, и они уже ехали по улицам Киева к окраине, жилые массивы исчезли, и видны были только всё более крупные здания, скрытые огромными заборами, поскольку в темноте хоть что-то можно было разглядеть, затем они остановились у одних ворот, Пол что-то сказал и показал что-то вроде пропуска охраннику, они свернули в огромный парк, затем они оказались внутри здания, которое было чем-то похоже на обезумевший замок, там была огромная толпа, и шум, дым, громкая записанная музыка, но Пол лишь жестом показал ему подождать минутку, мы ещё не там, Фортинбрас последовал за ним, они поднялись куда-то на лифте и вышли в коридор, где стояла полная тишина, и он был настолько пуст, что он действительно подумал, что они не в одном здании, их шаги поглотили толстые ковры, затем Пол нажал кнопку звонка и набрал код на панели рядом с дверью, он показал какая-то карточка с камерой, дверь открылась, они вошли, но тут же появилась ещё одна дверь, как будто они вошли в лифт, но за их спинами первая дверь с громким хлопком закрылась, что-то произошло, но невозможно было сказать, что именно, была небольшая дрожь или что-то ещё, это всё, что они могли почувствовать, затем открылась вторая дверь, и они оказались внутри какой-то маленькой дыры, а напротив них была ещё одна дверь, потом что-то снова произошло, и наконец открылась и эта третья дверь, и Фортинбрас сделал шаг к огромной открытой комнате, но он почувствовал слишком большую тяжесть в своём шаге, да, это было первое, что

что он заметил, что движение здесь стало тяжелым, как будто в этой комнате усилилась гравитация, Пол мягко подтолкнул его вперед, он сделал еще шаг, и понял, что они находятся в аквариуме, Фортинбрас прирос к месту, он не видел аквариум снаружи, но они были, в самом решительном смысле этого слова, внутри аквариума, в этом не было никаких сомнений, но на них не было ни капли воды, вокруг них плавали несколько голых женщин, их длинные светлые волосы развевались позади них, Фортинбрас просто смотрел, затем он посмотрел на Пола, но Пол был так рад видеть Фортинбраса, настолько удивлен, что он ничего не сказал, что будет, то будет, позже он узнает, что это за трюк, он сделал несколько шагов вперед, Пол подгонял его, давай, давай, пошли, и женщины парили рядом с ними и над ними с их ниспадающими светлыми волосами, это было невероятное зрелище, вокруг них стены горели золотом, как и потолок и пол, казалось, что это Все было сделано из золота, все это ослепляло, потому что свет лился откуда-то так ярко, Пол просто стоял в полушаге позади него, наслаждаясь эффектом, а эффект был огромным, так как уже через минуту Фортинбрас не мог говорить, затем к нему подплыла обнаженная женщина в воде, которая вряд ли могла быть водой, она погладила его грудь, затем ее рука скользнула вниз по его животу к его половым органам, это было очень красиво и очень мило, это было так красиво и так мило, что в первый момент Фортинбрас подумал, что это тоже какой-то трюк, как и все здесь было трюком, и это могло быть правдой, Пол нежно взял его за руку и повел к миндалевидному отверстию, ведущему в своего рода пещеру, но там он уже почувствовал присутствие воды у своих ног, она плескалась вокруг его обуви, и все же ничего не намокло, с другой стороны вперед вышли настоящие женщины, и вот они, и они поприветствовали двух мужчин, вы слышите их английский? Он безупречен! Пол воскликнул с энтузиазмом: «Ну же!», он потянул его за собой, «давайте сядем туда», и он подвел его к алому дивану, им подали шампанское и фрукты, но шампанское было не шампанским, фрукты не были фруктами, только женщины были настоящими, они сидели рядом, на них были блестящие, атласные, голубовато-мерцающие купальники, которые подчеркивали их фигуры с невероятной точностью, так что Фортинбрас покраснел, не только из-за их грудей и сосков, но и из-за изгиба их ягодиц, и тайные части их влагалищ были резко и соблазнительно очерчены; и здесь были только тела, тела и соблазн, и предложения, и кошмары, которые вызывали у него

чтобы более или менее понять, где они находятся, да, сказал ему Поль, вот что такое бордель, как ты думаешь, но женщины такие красивые и хорошенькие, Фортинбрас слабо ответил, они никак не могут быть проститутками, но они именно такие, очень даже, попробуй, выбери одну, какая тебе понравится, та и твоя, сказал Поль, не потрудившись понизить голос, и по его дальнейшим подсказкам ему пришлось выбрать одну, все время слушая все более восторженный голос Поля: так что ты скажешь, Икси, ну, что ты на это скажешь, мой старый? и женщина расстегнула его ширинку и забралась к нему на колени, в то время как в то же время другая женщина наклонилась к нему через плечо, касаясь его лица легким, как дыхание, лаская его рот, раскрывая его с игривой силой, и она вложила ему в рот какую-то таблетку, затем он вспомнил, что таблетка была синей, женщина засунула свой язык ему в рот, и этот язык играл у него во рту, разнося таблетку по всему нёбу, но сразу же после этого его мозг почувствовал, как он взрывается, и это было ужасно хорошо, и затем он оказался снаружи в космосе, на сто лет, и в космосе дул легкий ветерок, и повсюду были тысячи и тысячи миллиардов сияющих звезд, и все поднималось куда-то с безумной скоростью, и в то же время он оказался под огромной радугой, состоящей из миллиарда цветов, действительно эта радуга состояла из миллиарда разных цветов, он был полон невыразимого счастья, он был в неизмеримо глубоком пространстве и бесконечная тьма, которая тем не менее светилась, а затем падала, какое-то болезненное головокружение, и наконец просто раскаленный луч света, невыносимый грохот, каждый звук причинял боль, и миллион звуков атаковали его, Поль наклонился над ним, затем сел рядом с ним на кровать, пожалуйста, выключи, выключи, умолял он Пола, на что Поль, смеясь, встал рядом с ним, выключил музыку, и голова у него раскалывалась от невыносимой боли, закрой шторы, умоляю тебя, Поль, умолял он, но я уже задернул все шторы, Поль смеялся, но, по крайней мере, он был там, в квартире, которая была ему знакома, куда они приехали раньше, по крайней мере, Поль был рядом с ним, это было хорошо, но не было хорошо то, что Поль смеялся совсем не так, как раньше, было что-то в его смехе, что причиняло Фортинбрасу боль, поэтому он попросил его: пожалуйста, не смейся, хорошо, сказал Поль, тогда я не буду смеяться, И он засмеялся ещё больше, но взамен ты начинаешь брать себя в руки, потому что через секунду будет девять тридцать, и если ты действительно хочешь идти, нам нужно отправляться прямо сейчас, сказал он. Идти?! Куда?! Фортинбрас приподнялся на локтях.

ну разве ты не хотел в Зону? и было трудно принимать душ, хотя они оба думали, что это поможет, это не помогло, каждая капля воды из душа ударяла его с огромной силой, слушай, Пол время от времени открывал дверь, может быть, вместо этого нам стоит просто отложить это, если ты такой, нет, ни за что, я буду в порядке через секунду, ответил он, и он заставил себя позволить каплям воды из душа падать на него, и он уже вытерся сам, и он сам оделся, как раз когда он спустился к лифту, ему нужна была небольшая поддержка на случай, если он потеряет равновесие, потому что иногда он все еще терял равновесие, это последний симптом, успокоил его Пол, твое равновесие все еще будет искать себя на мгновение, и они уже направились к ближайшему шоссе, на этот раз по внутренней стороне Днепра, мы подберем Мюрселя здесь, Пол вдруг сказал на светофоре, как человек, который принимает все решения в таких вопросах, и он свернул, но сначала Фортинбрас понятия не имел, что это Продолжалось: кто такой этот Мюрсель, и зачем ему нужно было сворачивать, вместо мозга у него была огромная ледяная глыба камня, так что он начал понимать, куда все идет, только когда мельком увидел Мюрселя, о, тот парень из вчерашнего вечера, о нет, что угодно, только не это, это мелькнуло сквозь ледяной камень, но он пробормотал ему что-то в качестве приветствия, я подумал — Пол повернулся к Фортинбрасу — было бы приятнее ехать в компании, не так ли? и уже в передней части машины они пустились во вчерашнюю тему, Пол совершенно не интересовался Зоной, понял Фортинбрас, он живет в ста километрах от нее, и ему это неинтересно, он смотрел на редкое чередование зданий у шоссе: пабы, жилые дома, фермы, магазины, церкви с жестяными крышами — они отправились на север, в сторону Зоны; и Мюрсель, который на этот раз был одет не в Пьера Кардена, а в Черрути, уже был в гуще событий, а именно, что, по его мнению, акционерные общества с долевой собственностью функционировали точно так же, как те огромные предприятия в старую социалистическую эпоху без какого-либо контроля со стороны владельцев, в которых руководство действует как своего рода квазивладелец, а настоящие владельцы, которые в конце концов являются распределенными акционерами, понятия не имеют, что происходит, у них нет никакого представительства на общих собраниях, они говорят им все, что те хотят, в результате чего внутренняя структура, которая, я вам скажу, построена на логике приятелей и друзей, нигде нет роли для экспертизы, абсолютно нет вопроса о том, кто подходит для данной работы, и по сути это

так было и с нами — не злись, Павел Морозов, сказал ему Пол, но параллель была не совсем ясна — всё же, сказал Мюрсель, который на этот раз был в Черрути, и с резкими жестами, знакомыми по вчерашнему дню: он полуобернулся, чтобы поговорить с Полем, который был за рулём: но здесь, видите ли, ситуация снова личная, потому что этот итальянец, этот Фичино оказался здесь, в Киеве, потому что из всех стран, где у Banco Fortas есть дочерние банки, Киев — единственное место, где на должность председателя правления возьмут человека без высшего образования, везде же требуется высшее образование, это определяют местные власти, так что решать Киеву, таковы правила здесь, так по закону для кредитных учреждений, и так должно быть, ничего в этом отношении не изменится, закон о кредитных учреждениях формулирует правила для банков, в том числе человеческие правила игры, ну, и что интересно, так это — только представьте себе, Мюрсель покачал голова — Албания — страна с самыми строгими правилами кредитования и банков, и я это знаю, потому что когда-то давно я был там председателем местного наблюдательного совета, потому что там, в Албании, все делегируется из Генуи, и я был единственным, у кого был клочок пергамента, дающий мне право быть председателем наблюдательного совета, ну, конечно, все произошло не так, но шутка в том, что у меня был единственный пергамент, понимаете, все это шутка, просто шутка, но это не самое интересное, ну, и вот он приехал сюда, в Киев, и заманил сюда еще и меня — кто это теперь? Пол перебил — ну, о ком я говорю, ты не слушаешь, Пол, я говорю об этом Фичино, о ком же еще мне говорить, ну, короче говоря, сначала он был в Тиране, а потом приехал сюда, в Киев, потому что здесь пергамент не нужен, а потом он привез меня сюда, я принял предложение, приехал — а этот Фичино, — снова перебил Пол, — кто он в банке, он председатель, — ответил Мюрсель немного нетерпеливо, — потому что, как я тебе говорил, даже тот, у кого нет пергамента, может быть председателем, и он может приехать сюда... ну, теперь вы должны знать, что эта дочерняя компания была продана за полгода до того, как мы сюда приехали, ранее она была в собственности мэра Киева, она была его и только его, и наверняка они рассчитались с итальянской торговой делегацией и инспекторами, и купили просто одну большую кучу дерьма, потому что качество непогашенных долгов было дерьмом, как бы это сказать, вы знаете, что это значит, и в этом случае семья владельцев имела финансовый интерес в большей части выданного кредита, в этом нет никаких сомнений — Мюрсель развел руками, ну,

как только он оттуда вылез, он должен был знать, что все это — просто одна большая куча дерьма, а именно, что шансы на то, что кредит будет погашен, малы, если не отсутствуют вовсе, перспектива погашения не предвидится или, по крайней мере, не появится в ближайшее время, и большую часть этого долга необходимо оценить, на основании чего необходимо создать определенные резервы для обязательств, которые, по всей вероятности, не будут погашены, понимаете, это ясно, ну, но ведь есть же здесь правила, верно? и непогашенные обязательства и инвестиции должны быть классифицированы — так это делается во всем мире — они оцениваются ежеквартально, но здесь, вы знаете, есть несколько степеней оценки, и для каждой степени классификации есть четыре или пять других классификаций, и для каждой из них, за исключением самой высокой — с которой, соответственно, нет никаких проблем — для каждой степени местное законодательство определяет процент для резервов обязательств, это основные вещи, что я могу сказать, но чтобы ваш друг мог понять, главное — Мюрсель теперь повернулся к Фортинбрасу — главное, чтобы резерв на обязательства брался из прибыли и помещался на особый счет, который не включается в эту прибыль, ну, теперь вы должны знать — он повернулся к Полу — что семья — то есть бывший владелец, или в основном его сын — определенно —

Хотя, конечно, это невозможно доказать окончательно — заплатили этому парню, этому Фичино, за бесценок, а именно, его пригласили покататься на их личной яхте по Днепру, его приглашали на вечеринки к ним домой, на приемы и тому подобное, и, возможно, они ему что-то дали, в результате чего Фичино начал отдавать предпочтение этой семье, особенно сыну этой семьи, и это предпочтение означало, что у семьи были деньги здесь на депозитах, и они приносили гораздо больший доход, чем обычные процентные ставки, ну, вы понимаете, и теперь отношения между мной и этим председателем начали быстро ухудшаться — он снова повернулся к Фортинбрасу — поскольку я в этой ситуации своего рода менеджер, но просто чтобы внести ясность, в принципе управлять банком должен генеральный директор, а не председатель, потому что он тот, кто управляет местом, и председатель даже не должен вмешиваться в работу банка, но этот парень, Фичино, вмешался, и он вмешался, потому что он итальянец, и банк итальянец, а генеральный директор — украинец, который боится итальянцев, но не меня, конечно; но моя собственная позиция довольно особенная, потому что обычно я подчиняюсь не менеджеру, а непосредственно генеральному директору, я отвечаю за казну, как вы знаете, другими словами, за распределение ресурсов, и я всегда спрашиваю

для — или, если говорить проще, заказа — письменного оформления каждого устного запроса, который приходит ко мне от итальянцев — ну, Фичино сделал целую кучу вещей, которые в основном были выгодны членам семьи бывшего владельца, хм, и были еще вещи, и в каждом случае, когда я просил, чтобы это было в виде письменного запроса, ну, его тактика была в том, что он всегда делал то, что хотел сделать, а потом кто-то другой брал на себя вину, а затем он кричал, что этот идиот облажался, ну, теперь, однако, за всем был бумажный след, и поэтому он больше не мог так делать, ну, и, по сути, я был тем, кто получал по шее, когда следовал этой процедуре каждый раз, на что я мог отмахнуться, но он этого не делал, вместо этого он постоянно злился, и он все больше и больше настраивался против меня, и когда он настраивался против меня, я тоже был вынужден реагировать, и его позиция становилась все более и более укоренившейся... кто это теперь, задал Фортинбрас вопрос, но только самому себе, потому что его еще меньше интересовала эта история, если это вообще возможно, из которой он не понимал и половины, потому что он лишь изредка обращал на нее внимание, иногда просто улавливая отдельные слова, так что это было трудно, ему было неинтересно, история наскучила ему, более того, через некоторое время, в плотном потоке машин, к тому времени, как они выехали из Киева, он уже чувствовал к ней отвращение и старался не допустить, чтобы слова Мюрзеля достигли его сознания, он смотрел на дорогу перед ними, обсаженную то ли березами, то ли буками, он не знал, какими именно, он не знал, деревьями, может быть, это были березы, и он смотрел на дома, теперь редко появлявшиеся вдоль дороги, и на придорожных торговцев: их было много некоторое время после того, как они выехали из Киева, потом и они стали все реже, они продавали огурцы, салат, картофель и помидоры на коврах, расстеленных на земле, мои Боже, огурцы, салат, картофель, помидоры?! — У тебя есть счётчик Гейгера? — вдруг спросил он Пауля по-датски, перебивая Мюрсель. — Что? Пауль откинул голову назад. Счётчик Гейгера, — с нажимом повторил Фортинбрас, всё ещё на их общем языке. — Зачем он мне? Пауль нахмурился и быстро повернулся в сторону, куда они шли, потому что чувствовал, что слишком долго удерживал взгляд Фортинбраса, они вот-вот во что-то врежутся, и всё это время Мюрсель ничего не понимал. Он смотрел на Пауля, а тот — на Фортинбраса, пытаясь понять, что происходит. Но пауза длилась недолго, он не выдержал слишком долгой для него паузы и уже снова начал рассказывать, но Фортинбрас решил, что с этого момента вообще не будет его слушать, не будет...

даже слово, он почувствовал себя обиженным реакцией Поля, и тем фактом, что Полю даже в голову не пришло, что то, что ему, очевидно, казалось излишней предосторожностью, кому-то другому, например ему, Фортинбрасу, едва ли было излишним, и что нет ничего яснее того, что если кто-то направляется к какой-то опасности — пусть даже добровольно, как сейчас — то, по крайней мере, следует принять самые минимальные меры предосторожности, потому что они направляются к опасности сейчас, на этом шоссе с редкими торговцами овощами, разбросанными по его обочине, более угрожающей, чем самая смертельная опасность, и Фортинбрас в этот момент в машине Поля не хотел объяснять, почему он упорно приближается к этой угрозе, он не хотел, потому что знал, что желает этого, и хотя его собственное желание тщетно отталкивало его, он хотел быть там, потому что то, что он чувствовал, было чем-то, что было в нем сильнее природы, или, может быть, это был преувеличенный страх перед всем, что было страшно, и это было его желанием, его желанием: как-то приблизиться к той силе, которой никогда не было и никогда не будет ничего более грозного, потому что это было единственное, что человек начал и не смог остановить, — так вот, тебе нужен счетчик Гейгера, — перебил Пауль Мюрсель и снова повернулся к заднему сиденью, — в самом деле, почему ты этого не сказал, почему тебя так интересует Зона, какого чёрта тебе там нужно, — Пауль снова повернулся к переднему сиденью, и он казался немного взволнованным, но в самом деле, расскажи нам уже, — продолжил он, — что же тебя, чёрт возьми, так интересует, что ты хочешь пойти туда, куда никто другой не хочет идти, куда никто никогда не хотел идти, чтобы вот так погрязнуть в катастрофе, я ведь тебя не так знаю, Икси, — Пауль понизил голос и скривился, словно сожалея, Фортинбрас увидел его взгляд в зеркале, и тут он понял, что ему жаль, сказал он себе, наверняка ему жаль, и поэтому он Тихо, Фортинбрас молчал, и некоторое время никто ничего не говорил, даже Мюрсель понадобилось время, чтобы понять, что лучше всего ему заговорить и нарушить молчание, потому что это молчание не предвещало ничего хорошего, всё обещало быть таким веселым, взять этого странного персонажа в Зону, взять этого человека с более чем странным именем, отметил про себя Мюрсель и, снова обретя голос, сказал: он подставил меня, он просто не дал мне премию, заявив, что в казне убытки, но это было неправдой, потому что весь банк в прошлом году нёс убытки, Мюрсель повысил голос, ну, а потом в декабре случилось то, что случилось — и тут Мюрсель для пущего эффекта выдержал небольшую паузу, но Пауль просто пристально смотрел на дорогу, в

сзади их гость смотрел на дорогу так же пристально, как обычно смотрят люди в машине, все смотрят на дорогу, и он тоже смотрел на дорогу, Мюрсель подумал про себя, что если кто-то сидит в движущемся транспорте, ему больше ничего не остается, как смотреть на дорогу впереди, хотя можно было бы смотреть, например, на пейзаж сбоку, если пейзаж интересный, а здесь нет, все равно можно было бы смотреть, Мюрсель продолжал свой монолог — да, когда это случилось в декабре — но на самом деле все началось за полгода до этого, с проблем с ликвидностью в банке, и это было вызвано, среди прочего, тем, что уставный капитал был слишком мал, его должен был собрать головной филиал, а итальянцам эта идея не понравилась, никому не понравилась, и они не собирались привлекать уставный капитал, тем более в дочерней компании, и вот появляется Фичино, который — я не знаю точно, в чем заключалась сделка — перевел деньги семьи там через какой-то банк, но с дополнительными процентами, вполне вероятно, что Фичино обещал сыну эти дополнительные проценты ранее, 10 процентов на доллар, если быть точным, что довольно много, верно, и теперь вмешиваюсь я, потому что не был готов платить эти сверхвысокие проценты, а именно я попросил Фичино письменно зафиксировать, что проценты по этой сделке будут такими высокими, и это произошло шесть месяцев назад, и это было выполнено с датой расторжения через один год, так что деньги будут с нами в течение одного года, и в то же время в декабре итальянцы в Генуе решили, что они все-таки увеличат учредительный капитал, и, конечно, Фичино из кожи вон лез, чтобы что-то подобное произошло, что-то столь критическое, потому что тогда могли бы возникнуть огромные проблемы, если бы выяснилось, что вот эти 10 процентов дополнительных процентов по этим деньгам, поэтому он хотел избавиться от этого, но все же — г-н Эртас, сказал Пол, о каких суммах идет речь, не могли бы вы мне дать представление, чтобы я имел представление, ну, Мюрсель медленно покачал головой и начал слегка надувать губы, ну, представь, что это около десяти... Пол резко взглянул на него — вернее, Мюрсель провел указательным пальцем по лбу — что-то вроде, э-э, суммы в сто миллионов долларов, ну, что-то в этом роде, сейчас это неважно, главное, что в декабре Фичино приказали аннулировать дополнительные проценты семьи, но еще не было решено, будет ли это тактическим ходом, и они восстановят его 31 декабря, и деньги снова будут востребованы, или это было окончательно, никто не знал, и поэтому Фичино и его люди маневрировали, и в этом была проблема, потому что по закону

обязательные резервы, которые данный банк должен сделать на основе иностранных источников, другими словами для центрального банка это вопрос депозита как гарантии на данную сумму, ну, теперь вы также очень хорошо знаете, если вы хоть немного знакомы с макроэкономикой и теорией, что для каждого депозита процент будет разным, и теперь никто не мог решить, должен ли он быть действителен в течение полугода или целого года, и Фичино и его команда рассчитывали, что это будет переходным моментом, соответственно, на полгода, но со временем выяснилось, что это невозможно, потому что это могло быть только на один год — нет, я ошибаюсь, они рассчитывали на один год, а это могло быть только на полгода, и из-за этого у них было меньше резервов, чем им следовало; В таких случаях обычно центральный банк налагает штраф, и тут Фичино начал впадать в истерику, говоря, что произошла ошибка, что всё было сделано наспех, расчёты были неверными и так далее, а именно он говорил о казначействе, ну, я утверждал, что это неправда: я не делал никаких ошибок, и мы не делали никаких ошибок, потому что я сказал ему, Фичино: вы сказали, прямо здесь, в этой комнате, что это была за информация, это был разговор, который я слышал, и, конечно, Фичино был недоволен, они начали расследовать, кто был ответственен, начались препирательства, внутренние проверки, и Фичино пытался всеми возможными способами очернить меня, но я был тут как тут со всеми письменными приказами, а также с регламентом, гласящим, что это не моя ответственность, а ответственность бэк-офиса, но сам бэк-офис вряд ли мог нести полную ответственность, потому что если у них не было информации, а у них её не было, то бэк-офис не мог решить, что делать или чего не делать, в любом случае Дела Фичино шли совсем плохо, и поэтому он решил, что, поскольку все дело было нечистым, он отделит часть банка, которая занимается этими депозитами, от казначейства и перенесет ее в бэк-офис, чтобы ничего подобного не случалось в будущем. Это абсурдно, потому что это подразделение понятия не имело бы, какая это информация, так что проблема не была бы решена, потому что правильным решением было бы, чтобы казначейство функционировало двумя частями, координируясь друг с другом. Другими словами, было много напряжения, и оно продолжается даже сейчас, и теперь я хочу уйти оттуда, на самом деле это секрет полишинеля, что я хочу уйти, но я не знаю, что вы можете сказать по этому поводу, и Мюрсель повернулся к Полу, и он молчал, и он ждал, что Пол что-то скажет, но Пол ничего не сказал, и Фортинбрас был убежден, что это потому, что он тоже не обращал никакого внимания и даже не заботился о том, что Мюрсель был

ожидая его ответа и что это потому, что он думает о нём, Фортинбрасе, и ситуация становится неловкой, я был бы так счастлив выскочить из этой машины, подумал Фортинбрас, я бы выскочил и уничтожил тот факт, что я здесь, он чувствовал, что Поль понял, что между ними что-то изменилось, и именно об этом он думал, а не об истории Мюрселя, которая, вероятно, была ему не интереснее, чем его гостю здесь, на заднем сиденье, Мюрсель продолжал молчать, и, может быть, теперь он только понял, что его история на самом деле никого здесь не взволновала, Мюрсель оглянулся, и этот взгляд был явно полон ярости, и он бросил взгляд в сторону, на Поля, и этот взгляд был явно полон обиды, Audi A4 тихо гудела, здесь нельзя ехать быстрее, сказал Поль самым дружелюбным голосом, здесь так много полицейских, они затаились, мы нельзя рисковать, это нормально? И Пол снова обернулся, посмотрел на Фортинбраса и улыбнулся ему; и это всё, что потребовалось Полу, чтобы взять себя в руки, Полу всегда требовалось всего двадцать секунд, чтобы прийти в себя, и эта милая улыбка снова появилась на его лице, та улыбка, которую так любил Фортинбрас, и теперь он был благодарен за неё, пусть даже она была неискренней, он был благодарен Полу за то, что не произошло разрыва, он этого не хотел, и он улыбнулся в ответ, и с этим между ними возникло очень важное согласие, и именно так началась их дружба, когда они оба ещё были в Венгрии, когда они оба пошли донимать заместителя начальника отдела в Министерстве: Фортинбрас искал финансовую поддержку для датско-венгерской выставки в своей галерее, а Полу тоже нужно было финансирование чего-то в его банке от этого заместителя начальника отдела, и они потеплели друг к другу, два иностранца среди диких пастухов, потом оказалось, что на такие культурные мероприятия выделяется только одна сумма денег, и из двух проектов только один может получить эту сумму, и тогда Пол подошёл к нему, и эта улыбка была на его лицо, поскольку он позволил деньгам пойти на проект галереи, и вот как они это устроили, и, конечно, он, Фортинбрас, отплатил ему той же монетой, как только смог, так что они встречались друг с другом все чаще, и они расстались как неразлучные хорошие друзья, а затем на протяжении многих лет они навещали друг друга, и Пол сказал, что он никогда бы не поверил, что в его возрасте он все еще сможет найти настоящего друга, и Фортинбрас также признался, что ситуация с ним была точно такой же, он считал немыслимым, что он сможет найти такого глубокого и настоящего друга в ком-либо, и все это начало разрываться

вчера и сегодня порознь, вплоть до этого момента, но теперь всё разрешилось, то есть Поль снова разрешил это, он был так благодарен ему там, на заднем сиденье, что даже не знал, что делать, и чтобы снова не беспокоить Мюрселя, который пришёл в себя и объяснил несколько тонких моментов из истории, — почти незаметно он потянулся к переднему сиденью и нежно похлопал Поля по плечу, совсем легко, как дуновение, и Поль не повернул к нему головы, но на секунду чуть-чуть повернулся, и Фортинбрас почувствовал, что принял это примирение с благодарностью, более того, он принял этот тонкий знак извинения, и ничто больше не разлучит их, только эти странные обстоятельства иногда беспокоили их, и, может быть, единственной причиной беспокойства была его собственная чрезмерная чувствительность, подумал Фортинбрас, и он покаянно посмотрел на дорогу перед ними, сквозь лобовое стекло между головами Поля и Мюрсель, дорога перед ними, ведущая к Зоне, дорога, на которой больше не видно было ни одного торговца овощами, дорога была обсажена березами или буками — думаю, подумал Фортинбрас, это березы.

ADROPOFW AT ER

Круг, который он, должно быть, сам нарисовал белым порошком на тротуаре, затем он, должно быть, шагнул в середину круга, подпрыгнул в воздухе в стойку на руках, а затем, уперевшись ступнями ног в стену, удержал равновесие, перенёс вес на одну руку, правую, освободив тем самым левую, и с тех пор он стоит здесь, опираясь только на одну руку, а другой рукой, должно быть, начал так, и так и остаётся, кто знает, сколько времени он стоит здесь, опираясь на эту руку, а другой, левой, двигая только этой рукой от запястья, левой, он жестикулирует, указывает, общается, ибо это, очевидно, знаки, сообщения, слова языка, которого никто, кроме него, не понимает, сжимая кончики пальцев вместе, а затем внезапно раздвигая их так, что они разлетаются в стороны, затем он начинает всё сначала и продолжает так несколько минут подряд, или же вращает левой рукой от запястья вправо, а затем ещё раз вправо, или сжимает кулак, затем открывает ее, закрывает, открывает, снова закрывает и, наконец, очень медленно поворачивает ее еще раз справа налево, но никогда слева направо, так что создается впечатление, что он способен полностью повернуть эту руку в одном направлении; или же он вытягивает указательный и мизинец, поджав под них средний и безымянный пальцы, одновременно отгибая большой палец почти до конца назад, — кажущееся бесконечным разнообразие положений пальцев и ладони, и все это время он стоит вверх ногами, на одной руке, сколько часов? сколько часов уже? — его ноги в воздухе слегка согнуты в коленях, ступни упираются в стену, хотя даже при этом он может слегка покачиваться время от времени, но никто из тех, кто его окружает, ни один турист или паломник, не может выдержать смотреть, пока он не рухнет, пока он больше не сможет это выдерживать и не рухнет на тротуар в середине круга, сделанного из порошкообразного пигмента, потому что он может выдержать это дольше, чем любой, кто остановится, чтобы поглазеть, стоя на одной руке, он может выдержать это дольше, чем кто-либо, его сальная белая борода настолько густая, что вверх ногами она едва загибается назад к его рту и носу, но его длинные, густые и роскошные белые волосы ниспадают

в дредах к земле, и время от времени эти узлы колышутся на слабом ветерке, только эта сальная борода, и дреды, и два свисающих конца его пурпурной набедренной повязки колышутся временами на этом слабом ветерке, в то время как его глаза открыты и не мигают, и он стоит на одной руке и неустанно посылает знаки в середину круга, сделанного из посыпанного белого порошка, и никто не может дождаться, пока его тело упадет, пока эта рука не устанет, невероятно, туристы и паломники бормочут, это невозможно, говорит худая европейская женщина, почему бы кому-нибудь не снять его и не поставить на ноги, сделайте что-нибудь ради бога, она больше не может смотреть, ее спутник наконец уводит ее, а наш мужчина продолжает стоять на правой руке здесь, у Маникарника Гхата, продолжая левой рукой на языке, которого никто не понимает, рядом с ним его кожа серая, но эта кожа когда-то давно, вероятно, была черной, теперь она серая, как будто покрытая цементной пылью, и она покрыта во многих местах гноящимися язвами, его ноги, хобот, руки, плечи не имеют плоти, только эта кожа, он сидит у ног гигантских слонов храма Аннапурны и не делает ничего другого, как смотрит на прохожих огромными горящими глазами, его левый большой и указательный пальцы щиплют эту пергаментную кожу на кости его правого плеча, показывая, что там нет плоти, а затем он расправляет руки и протягивает их вперед, его ладони вытянуты, в надежде, что кто-то сжалится и бросит ему рупию или хотя бы несколько пайсов, но никто этого не делает, поэтому он снова щиплет кожу на правом плече, щиплет ее и левым большим и указательным пальцами оттягивает ее, глядя на прохожих этими необычайными, пылающими, огромными глазами, чтобы показать, что вот, посмотрите, у него нет ни унции плоти на теле, затем он протягивает обе ладони вперед, может быть, кто-то бросит ему рупию или хотя бы несколько пайсы, но никто не делает этого, тем временем рядом с его истощенным телом музыка ревет из кассетного магнитофона, мужской голос, голос Бабы Сехгала, говорит «Мемсааб, о Мемсааб», и он снова щипает кожу, чтобы показать, что у него нет ни унции плоти на теле, протягивает обе ладони, может быть, кто-то бросит ему рупию или хотя бы несколько пайс, но никто не делает, музыка рядом с ним ревет, «Мемсааб, о Мемсааб», Баба Сехгал ревет из того видавшего виды магнитофона у ног гигантских слонов, ужасающие толпы толпятся на улице, все спешат, у всех есть какие-то срочные дела, тысячелетиями у них были срочные дела каждое мгновение, но тем временем мужчины и женщины — группа здесь и группа там

— останавливаться, чтобы обсудить глубоко поглощающие вещи, одну за другой, внезапно

находя время в этом огромном лесу людей, мужчины прогуливаются, держась за руки, тук-туки проносятся через невообразимо перегруженные перекрестки, пять или шесть тук-туков одновременно с разных направлений, в то же время, когда такси и рикши проносятся по ним, затем коровы, собаки и огромная толпа людей, никто не сталкивается с другим, что невозможно, потому что, по сути, люди нападают друг на друга на перекрестках, но все остаются невредимыми, когда достигают другой стороны, и так продолжается жизнь в течение каждой минуты дня, потому что перекрестки тоже противоречат всем рациональным ожиданиям; В непосредственной близости от храма Бхарат Мата, вокруг необычайно широкого ствола баньяна с его бледно-серой гладкой корой и необычайно сложной сетью воздушных корней, очень старая женщина в сари цвета шафрана кружится, вытянув руки, размахивая ими вверх и вниз и подталкивая себя, словно имитируя полет, она кружит и кружит вокруг баньяна, не произнося ни слова, ее глаза закрыты, но она не ошибается, ее движения так уверены, как будто она кружит здесь тысячелетиями, и, возможно, так оно и есть, ее руки хлопают, словно крылья птицы, ее тело покачивается, затем она открывает глаза, и теперь видно, что эти глаза ничего не содержат, это пустые, высохшие глазницы с действующими веками, темными, морщинистыми впадинами вместо глаз, сари цвета шафрана колышется влево и вправо, и она кружится, кружится без устали, ее руки поднимаются и опускаются, густые листья баньяна Воздушные корни выступают из ствола над землей, и, скручиваясь и вращаясь вокруг своей оси, эти устрашающие воздушные корни достигают всей длины вниз, чтобы исчезнуть в земле и укрепить баньян, который цепляется за землю с кажущейся сверхъестественной силой, но невозможно сказать, просто ли он укрепляется и поддерживает себя здесь, рядом с Бхарат Мата, или же это дерево скрепляет землю с помощью этих призрачных, змеевидных, гигантских воздушных корней, не давая земле прогибаться и обрушиваться, открывая сорок ступеней к Яме Шеша, как ее здесь называют, подходу к нижним мирам; Одна ленивая волна Ганга плещется о берег реки и лениво тает в нескольких сотнях метров за Асси Гхатом, на четвертом большом изгибе ужасного гнилого канализационного канала, носящего то же название — Асси Гхат, — недалеко от храма Дурги, во дворе Дома Умирающих, сидят и лежат на солнце древние старики, кто-то более или менее очистил двор от сорняков, разваливающиеся монастыри окружают двор, как бы укрывая их, этих сорока с лишним стариков, которые, судя по их виду, должны были приехать сюда в основном из Мегхалаи,

Западная Бенгалия, Бихар и Уттар-Прадеш, чтобы переждать здесь, пока смерть не унесет их, утром им дают какую-то жидкую кашу, но не все из них хотят даже этого, потому что есть некоторые, которые отказываются принимать какую-либо пищу, позволяя смерти прийти гораздо скорее, они не разговаривают друг с другом, каждый сосредоточен только на своем месте, сидя или лежа, сосредоточен на теле, которое все еще принадлежит ему, они сидят или лежат, ожидая с утра до ночи, и с ночи до утра, ожидая долгожданной смерти, их глаза больше ничего не говорят, они просто смотрят перед собой, но без малейшей горечи, грусти или отчаяния, меньше всего страха, на этих морщинистых лицах, вместо этого в каждой черте царит мир, мир внутри этих людей, и вокруг них, мир и покой, даже если он не непрерывен, поскольку внешние шумы с улицы и вдоль канализационного канала естественным образом проникают внутрь, иногда резкий крик или автомобильный гудок или звуки музыки, но здесь ничего, нет Телевизор, никакого радио, никакого кассетного проигрывателя, только покой и ожидание, должно быть, прошли недели, и так пройдут недели, пока один за другим, сидя или лёжа, эти люди не упадут навсегда, не упадут и не растянутся, чтобы их унесли сотрудники, неприкасаемые, ответственные за сжигание трупов, они быстро заворачивают тело в саван и уже бегут с телом, освобождённым от души, к кремационным гхатам, в то время как духовой оркестр, одетый в самые яркие цвета, какие только можно себе представить, приближается по дороге Раджи сэра Мотиканда, медленно направляясь к Маулвибагу, и музыканты не создают впечатления оркестра, поскольку каждый из них, кажется, даёт частный концерт, временами полностью расходясь, так что тромбонист никак не мог бы услышать ноты, которые играет трубач, настолько они далеки друг от друга, можно было бы подумать, что поэтому музыка тоже распадётся, но нет, оркестр играет в идеальном унисон, без малейшего сбоя в ритме или гармонии, это непостижимо как они это делают, возможно, объяснение кроется в логотипах Sewak на их причудливых головных уборах, но никто не удосуживается искать объяснения, очевидно, в этом нет необходимости, здесь много местных жителей и много паломников, также много коров и собак, уличные мальчишки бегают туда-сюда, они, кажется, находятся в состоянии, близком к экстазу, и изрядное количество туристов с фотоаппаратами, висящими на шее, и примерно столько же крыс (другими словами, их полчища), уличные мальчишки следуют за музыкантами с обеих сторон, флейтисты, барабанщики, валторнисты, тубисты, и, конечно же, трубачи и тромбонисты, последние, очевидно, любимцы уличных мальчишек, иногда тромбонист поворачивается

к ним, чтобы выдуть ноту, даже тыкая кого-то кончиком затвора, провоцируя бегство под громкие визги восторга, они играют музыку британского военного оркестра, «Британские гренадеры», в одном бесконечном повторе, пока они продвигаются по всей длине дороги Раджи сэра Мотичанда в направлении Маулвибага, но за ними не следует украшенная машина, везущая какую-нибудь невесту или жениха, или карнавальная платформа с возведенным на трон махараджей, ни свадьба, ни шествие, ни похороны, ни праздник, ничего из этого, они просто продолжают маршировать и неустанно громыхать «Британских гренадеров» для местных жителей, паломников, туристов, крыс, уличных мальчишек, коров, собак и продавцов, которые стоят у входов в свои магазины, впитывая все это, пока, к этому времени около Маулвибага, этот необычный оркестр с его неизвестным предназначением внезапно не распадается все сразу, как будто они перестали играть по какому-то заранее условленному сигналу, они мгновенно опускают свои инструменты, Однако они не отправляются всем скопом в одном направлении, а каждый музыкант идёт своим путём, куда ему вздумается, в своей дорогой, красочной, с бахромой и медалями форме, один идёт туда, другой туда, на самом деле они разбегаются во все стороны, как будто это нормальный ход событий, и, возможно, так оно и есть, потому что никто не удивляется, все принимают это во внимание, местные жители и паломники, уличные мальчишки и торговцы, туристы, а также крысы, и все они продолжают с того места, на котором остановились, мелодия «Британских гренадеров» не затихает сразу, но примерно на полминуты она затихает в воздухе над дорогой Раджи сэра Мотичанда, и только после этого уличный гомон снова властвует над городом, и этот гомон вспыхивает снова, как пламя, и действительно, это просто злокачественный пожар, который ничто не может потушить, ничто не может утихнуть, рядом с мчащимися автомобилями, уличными философами, распространителями листовок и гудящими заросли кабелей, пересекающие воздух, великие звезды поп-музыки Болливуда орут из радиоприемников, телевизоров, даже из громкоговорителей, установленных на тук-туках, они орут: « Я горю на вечном костре». любовь к тебе, и в этом лесном пожаре звуков он приходит к решению, что он должен уйти, потому что он здесь в смертельной опасности, требующей не только определенных мер безопасности, не только повышенного уровня внимания, но и осознания того, что он должен немедленно бежать отсюда, возможно, лучшим выходом было бы осторожно отступать, отступая шаг за шагом, пятясь от этого места, в результате чего он непременно должен покинуть город, он должен прямо сейчас сделать первые шаги к этой цели, к этому моменту он как тетива, натянутая до точки, которая вот-вот лопнет, и поэтому, напрягшись, он сейчас смотрит на рюкзак

лежа среди своих вещей на неописуемо грязной кровати, думая, что по крайней мере этот рюкзак должен быть готов, когда наступит момент, рюкзак должен быть упакован и готов к отправке, чтобы избежать любой ненужной задержки, когда ему придется уходить, тем временем, как бы ни был великий вопрос, когда наступит этот момент отъезда, он знает, что это жизненно важно, правильное решение, принятое в нужное время, правильный выбор увертюры либо к осторожному соскальзыванию, либо к безудержному полету на самой большой мыслимой скорости, потому что если он ошибется в расчетах, то потеряет свой единственный шанс найти этот просвет среди миллиардов вещей, просвет для него, потому что среди миллиардов вещей эта одна реальность потрясает разум, фактически заставляет разум остановиться, его разум, по крайней мере, делая его второстепенным персонажем в кошмаре, который не имеет никакого смысла ни в своей совокупности, ни в своих частях, поэтому так трудно, почти невозможно, выбрать правильное время, более того, самая большая проблема заключается в том, чтобы не знать, есть ли вообще правильный момент, а не просто кажущийся бесконечным лабиринт неправильных моментов, в котором он должен блуждать и неизбежно сбиваться с пути, невыносимая мысль, так что через некоторое время ему, очевидно, придется выбрать другой, что приведет к выбору еще одного момента, и, конечно, это не будет правильным, но он случайно его выбрал, то есть теперь у него остается всего шестьдесят шесть шагов, потому что его затопчет бешеная корова, его переедет тук-тук, ему на голову упадет огромный кусок каменной кладки из окна священной башни, как будто по чистой случайности, несчастный случай, что-то в этом роде, но нет, они могли бы также ударить его ножом в почку сзади в храме Вишванатха, или подставить ему подножку в переулке на ступенях, ведущих к Кедар Гхату, или повалить его на землю около Санскритского университета, не для того, чтобы ограбить его, а чтобы выколоть ему левый глаз гигантским шипом, почему-то только левый глаз, а затем — опять же, по какой-то неизвестной причине — они могли бы ударить его по голове, чтобы мякоть с большой дубинкой, выкрашенной в красный цвет, другими словами, разделаться с ним, а затем вместо того, чтобы бросить его в священную реку, оставить его на огромной свалке, простирающейся с северо-запада на северо-восток мимо большой станции Варанаси-Джанкшен, бросить его на вершину самой большой кучи мусора, вот и все, а затем прилетят гигантские стервятники, дикие собаки, петухи, нищие, крысы и дети, чтобы сожрать его по частям, пока не останется ни клочка плоти, поскольку солнце сейчас садится над Гангом, он может видеть по свету, падающему на стены здания напротив отеля

— отель?! — как этот свет постепенно уходит из мира,

став темно-оранжевым, после чего он становится как кровь — густая, свинцовая, липкая и грязная, — поскольку он светится над всем этим мусором, это сумерки Варанаси, и они случаются дважды в день, один раз утром, когда появляется свет, и один раз вечером, когда он уходит, это единственное место в мире, где все это нужно объяснять, потому что утро здесь как будто оно единственное в своем роде, и вечер тоже, как будто не будет никаких других утр, или вечеров, потому что так устроен этот город, как будто каждое из его зловонных мгновений намекает, что у него всего один день, после которого ничто не останется на месте, все будет сметено этим единственным вечером, сметено закатом, который в Варанаси может случиться только один раз, потому что свет сюда никогда не вернется, это то, что излучает каждый переулок и в каждом переулке каждая смутно очерченная фигура, и каждая крошечная звезда, виднеющаяся на усталом закате, отраженная в тусклых глазах каждой фигуры, и так было каждый благословенный день на протяжении тысячелетий, десятков и сотен тысяч лет, каждый день кажется невозможным, что наступит другой день, и, возможно, другого дня действительно нет, только этот единственный день, или даже не этот, что равнозначно тому, что сейчас в его трепещущем мозгу, и то же самое справедливо в этом мозгу относительно историй, они тоже изрядно напугали его мозг, ибо напрасно может быть десять, сто, миллиард историй день за днем в этом безумном аду, в тот единственный день, или даже не тогда, напрасно то или это случается и продолжает происходить десять, сто, миллиард раз в переулках и на главных перекрестках, в этот единственный день, или даже не тогда, как будто среди всех этих историй только одна была правдой, или даже не одна, так что последовательность дней, следующих друг за другом, или стопка историй, возвышающихся одна над другой: ни одна из них не выдерживает критики, ни одна не существует, на них нельзя положиться, ни на что нельзя положиться, здесь все работает под эгидой буйного безумия, хотя и не по команде сверху или снизу, а потому, что каждый элемент существования безумен сам по себе, неистовствует исключительно сам по себе, пока не закончится, вещи в Варанаси не ссылаются ни на что иное, кроме себя, расположенные бок о бок в этом безумии, но не воспламеняя некий большой пожар безумия, ибо на самом деле каждая вещь обладает своим собственным индивидуальным безумием; он стоит у окна, прислонившись одним плечом к стене, защищенный занавеской из искусственной кожи, украшенной мотивами гигантских розеток, так что никто не может заметить его с улицы, в то время как через щель он может наблюдать за тем, что происходит внизу, он стоит там, прислонившись

к невыразимо грязной стене, глядя на улицу внизу, затем на грязную кровать с рюкзаком на ней, и, наконец, он видит себя с рюкзаком за спиной, проявляя величайшую осторожность, он сначала приоткрывает дверь, чтобы заглянуть, а затем выскальзывает, на цыпочках спускается по лестнице, не заплатив, он скользит мимо розового стола из цельного литого пластика, покоящегося на огромных слоновьих ногах, имитирующего несуществующий дворец или храм, представляющего собой стойку регистрации теперь совершенно пустого отеля, затем он выходит на улицу и уходит, сворачивая в первый попавшийся поворот, затем еще раз — заметьте, не четыре раза, и не всегда направо, или всегда налево, это то, что сирена кричит у него в голове, не один и тот же поворот четыре раза, потому что тогда я возвращаюсь туда, откуда начал, думает он в ужасе, и они найдут меня, конечно, они должны знать, что я задумал, это точно, они все это время знали, что он пытался сделать, позволив ему покинуть гостиничный номер, позволяя ему проскользнуть мимо стойки регистрации без оплаты, у них, очевидно, должен быть способ следовать за ним наверняка, как смерть, когда он поворачивает налево, затем направо, затем снова налево и направо, они точно знают, почему он напуган, и после этого безумного бега, замаскированного под неторопливую прогулку туриста, он оказывается на ступенях Хануман-Гхата именно там, где ему меньше всего хотелось быть, здесь, на жуткой сцене ритуального омовения, ибо это — одна лишь близость гхатов — означает, что совершенно безнадежно думать о побеге, Ганг — это смерть, гхаты — это смерть, женщины, великолепные в своих ярких сари у гхатов — это смерть, мужчины в набедренных повязках у гхатов — это смерть, но Ганг — это верховная смерть, это непревзойденное воплощение канализации, эта тысячелетняя константа нечистот, текущих и пенящихся мимо, его единственный шанс — пойти в совершенно противоположном направлении, он не может нанять рикша, нельзя взять такси, нельзя сесть на поезд, единственное направление (если таковое вообще существует) может дать надежду, только если он будет действовать бездумно, только если он не будет заранее продумывать, где и как, его единственный шанс — стараться не думать о том, какой может быть единственно возможный способ побега, предавшись исключительно своей панике, этого должно быть достаточно, и ее предостаточно, с тех пор, как он ступил сюда, с тех пор, как он прибыл в Варанаси и увидел свой первый гхат, увидел Гангу, он знал, что ему не следовало ехать сюда, на самом деле весь план посетить Индию был плохо продуман с самого начала, по сути, он не хотел сюда ехать, я никогда не хотел, нет, нет, но я просто не мог сказать «нет», когда мог и должен был, и написал человеку из Бомбея, с которым я встретился в Сараево, что это была не лучшая идея, после их встречи и его

собственный необдуманный и вызванный вежливостью интерес, он должен был ответить на письмо-приглашение из Бомбея, что нет, в конце концов, сейчас неподходящее время для поездки в Индию, всегда говорить «нет», всегда, без исключений, именно так он и должен был поступить, у него было так много возможностей сделать это, он мог сделать это во время покупки билетов на самолет, он мог сделать это позже, когда у него уже были билеты, он все еще мог передумать прямо перед вылетом или даже по прибытии в Дели, видя, что все происходит слишком быстро, когда действуешь не думая, когда просто принимаешь все как есть, однако он был не только необдуманным, но и совершенно безрассудным, безответственным и глупым, человеком, не контролирующим себя, это случалось не в первый раз, у него это было хроническим заболеванием, и поскольку он хорошо себя знал, почему он не заметил, что есть проблема, будут неприятности, что он не должен думать о поездке в Индию, он не должен позволять вещам просто случаться с ним, потому что в один прекрасный день ты оказываешься в Индии. ... но он позволил всему случиться, и так он оказался в Индии, более того, в Варанаси, последнем месте, которое ему следовало себе позволить посетить, где он падал и падал и не мог остановиться, он попал в ловушку, он сразу понял, что попал в ловушку, когда, прибыв на главный вокзал после изнурительной поездки на поезде, он умудрился, несмотря на все ухищрения тощего туктука, добиться того, чтобы его перевезли в Асси Гхат, где он сразу понял, что этого не должно было произойти, увидев Гангу и взглянув на извилистую реку, на ряды полуразрушенных зданий с их обветшалыми формами и выцветшими красками — они громоздились друг на друга на холмах, изгибающихся вдоль этих изгибов Ганга, этого было уже достаточно, этого первого часа, этого миазматического воздуха, мерцающего в грязной, душной жаре, было само по себе достаточно, вечные купальщики в септической воде, которые были там со времен Вишну, окунаясь и выпивая отвратительную воду Ганга, ему было достаточно видеть ужасающе нелепые, бестолковые и бесстыжие стада толстых и не очень туристов с их непомерно дорогой фотоаппаратурой, пытающихся извлечь хоть что-то из того факта, что этот город был священным местом для сотен миллионов, ему было достаточно мельком увидеть в ужасающем смоге храмовые здания, дворцы, башни, святилища и террасы, громоздившиеся друг на друга вдоль холмистых берегов извилистой реки, чтобы убедиться в их бесполезности и бессмысленности; этих первых впечатлений должно было бы уже быть достаточно, чтобы заставить его понять, во что он ввязался, но на самом деле

понадобилось зловоние Варанаси, чтобы по-настоящему впасть в панику, всепроникающее гниение, всепоглощающий, удушающий, приторно-сладкий, едкий, клейкий запах разложения, потому что даже если он сразу и не придал этому основополагающего значения, то сделал это, проснувшись после первой ночи, когда почувствовал его во рту, легких, желудке и мозгу, а затем, на своей первой вылазке, сделав несколько шагов, он наткнулся на первый открытый канализационный сток и бесконечную череду навозных куч, вокруг которых рыскали коровы вместе с бродячими собаками, крысами и детьми, и запах ударил его — от которого невозможно было избавиться, это был, таков был запах Варанаси, и после этого он продолжал чувствовать его, во сне и бодрствуя, он проникал в его нёбо, горло, легкие, желудок и даже в мозг, он был удушающим, да, и приторно-сладким и едким, липким и убийственным, который последнее, этот убийственный потенциал, содержал в себе особенно жестокий элемент, а именно то, что, по словам местных жителей и паломников, Варанаси является по крайней мере в такой же степени городом мира, как и смерти, здесь нет преступлений, объявили улыбающиеся молодые люди, идущие рука об руку, о нет, здесь нет грабежа, смеялись женщины на берегах Ганга, поверьте мне, никто не приходит сюда с намерением причинить вред, настаивали все, от уличного парикмахера до тощего ремесленника модных кожаных изделий, который также чинил пульты дистанционного управления, потому что помимо мира, это был город Каши, как они его называли, город вожделенного забвения, но не позволяйте этому вас сбить с толку, объяснил полицейский, орудующий своим длинным кривым посохом на перекрестке, не удивляйтесь этому, прорычал долговязый медитирующий в храме Шивы, в ответ на что он, как и все остальные, сначала кивал, да, он понимал, естественно, конечно, но потом, и, безусловно, к этому дню, он перестал это делать, и он больше не был больше не желая участвовать в том, что для него было разрушительной игрой: как он может это делать теперь, когда он больше ничего не понимает, понимание здесь невозможно — он бросается в первый же переулок за первым поворотом от отеля — потому что как можно примириться с тем, что здесь живет по меньшей мере три миллиона человек, которые принимают ненормальное за нормальное, может быть, так было на протяжении тысячелетий; теперь, надеясь, что он наконец-то сбегает, он размышляет о том, что в этом городе, пропитанном самим запахом смерти, дети и взрослые найдут подходящее место даже в несколько квадратных метров и немедленно затеют игру в крикет, нет, это не может быть нормальным, думает он, что везде, где есть небольшое открытое пространство между двумя навозными кучами, которое пять или шесть детей или взрослых сочтут подходящим для игровой площадки, удовлетворяющей минимальным требованиям игры, почему,

боулер уже бросает мяч, тот факт, что такое множество бесконечно жалких людей (по меньшей мере три миллиона каждый день) не только знают, что есть такая вещь, как крикет, но и действительно играют в него, ну, это нельзя назвать нормальным, есть бэтсмены и боулеры, вместо крикетных мячей они используют теннисные мячи или что-то отдаленно похожее, что можно бросать и отбивать, и в эту игру играют ужасающие массы людей, которые мечутся в самом нищем аду мира: они играют в игру, как будто это самое естественное занятие среди этого запаха смерти, это безумие, подумал он после первых нескольких часов здесь, и он все еще думает об этом сейчас, замедляя шаги, замедляя шаг, чтобы не сорваться на бег, он бродит по переулкам, как и решил: бездумно, не полагаясь даже на свои инстинкты, ни на что не полагаясь, просто топая, поворачивая направо, потом налево, что-то обязательно произойдет, что-то иное, чем то, на что он может рассчитывать с высокой вероятностью, но ничего не происходит, кроме того, что уже не раз его тревожило, потому что, пока он идет, каждые несколько метров по крайней мере один человек хочет ему что-то продать, неважно что, что-то, что угодно, от восхитительного стакана чая с молоком до неизведанных тайн Варанаси, и все они очень худые, с тонкими костями, огромными карими глазами, в белых рубашках, светло-серых брюках из синтетической ткани, отглаженных до четкой стрелки, обутые в хлипкие китайские шлепанцы или даже не в них, но существенный факт — это их прикосновение, потому что, продвигаясь вперед, он продолжает чувствовать их прикосновение, и он никогда не встречал такого прикосновения: не агрессивное, не навязчивое, не дерзкое, не грубое, наоборот, это нежнейшие прикосновения, совершенно единичные, нежные, теплые прикосновения, хватающие его за руку или кисть, или, скорее, они только задевают его руку или кисть, талию, спину или плечо, довольно нежно, он должен был бы привыкнуть к этому, но не мог, на Напротив, он испытывал ужас перед этими нежными прикосновениями, и он испытывает их сейчас, когда идет дальше и может почувствовать еще одно, и еще одно, и еще одно, и еще раз, и еще раз, это никогда не кончится, он воздерживается от того, чтобы смотреть на них, потому что тогда он потеряется, потому что тогда он должен остановиться и выслушать, почему ему следует выпить восхитительный стакан чая с молоком прямо сейчас, почему ему следует пойти и нанять тук-тук прямо сейчас, почему ему следует купить ковер, транзисторный радиоприемник, настоящий мини-телевизор Sony

Сделано в Японии, ожерелье-талисман на удачу, или, возможно, большое количество негашеной извести, или множество садовых фонарей, или десять повозок бамбуковых ростков, пожалуйста, пойдемте с нами, эти прикосновения умоляют, приезжайте в гораздо более прекрасный отель, чем тот, где вы остановились, пожалуйста, пойдемте с нами, вот

Бенгальская музыка и танец, подобных которым вы никогда прежде не испытывали, пожалуйста, приходите, вы узнаете, куда Шеша-Пит ведет в царство в недрах Земли, приходите, приходите, неважно, куда ведет Яма, потому что там вас что-то будет ждать; и он не отмахивается от них, потому что тогда он будет потерян, он не подает никаких знаков, что признает эти предложения, хотя ему приходится прилагать величайшие усилия, чтобы игнорировать сопутствующие прикосновения, не отдернуть свою руку, свою кисть, сдержать дрожь в плече, потому что это уже будет воспринято как знак согласия, ответ на предложение, и тогда он снова будет потерян, потому что они отвлекут его от дальнейшего следования туда, куда он хотел пойти, а это куда угодно далеко от Варанаси; даже когда он готов бежать, он не должен терять самообладания здесь, где происходят эти прикосновения, потому что это унесет его и унесет обратно к Варанаси вместо того, чтобы уйти от него, вернуться в глубины, неизбежно оказавшись у гхатов Ганга, где его ждет смерть, где — как ему сказали в самом начале — смерть — это больше, чем радостное освобождение, и это именно то, что он отказывается принять, он хочет освобождения не от смерти, а от Варанаси, для него Ганг не священен, он не знает, что это такое, и не хочет знать, Ганг — это река, несущая мертвых собак и мертвых людей, заплесневелые лоскуты белья и банки из-под кока-колы, лимонно-желтые лепестки цветов и доски от плоскодонной лодки, все, все и всегда, он хотел бы неистовствовать сейчас, продвигаясь вперед, направляясь куда-то, куда угодно, но он не может позволить себе неистовствовать, потому что его бред немедленно вписался бы в реальность Варанаси, как бредящий безумец, он был бы мгновенно принят и поглощен Варанаси, и, конечно, все еще возможно, что это было бы его судьбой, что он внезапно сломался бы и впал бы в безумие, охваченный отчаянным припадком, и тогда для него все было бы кончено, потому что Варанаси поглотил бы его, принял бы его, то есть с этого момента он был бы принадлежать Варанаси, но сейчас он все еще держится, он отключил свой мозг, свои инстинкты, он полностью отключил все внутри себя, потому что он уверен, что иначе у него не будет ни малейшего шанса: прочь, уйти, даже это больше не пульсирует внутри него, ничего не пульсирует внутри него, он продолжает идти, из переулков к более широким улицам, затем обратно в переулки, притворяясь туристом, его движения имитируют рассеянное разглядывание, чтобы уменьшить вероятность того, что к нему прикоснутся, чтобы эти прикосновения исчезли, но, конечно, этого не происходит, он содрогается при мысли об этих прикосновениях, но тем не менее способен

совладать со своей дрожью, когда очередная глухая волна Ганги ударяется о берег, невидимая, но слышимая им, когда он слышит, как она замирает на самой нижней каменной ступеньке ближайшей набережной, это значит, что он снова нашел дорогу к берегу реки, поэтому он быстро разворачивается и отправляется в противоположном направлении, продолжая идти некоторое время, чтобы уйти как можно дальше от мертвенно-спокойных мест ритуального омовения, безуспешно пытаясь обойти огромные, приплюснутые желто-зеленые коровьи лепешки, как только он ступает на одну, он останавливается, чтобы соскоблить дерьмо с ботинка о край бордюра, и он уже окружен ими, они говорят, пожалуйста, непременно купите фен, или за тысячу рупий они отвезут его в Сарнатх, или же за очень разумную цену они знают оригинальные картины Танцующего Кришны периода школы Бунди, строго говоря, неважно, останется ли что-то на его ботинке, главное — избавиться от большей части, чтобы он не поскользнулся и не упал, вонь в любом случае окружает его, поскольку этот тип запаха дерьма играет доминирующую роль в Варанаси, как и в прохладные зимние месяцы, когда город отапливается, поскольку те, которые более или менее затвердевают в уличной пыли, собираются, это единственный источник существования одного класса неприкасаемых, которые усердно собирали его на протяжении тысячелетий в маленькие тележки, чтобы свалить их в высокие штабеля, дозревающие или высыхающие, в зависимости от того, для чего они предназначены, хотя на самом деле в некоторых случаях их цель не имеет значения, потому что может случиться, что нагретый аммиак взорвется, снеся одну из этих башен дерьма, и тогда это будет полная потеря, так что проезжая мимо одной из этих башен дерьма...

и центр города полон их, лучше быть осторожным — после первых нескольких недель внимание посетителя привлекается к ним, он теперь очень осторожен, когда он проходит мимо одной из этих дерьмовых башен, вонь гуще обычного, он давится, он чувствует запах аммиака, но взрыва нет, он проскочил; большая группа маленьких школьников проносится мимо него, одетых в матросские блузки, с ранцами за спиной, один в центре группы держит iPhone и все дети хотят его посмотреть, на нем что-то очень интересное происходит, вот так они проходят мимо него, кружась как водоворот вокруг руки, держащей iPhone, он может чувствовать, что устает, все утро в пути, и все еще бездельничает здесь, в центре города; это становится невозможным, это бесконечно, он должен попытаться думать ясно сейчас, поэтому он решает снова подключиться, переподключить свой мозг, но ему нужно место для этого, безопасная зона, которая представляется ему, когда он проходит позади почтового отделения Ашок Нагара, где он натыкается на немного зелени — лужайка, кусты и деревья — конечно же, место

также полно людей, возможно, из-за тени, в любом случае после долгих поисков он встречает древнего старика, голые кости, с угольно-черной кожей и густой копной белых волос, в набедренной повязке, сидящего в позе йога с закрытыми глазами, это подойдет, он устраивается рядом с мужчиной и снова включает свой мозг, что же теперь делать, думает он, и это именно то, чего, как он считал, он должен избегать любой ценой, что на самом деле нет ничего другого, на что он мог бы положиться, только на Ганг, ибо у реки, по крайней мере, есть направление, по которому он может следовать, чтобы выбраться из Варанаси, другого пути нет, думает он рядом с древним стариком с угольно-черной кожей и пышной копной белых волос, который, закрыв глаза в глубокой медитации, также выбрал полную неподвижность в это утро, и он тоже закрывает глаза, ему нужен отдых; его ботинок воняет дерьмом, ноги горят от усталости, поясница и спина болят, шея болит, плечо болит, голова вот-вот отвалится, что-то ужасно щиплет глаза и наворачиваются слезы, и вот, может быть, из-за этих слез — ибо глаза его полны их, как будто он плачет, может быть, из-за мрачной, коварной силы солнечного света, пробивающегося сквозь смог, — вот идет один, предлагающий открытки с видами Лондона, Парижа, Рима, и не купите ли вы чугунные сковородки, пойдемте, я отведу вас туда, чтобы увидеть то, чего еще не видел ни один турист, я отведу вас в Баба Ка Гхар, Баба Ка Гхар, вы можете увидеть это за два пятьдесят, вокруг него сейчас сидят три мальчика, наверное, он уснул и не хотел упускать эту возможность, вот, посмотрите на этот компактный маникюрный набор с мини-Тадж-Махалом посередине, купите этот полный Пласидоминго, лучшая покупка среди компакт-дисков, поверьте меня, чтобы он не мог больше здесь оставаться, каким-то образом ему удаётся оставить этих троих позади, хотя, очевидно, у них для него ещё полно других предложений, куда они его поведут? Неважно, ему нужно добраться до Ганга, что нетрудно сделать, он знает по опыту, в каком бы направлении ни отправился — и в этом-то и заключается проблема — рано или поздно всё равно окажешься у Ганга, и поэтому он тоже прибывает туда ненамного позже, это занимает едва ли час, и он уже там, останавливается на вершине лестницы, ведущей к Дашашвамедх-гхату, внизу, сквозь густую толпу мужчин и юношей, открывается единственный возможный путь, который тут же закрывается за ним, когда он пробирается сквозь них, мужчины сидят плотно друг к другу на ступенях, уставившись, как говорится, на свои пупки, болтают, созерцают сцену, на самом деле нет другого пути к воде, кроме того, который они, почувствовав его, специально для него открывают, как будто они

«Направляли меня», — думает он, но тут же решает, что будет лучше, если он снова отключит все мысли и интуиции, чтобы, достигнув самой нижней ступени Дасашвамедх Гхата, туда, где он сейчас спускается сквозь толпу, он мог бы отправиться вниз по склону, лицом к Гангу, вниз, так и должно быть, но когда между ним и берегом реки остается всего несколько шагов, он сталкивается с неожиданным препятствием на своем пути по временной тропе, которая непрерывно открывается и закрывается за ним, хотя это не способ описать это, каждое слово неточное: неожиданное, а также препятствие — неточные термины, как и «натыкается на»,

ведь на протяжении всего своего нисходящего движения он чувствовал, что что-то должно произойти, так что это не было неожиданным, и как он мог назвать это препятствием, когда это была та самая знакомая рука Варанаси, это знакомое мягкое прикосновение, которое останавливало его с тончайшей деликатностью, что-то, с чем нельзя столкнуться, поскольку это было простое прикосновение к его ноге, сигнал, который не позволит ему пройти дальше; естественно, из-за нисходящего импульса он хочет убрать ногу от этого прикосновения, но прикосновение решительно, решительно остановить его, так что что еще ему остается делать, кроме как остановиться, он видит мужчину неопределенного возраста, тучную фигуру, что необычно, фактически, необычайно для индусов, он, возможно, принадлежит к высшей касте, с другой стороны, он практически голый, так что трудно сказать, на нем только грязная набедренная повязка и большие уши с удлиненными мочками и густые белоснежные волосы, стянутые резинкой сзади, и огромные, громоздкие очки в черной оправе на переносице, когда, опираясь на локти, он созерцает воду перед собой, затем он поворачивает голову влево и смотрит на него вверх, его три огромные складки на щеках забавным образом вторят движению, когда эта голова ищет его, даже когда он все еще находится в процессе изъятия ноги из этого прикосновения, но для этого нужно, чтобы лодыжка была освобождена, но этого не происходит, человек все еще держится на, хотя и очень деликатно, на эту лодыжку, и продолжает смотреть на него, хотя и не так, как будто обращаются к другому, а скорее как будто болтают с кем-то посреди разговора, собираясь указать на новый аспект обсуждаемого вопроса, и мужчина небрежно замечает, знаете ли вы, что, согласно местной традиции, одна капля Ганга сама по себе является храмом? его голос мягкий и нежный, глубокий и дружелюбный, и вместо своеобразного местного английского мужчина говорит на самом безупречном королевском английском, что заставляет его впервые за много дней потерять бдительность, и он совершает ошибку... ошибку, потому что он говорит что-то в ответ, чтобы мужчина отпустил его, он бросает

что-то не задумываясь, это всего лишь ПРИВЕТ, но это, эта оплошность, эта ошибка, эта ошибка, это ПРИВЕТ должно иметь серьезные последствия, то есть, оно уже имеет, потому что через несколько секунд он оказывается объектом огромного монолога, которого он ни в коем случае не должен был допускать, между тем, пути назад нет, потому что все кончено для любого, кто произнесет одно-единственное ПРИВЕТ, и это то, что на самом деле происходит, человек в очках, наполовину лежащий, наполовину извивающийся и поворачивающий к нему свое чрезвычайно тучное тело посреди толпы, теперь определенно дает понять, что он не отходит в сторону, но сохраняет тот же взгляд, что и прежде, слегка насмешливый и слегка сочувствующий, но ни в коей мере не враждебный, держась при этом за лодыжку и снова повторяя, что единственная капля Ганга — это храм, что вы об этом думаете? спрашивает мужчина, обращаясь к нему, а он просто стоит и ждет, когда откроется тропинка вниз, он стоит и смотрит вниз на мужчину, который все еще смотрит на него снизу вверх и вместо того, чтобы отпустить его, либо на самом деле держит, либо кажется, что все еще держит, лодыжку того, к кому обращаются, каким-то образом это оказывает на него ту же силу, толстые руки и бедра, как четыре слоновьих хобота, все тело, как гигантский шар жира, но наверху, на уровне головы, которая тает в патологической тучности — и наблюдатель сбит с толку этим — первоначальные черты можно отчетливо различить, и лицо, таким образом различимое по смутным очертаниям глаз, носа и подбородка, прекрасно, и рот на этом прекрасном лице теперь возобновляет, повторяя в третий раз, только подумайте, храм в одной капле воды, вы знали об этом — однако прежде чем он успевает ответить, не отвечая, но давая несомненный знак своего желания двигаться дальше, толстяк снова использует эту особую варанасскую мягкость — и теперь он кратко рассказывает, опять же так, как будто они находятся в середине долгого продолжающегося диалога, что он уже некоторое время здесь прохлаждается, и, представьте себе, он размышляет о том, почему, скажите на милость, местные жители верят и говорят так, он обдумал это и добился определенного прогресса, которым он был бы рад поделиться сейчас, поэтому он предлагает, если вы не пренебрегаете моей компанией, почему бы вам не сесть здесь и не выслушать меня, это будет стоить вашего времени, поскольку он пришел к некоторым захватывающим выводам, после чего вы пытаетесь выразить с помощью жеста, что нет, это исключено, только этот жест оказывается не слишком убедительным, более того, рука, мужская, даже помогает и превращает этот жест в увертюру, ведущую к движению плюхнуться рядом с ним, таким образом, отказ аннулируется, и вы обнаруживаете

вы сидите на ступеньке рядом с мужчиной, и он венчает свой минутный триумф, то есть заставляет вас сесть, вместо того чтобы продолжать свой путь, поправляя очки на переносице и поворачивая свою огромную голову обратно к Гангу, перестраивая тройные складки своих огромных щек под подбородком, и он уходит, говоря, что прежде всего он просто задал себе вопрос, поскольку он случайно немного знаком с физическими аспектами проблемы, поскольку он работает инженером-технологом в Фонде Санката Мочана, знает ли он сам структуру воды, и он пришел к выводу, что действительно знает ее, действительно все это связано с геометрией поверхности — он смотрит на Ганг — и он не только не выглядит властным, но красота этого скрытого лица становится все более и более очевидной, это прекрасное лицо, окутанное массой жира, совсем не агрессивно, как и его голос, в нем тоже есть что-то ободряющее, так что кажется маловероятным, чтобы эти вступительные слова обернулись как преамбулу к какому-то деловому предложению, поэтому он совершает ещё одну ошибку, оставаясь на месте и не пытаясь встать, хотя в этот момент это ещё в его силах, он остаётся сидеть там, где его усадил мужчина с этим ужасно нежным жестом руки, и он продолжает сидеть там, озадаченный какой-то невинностью, чем-то эфирным, каким-то элементом высшего порядка в голосе и осанке этого невообразимо толстого мужчины, всё это усиливается впечатлением, что мужчина говорит в основном сам с собой, и в то же время он, кажется, благодарен, граничащим с братским, и это окончательно рассеивает его подозрения, делая его уязвимым, так что он должен обратить внимание, то есть он должен внимательно выслушать, как человек в очках всегда был очарован сферами вообще, и в частности геометрией поверхности сфер, например, тем, что удерживает каплю воды вместе, и вот в конце концов, говорит мужчина, указывая на воды Ганга, если вы посидите здесь некоторое время в то время как, вопрос, очевидно, снова всплывает, после чего один с его образованием первым делом заставил его подумать, что это связано с межмолекулярными водородными связями, без сомнения, и мужчина улыбается ему, без сомнения, вы тоже знаете, что такое межмолекулярные водородные связи, любой, кто изучал физику, знает это, ну тогда, если вы представите себе эту водородную связь, а также ковалентную связь и будете иметь в виду тот простой факт, что вода в жидком состоянии представляет собой чередующуюся систему ковалентных и межмолекулярных водородных связей, ну, тогда в этот момент все становится интересным, мужчина подмигивает ему

весело поверх своих очков, поскольку на самом деле вода в жидком состоянии представляет собой псевдомакромолекулу с лишь частично регулярной структурой, которая удерживается вместе гибкими водородными связями, как это преподают в школе, и если теперь учесть, что именно из-за поверхностного натяжения жидкости, и, следовательно, капля воды, принимают формы с минимально возможной площадью поверхности (которая есть не что иное, как сфера), то вы, несомненно, согласитесь, что стоит сделать еще один шаг вперед, что я — и мужчина указал на себя — действительно сделал, на самом деле он немного вернулся к проблематике поверхностного натяжения, то есть, в своем воображении он разделил молекулу воды пополам, после чего ему в голову пришли захватывающие вещи, когда он слушал плеск волн и наблюдал за игрой света на поверхности воды, потому что ему пришло в голову, что есть, видите ли, эти атомы кислорода и эти атомы водорода, которые образуют эти тетраэдрические структуры, это очевидно, если вы понимаете меня, и столь же очевидно, что мы можем затем вспомнить, что кислород несет небольшой отрицательный заряд, а водород сильный положительный, в результате чего образуется связь между соседними молекулами, это то, что мы называем водородными связями; это не повредит, подумал мужчина и тут он усмехнулся, поворачиваясь к своему слушателю, совсем не повредит сопоставить все это, потому что в голове будут возникать любопытные идеи, когда сидишь и смотришь на течение реки, например, он, кажется, вспомнил, что водородные связи намного слабее внутренних связей, удерживающих молекулу вместе, а это значит, что результирующее расположение способствует образованию максимально устойчивой системы, так что, по-вашему, происходит? спрашивает мужчина, поднимая брови, ну, наиболее устойчивое расположение будет, если каждая водородная связь выстроится в линию с соседней молекулой, так что каждая молекула воды будет окружена четырьмя соседями, образуя таким образом пирамиду, тетраэдр, а мы знаем, что это такое, тетраэдр, верно? Это напоминает Платона и Платоновы тела, что напрямую приводит к столь же известному факту, а именно, что двести восемьдесят молекул образуют правильную икосаэдрическую агломерацию, и хотя раньше считалось, что вода в жидком состоянии состоит из таких правильных агломераций, мир изменился с тех пор, и сегодня мы думаем иначе, а именно, что вода колеблется между правильной и неправильной структурой, поскольку водородные связи постоянно разрываются и порождают новые связи, и в этот момент, видите ли, говорит он задумчиво, снова некоторое время глядя на Ганг, в этот момент, видите ли, продолжает он, поправляя очки, можно задуматься о том, что происходит между тетраэдрическими агрегатами молекул воды, или

между одиночными случайными молекулами воды, ибо можно так выразиться, добавляет он, как будто разговаривая сам с собой, и тогда ответ напрашивается сам собой из вышесказанного, что тетраэдрические кластеры молекул воды расположены среди одиночных случайных молекул воды, и вот вам вода — и тут взгляд мужчины на мгновение ищет взгляд своего собеседника, но, не найдя его, он спрашивает, следит ли он за всем этим, после чего слушатель, смущенный, признается, что нет, он не смог уловить ни единого слова, ну тогда обратите на меня внимание, мужчина указывает на себя одним из своих огромных пальцев-сосисок, согласно тому, что мы знаем о поверхностном натяжении, все жидкости, и, следовательно, капли воды в том числе, подчиняются законам поверхностного натяжения и принимают формы с наименьшей возможной площадью поверхности, и как вы думаете, что это будет? он спрашивает, какая это будет форма? и, получив в ответ лишь молчание, ну, это будет сфера, это очевидно, не так ли?

мужчина разводит руками, похожими на слоновьи хоботы, и продолжает смотреть на него, побуждая его кивнуть в знак согласия, на что мужчина соглашается со вздохом удовлетворения и продолжает: ну что ж, это самоочевидно, отлично, давайте двигаться дальше, и предположим, что не столь очевидно, что водородные связи намного слабее связей, удерживающих молекулу вместе, это не столь очевидно, но мыслимо, и вы тоже можете видеть, что это так, говорит он, и вы также можете видеть, что полученное расположение демонстрирует необходимость формирования максимально устойчивой системы, то есть — и здесь говорящий снова поворачивается к Гангу, снова говоря как будто сам с собой

— другими словами, вся эта штука будет иметь самую прочную, самую стабильную структуру, понимаете, когда каждая водородная связь найдет эту соседнюю молекулу, ибо тогда каждая молекула воды будет окружена четырьмя другими, создавая пирамиду, которая является тетраэдром, упомянутым ранее, на самом деле мы все это рассмотрели, но об этом нужно упомянуть еще раз, чтобы вы тоже прекрасно это поняли, на самом деле для вашей пользы я также повторю — и он повторяет снова — что существует эта флуктуация, посредством которой флуктуируют правильные и неправильные системы, потому что водородные связи постоянно разрываются, и возникают новые связи, так что, как вы думаете, можем ли мы теперь задать настоящий вопрос? — мужчина снова поворачивается в его сторону и смотрит в глаза мужчине, поверх толстой оправы огромных очков, он смотрит прямо в эти чудесно светящиеся глаза, залитые жиром, и холодная дрожь пробегает по его спине, потому что в этих глазах он видит что-то очень странное, таинственное и необъяснимое, он не может сказать точно, что именно, какая-то неизвестная глубина, не знания, а скорее

глубину времени, как будто он заглянул в перспективу нескольких тысяч лет, и это совершенно сбивает его с толку, в конце концов, кто здесь говорит, кто этот чрезвычайно толстый человек, который остановил его в этом безумном городе, чтобы произнести этот совершенно безумный разговор о воде здесь, на берегах Ганга, вот что он хочет спросить, но не продвигается далеко, потому что голос другого человека постоянно затмевает его собственный, постоянно перекрывает вопросы, формирующиеся внутри него, и берет верх, говоря, что площадь поверхности жидкости всегда стремится быть как можно меньше, и что это намерение, вытекающее из природы ранее упомянутых связей и притяжений, это намерение наиболее совершенно выражено в форме сферы, то есть Намерение проявляется в сфере, он повторяет это несколько раз, словно смакуя слова, всё ещё глядя на поверхность воды, а не на него, как будто он говорил только сам с собой, но не на самом деле, потому что как только в его голове возникает вопрос или даже мысль, другой человек способен немедленно направить внимание своего слушателя обратно на себя, слова человека постоянно превосходят слова, которые он взвешивает в своей голове, потому что он хотел бы быть дальше, потому что он горячо жаждет освободиться от плена этого человека, но он не уходит, его мозг включился сам собой, и он не может его отключить, а другой человек, независимо от того, смотрит ли он на воду или в его сторону, кажется, всегда точно знает, когда ослабевающее внимание его слушателя должно быть снова направлено на него, и всегда успевает вовремя вернуть его обратно, и теперь он говорит, что сила притяжения между одинаковыми молекулами во всех случаях намного больше, чем между разными молекулами, другими словами, каждая молекула стремится внутрь, к внутренним глубинам системы, намереваясь заполнить ее, и в этом намерении те молекулы, которые остаются наверху, означают —

и человек медленно поворачивает к себе своё тяжёлое тело, но лишь на мгновение — на поверхности воды, ну, тогда эти молекулы одновременно стремятся к наименьшей поверхности, и это будет сфера, разве это не очевидно? — спрашивает человек, и его слушатель отвечает впервые с момента их странной встречи, он отвечает, что да, это очевидно, после чего другой человек улыбается и бросает на него вопросительный взгляд, не следует ли нам выразить это ещё более недвусмысленно? после чего он снова говорит, да, давайте так и сделаем, и кивает, после чего человек снова улыбается и говорит, ну и хорошо, тогда предположим, что на поверхности остаются только те молекулы, которые проявляют меньшую силу притяжения, в то время как их тоже тянут вниз и внутрь внутренние силы притяжения, так что они

сблизить их как можно плотнее на поверхности, то можно в шутку сказать, что они требуют как можно меньше площади поверхности или что сама поверхность требует как можно меньше площади поверхности, не так ли? воистину так, спрашивает он и отвечает на свой собственный вопрос почти торжествующе, оно требует идеальной поверхности, которая является наименьшей, короче говоря: оно стремится к идеалу, и с этой точки зрения, я полагаю, вопрос кажется совершенно ясным, говорит человек, и его слушатель отвечает, что да, это так, совершенно, но теперь человек становится совсем серьезным, как будто тень промелькнула по этому красивому лицу в этой массивной голове, и изменившимся голосом, как-то мягче, он мягко спрашивает себя, все ли в порядке так, и он отвечает, нет, не все в порядке, и он бросает взгляд в сторону своего слушателя, прежде чем продолжить, нет, не все в порядке, потому что все, что мы сказали, может быть высказано, но на самом деле бесполезно, потому что сама вода каким-то образом избегает приближений такого рода, потому что после всего вышесказанного она все еще обладает огромным количеством других свойств, которые не должны существовать, однако они существуют, свойств, которые сильно отличают ее от всех других жидкостей, как будто вода — это что-то иное, чем жидкость, или вообще не жидкость, а скорее... ну да, чистая вода, необычайное вещество, первичный элемент, хранящий свои внутренние тайны, так что мы можем рассуждать здесь, как я только что сделал, до определённого предела о том, что мы знаем о воде с нашей точки зрения, но в конце концов я должен признаться, что на самом деле эти попытки, которые я только что предпринял, не приблизят нас к сути её структуры, эти попытки ни к чему не приведут, когда мы рассматриваем воду как обладающую такими свойствами, как память, например, которая должна существовать наверняка, поскольку после того, как мы расплавим лёд обратно в жидкую воду, этот лёд возвращается в ту же самую жидкокристаллическую систему, которой он обладал ранее, другими словами, вода, даже в форме льда, сохраняет свою структуру, и не утешает также то, что вдобавок ко всем своим многочисленным аномалиям вода способна хранить информацию, бесконечное количество информации, то есть вода знает обо всём, что произошло на Земле и происходит сейчас, так что наших знаний недостаточно, чтобы понять даже одну каплю воды, понимаете это? спрашивает он хриплым голосом, и теперь понимаете, почему я сижу здесь и размышляю, почему местные жители продолжают говорить что капля воды из Ганга — это храм? — спрашивает он, но знает, что не получит ответа, поэтому наступает глубокая тишина, словно и вправду расстояние в несколько тысяч лет разделяет их двоих, он знает, что ему следует двигаться дальше, но пока не решается сделать это или просто не может, он смотрит на огромный тройной подбородок мужчины с тремя складками, покоящимися на груди, он смотрит на гигантскую черно-

Очки в оправе едва держатся на кончике носа в изнуряющей жаре, он смотрит на другого мужчину, созерцающего воду, и видит очертания прекрасного лица, погребенного в той массе жира, которая есть голова, прекрасного лица, которое он, возможно, не встречал раньше, но которое, тем не менее, так поразительно знакомо, и вот он чувствует, что сейчас, прямо сейчас у него есть силы сделать свой ход, и он делает свой ход, медленно поднимаясь со ступеньки, и он пытается найти подходящие слова, чтобы уйти, но другой опережает его, снова смотрит на него, и его взгляд слегка насмешливый, когда он спрашивает, у вас случайно нет с собой ста рупий, чтобы выручить меня, услышав это, слова мгновенно замирают у него внутри, и он спускается по ступеньке, толстяк немного отходит в сторону, по-видимому, давая ему пройти, так что все кончено, он испытывает облегчение и надежду, и действительно, узкий проход к самой нижней ступеньке уже открывается для него сквозь толпу, он все еще хочет что-то сказать на прощание, но другой его снова опережает и кричит ему вслед: подумать только!

Мы рассмотрели только одну каплю воды из Ганга, а знаете ли вы, сколько капель в Ганге? на что он, естественно, не знает, что ответить, кроме как кивнуть на прощание, после чего не оборачивается, ведь есть ещё шанс, что мужчина сможет позвать его обратно, в конце концов, если бы мужчина был способен остановить его и вовлечь в разговор — чего никто не мог сделать с момента его прибытия в город — если бы мужчина был способен на это, тогда действительно существовала бы опасность, что он не смог бы освободиться от него и ему пришлось бы узнать ещё больше о внутренних тайнах капли воды, возможно, даже постичь истинную сущность капли воды, прямо здесь, рядом с скандально пенящейся пеной Ганга, но нет, когда он оглядывается назад, пройдя около ста метров, мужчина не проявляет ни малейшего признака дальнейшего интереса к нему, всё, что он видит, — это то, что мужчина всё ещё сидит на том же месте, что и прежде, то есть, более или менее полулежа на самых нижних ступенях, это огромное тающее тело, практически голое, если не считать грязной набедренной повязки и огромного очки, и этот тройной подбородок, и поэтому он может двигаться дальше, он, вероятно, уже более чем устал от этого человека, боже мой, думает он теперь, ускоряя шаги, как я мог быть таким беспечным, как я мог окунуться с головой в это безумие, и вообще, что это был за абсурдный разговор, эти ковалентные связи, эти Платоновы тела и поверхностное натяжение, именно то, что мне было нужно, правда, такой разговор, выбрось это из головы, не думай больше об этом, не пытайся понять, что это

имел в виду, потому что именно это Варанаси делал с ним с тех пор, как он прибыл сюда, постоянно дразня возможностью того, что происходящее здесь, то, что он пережил, видел и слышал, обладает какой-то зловещей связанностью, тогда как никакой взаимосвязи нет, только огромный непостижимый хаос, или, как сказал бы этот слоновий человек, могущественный беспорядок, вот о чем мы говорим, всеобщий, всепоглощающий, заразный хаос, вот из чего он должен найти выход, если выход вообще есть, и теперь он вспоминает, что несколько часов назад он все еще был в отеле, стоял у окна, выглядывая на улицу через щели в занавеске из искусственной кожи, украшенной гигантскими розетками, размышляя о подходящем моменте, чтобы сбежать, боже мой, как давно это было, как долго он шел, он так устал, что даже если бы ему дали шанс, он бы не сел, потому что он точно не смог бы встать, и, очевидно, именно это Ганга хотел, чего, очевидно, хотел Варанаси, затопить его безумием, чтобы он чувствовал себя в нем как дома, но нет, у него все еще достаточно сил, чтобы продолжать идти с отключенным разумом, как он и решил, и он идет дальше вдоль берега Ганга, бездумно и отчаянно, трудно сказать, что страшнее, тот факт, что город занимает только один берег реки, или причина пустоты другого берега, ибо такова здесь ситуация, Варанаси лежит исключительно на левом берегу Ганга, в то время как правый берег полностью, или почти полностью пуст, кто может сказать, что это значит, никто не может сказать, и он все равно не станет слушать, он идет дальше вдоль берега Ганга против течения, назад, если все пойдет хорошо, в западном направлении, но ничего не идет хорошо, и он снова видит себя там, в гостиничном номере, как несколько часов назад он стоял там за занавеской, глядя вниз на бурлящую суматоху на улице и впервые время, по-настоящему паникуя, пытаясь выбрать подходящий момент для отъезда, он стоял там, прислонившись одним плечом к стене, изредка поглядывая на грязную кровать, на свой рюкзак; и он мог ясно вспомнить сейчас на берегу Ганга, направляясь на запад, что тогда, часами ранее в гостиничном номере, пронеслось в его отключенном уме, что он должен подумать о своем рюкзаке, он должен быть упакован и готов к отъезду, и поэтому он начал делать это, сначала он пошел в ванную комнату — ванную?! — и принес свои туалетные принадлежности, и, не потрудившись организовать их, просто бросил их в рюкзак, то же самое с футболками, шортами, двумя белыми

летние рубашки, сменное белье, путеводитель, фотоаппарат, телефон, компас, плащ, аптечка, бумажник и карта, одно за другим, и когда все было в рюкзаке, и он застегнул последнюю молнию, внезапно он посмотрел на потолок, на штукатурку, отслаивающуюся слоями, открывая давно нарисованный торс Вишну, выглядывающий из-под него, как будто прощаясь, и он подумал: убираться прочь? убираться из Варанаси?! но черт возьми, дерьмо, бля! Варанаси был всем миром; Соблюдая величайшую осторожность, он сначала осмотрелся, затем выскользнул за дверь, спустился на цыпочках вниз, прокрался мимо стойки регистрации пустого отеля, вышел на улицу и повернул на первом же углу, а затем повернул на следующем еще раз — следя за тем, чтобы не четыре раза, и не всегда налево или направо, именно это кричало сиреной в его голове, эта мысль, не четыре раза, не в одном направлении, потому что тогда нет спасения, тогда я вернусь туда, откуда начал.

DOWNHILLONAFORESTROAD

Впервые в жизни у него возникли трудности с тем, чтобы вставить ключ в замок зажигания, и в конце концов он вырвал его, хотя и не было другого выхода, кроме как силой. Затем он завел мотор, который ожил, и выехал задним ходом на холмистую дорогу, совершенно забыв о проблеме с ключом, хотя, продолжая маневрировать, он задавался вопросом, все ли в порядке, ведь в конце концов, у такой новой машины не должно было возникнуть проблем с тем, чтобы вставить ключ в замок зажигания, но эта мысль исчезла, как только он тронулся с места, не оставив и следа, и он сосредоточился на том, чтобы ехать на второй передаче, прежде чем переключиться на третью, а затем снова подняться, чтобы добраться до шоссе над деревней, шоссе, которое все еще будет пустынным, потому что половина девятого — слишком рано для туристов и слишком поздно для местных жителей. Не то чтобы он знал точное время, потому что, когда он посмотрел на часы машины, они показывали без восьми девять, и он подумал: «О, лучше поторопись!», и он слегка нажал на газ, в то время как по обе стороны от него ветви образовали шатер над извилистой дорожкой. Вся эта сцена была так прекрасна с солнечными лучами, проникающими в ветви, свет, озаряющий дорогу, все дрожит, и впереди — шоссе; «Довольно чудесно», — подумал он и почти чувствовал запах зелени, еще влажной от росы. Он находился на прямом участке дороги, примерно в трехстах метрах от дороги, ведущей прямо вниз, где машина естественным образом набирала скорость. Он подумал, что неплохо было бы послушать музыку, и уже потянулся к радиоприемнику, как вдруг увидел, метрах в ста или ста пятидесяти перед собой — то есть примерно на половине или двух третях пути по прямой — пятно на дороге, заставившее его нахмуриться и вглядеться, пытаясь угадать, что это может быть, брошенный кусок одежды, деталь машины или что? — и в его голове мелькнуло, что это выглядело точь-в-точь как животное, хотя это, должно быть, была какая-то тряпка, что-то брошенное или сброшенное с грузовика, тряпка, которая осталась странно спутанной. Но когда он увидел, что есть что-то и посередине дороги, и по обочине, он наклонился вперед на рулевом колесе и попытался получше рассмотреть это, но не смог как следует разглядеть.

где одна форма остановилась, а другая начала, поэтому он на всякий случай сбавил скорость, потому что если их было двое, то он не хотел переезжать ни одного из них, и только когда он подошел совсем близко, он смог их разглядеть, и был так удивлен, что едва мог поверить своим глазам и нажал на тормоз, потому что эта штука не просто выглядела как животное, она была им, молодой собакой, щенком, сидящим совершенно неподвижно на белой линии посреди дороги, довольно худым существом с пятнистой шерстью и невинным взглядом посреди дороги, наблюдающим за ним в машине, совершенно спокойно сидящим на своем заднице, держа спину прямо, и что было еще более пугающим, чем сам факт ее присутствия, был взгляд в ее глазах, то, как она не двигалась, совершенно непостижимым образом она просто сидела там, несмотря на большую машину, какого черта она там делала, когда машина практически на ней была, так что было видно, что собака не собиралась двигаться, даже если бы она или ее большая машина сдвинулись с места, потому что эта собака не интересовалась машиной или ее близостью, хотя она была почти прикоснувшись к нему; и только тогда он заметил, что слева от собаки, сидевшей на белой линии, на обочине дороги лежала другая собака, ее расплющенный труп, по-видимому, сбила машина, которая его распорола, был виден ее живот, и хотя его собственная машина уже добралась до них, товарищ мертвой собаки...

какие были между ними отношения? были ли они товарищами? — не сдвинулись ни на дюйм, поэтому ему пришлось очень медленно объехать ее справа, сдвинув правое колесо с дороги, чтобы проехать, лишь на несколько сантиметров, если не меньше, собака все еще сидела там, выпрямившись, и теперь он мог смотреть ей прямо в морду, хотя было бы лучше, если бы он этого не делал, потому что, осторожно проехав ее, собака медленно следила за ним взглядом, своим печальным взглядом, в котором не было ни следа паники, ни дикой ярости, ни травмы от шока, глаза просто непонимающие и печальные, печально глядящие на водителя машины, которая объезжала его и удалялась, все еще не сдвигаясь с белой линии посреди лесной дороги, и не имело значения, было ли это в пятнадцати милях от Лос-Анджелеса, в восемнадцати милях от Киото или в двадцати милях к северу от Будапешта, она просто сидела там, выглядя грустной, наблюдая за своим товарищем, ожидая, что кто-то подойдет и объяснит, что произошло, или просто сидела и ждала, когда тот наконец встанет. и сделать какое-нибудь движение, чтобы эта парочка могла исчезнуть из этого непонятного места.

Он прошёл всего несколько метров от них и сразу же захотел остановиться, думая: «Я не могу оставить их здесь», но его ноги отказывались двигаться.

по какой-то причине, чтобы сделать то, что он хотел, и пока машина катилась, он наблюдал за ними в зеркало, мертвый лежал полуна боку, его внутренние органы вывалились на тротуар, его четыре лапы были вытянуты параллельно друг другу, но он видел только спину щенка, хрупкого, но прямого, как шомпол, все еще сидящего посреди дороги, как будто он мог позволить себе ждать часами, и он боялся, что его тоже может собить машина, и мне следует остановиться, сказал он себе, но продолжал ехать, было две минуты десятого, как он обнаружил, взглянув на часы, что делать, я опоздаю, беспокоился он, уже нажимая на газ, через две минуты я буду в городе, затем один поворот следовал за другим, и он уже проехал извилистую часть дороги, и было две минуты десятого, когда он посмотрел на часы, он сильнее нажал на газ, когда на мгновение снова вспомнил собаку, как она следила за своим товарищем, но образ быстро исчез, и в следующую минуту он полностью сосредоточился на вождении, набирая скорость чуть меньше шестидесяти, поскольку на дороге никого не было, кроме более медленной машины впереди, «Шкоды», решил он, приближаясь, волнуясь, что ему пришлось сбросить скорость, вместо того чтобы обогнать ее, возможность обгона уменьшалась по мере приближения, но я не буду ждать, подумал он сердито, не за этой старой «Шкодой», не ради поворота, и потому что он хорошо знал дорогу, поскольку ездил по ней тысячу раз и понимал, что обогнать «Шкоду» не получится, пока они не доедут до указателя на город, он нажал на педаль газа, чтобы обогнать ее перед поворотом, как вдруг «Шкода» начала медленно поворачивать влево прямо перед ним, и все произошло почти одновременно, он взглянул в зеркало и показал, что собирается обгонять, резко повернув руль влево, перестроился на встречную полосу и начал обгон, когда другой мужчина, не посмотрев в зеркало, тоже резко свернул влево, потому что хотел свернуть или развернуться, бог знает что, а может быть, у него только что включился левый поворотник моргнул, но только в тот момент, когда он резко повернул налево, но к тому времени, конечно, было уже слишком поздно, и тормозить было бесполезно, потому что «Шкода», ехавшая так медленно, теперь практически ехала по обочине дороги, как будто ее образ застыл, и он не мог ни объехать ее, ни затормозить, иными словами, не имея возможности ее остановить, он врезался в него.

Наступление катастрофы не сопровождается ощущением падения в темноту и случайной гибели: все, включая катастрофу, имеет

Структура каждого мгновения — структура, не поддающаяся измерению или пониманию, сводящая с ума сложность или должна быть понята совершенно иначе, где степень сложности может быть выражена только в образах, которые, кажется, невозможно вызвать в воображении, — видимая, только если время замедлилось до такой степени, что мы видим мир безразличным из-за имеющихся обстоятельств и имеющих обреченные предпосылки, которые приходят к идеальному универсальному выводу, хотя бы потому, что они состоят из индивидуальных намерений, — потому что мгновение есть результат бессознательного выбора, потому что ключ не сразу входит в замок зажигания, потому что мы не трогаемся с третьей передачи и переключаемся на вторую, а трогаемся со второй и переключаемся на третью, катимся с холма, а затем сворачиваем на шоссе над деревней, потому что расстояние перед нами похоже на взгляд в туннель, потому что зелень на ветвях все еще пахнет утренней росой, из-за смерти собаки и чьего-то неудачного маневра при повороте налево, то есть из-за того или иного выбора, из-за новых выборов и и еще больше выборов до бесконечности, эти сводящие с ума «если бы мы только знали», выборы, которые невозможно осмыслить, потому что ситуация, в которой мы находимся, сложна, определяется чем-то, что не имеет природы ни Бога, ни дьявола, чем-то, чьи пути непроницаемы для нас и обречены оставаться таковыми, потому что случай — это не просто вопрос выбора, а результат того, что могло бы произойти в любом случае.

СЧЕТ

Для Пальма Веккьо в Венеции

Вы послали за нами, и мы знали, чего вы хотите, поэтому мы послали Лукрецию и Флору, послали Леонору и Елену, за ними Корнелию, затем Диану, и так продолжалось с января по июнь, затем с октября по декабрь мы послали Офелию, послали Веронику, послали Адриану, послали Данаю, затем Венеру, и мало-помалу каждая пухлая, милая шлюха и куртизанка из наших книг оказалась у вас, главное, как и для каждого венецианца-мужчины, было то, чтобы их брови были чистыми и высокими, чтобы плечи были широкими и округлыми, грудь широкой и глубокой, чтобы тело раскрывалось так, как оно раскрывается под глубоким вырезом сорочки, и чтобы ваши глаза могли нырять, как со скалы, с соблазнительного лица вниз к свежей, сладкой, желанной груди, точно так, как вы описали Федерико, который принес нам ваш заказ и который затем, в свою очередь, описал его нам, сказав да, как и прежде, так же широко и глубоко, как долина, долина Валь Сериана, откуда ты родом, Федерико усмехнулся, потому что, по его словам, именно этого ты и добивалась на самом деле, той долины в Бергамо, где ты родилась, и он продолжал рассказывать нам, и другие это подтвердили, что ничто другое тебя не заботило, что тебя нисколько не интересовали темные тайны плоти, только волны светлых волос, сверкающие глаза и медленное раскрытие губ, иными словами, голова, а затем вид, открывающийся от подбородка вниз и распространяющийся под широкими округлыми плечами к ландшафту благоухающего тела, а не все остальное, и что ты все время просила их спустить лямки ниже плеча, потому что, говорила ты им, тебе нужно было, как ты выразилась, видеть плечо совершенно обнаженным, но в то же время видеть кружевной белый край сорочки на ее вогнутой дуге от плеча до плеча, той дуге как раз над нарисованными сосками грудей, которая напоминала тебе горизонт над твоей деревней в той глубокой долине, долине Сериана, хотя ты и не сделала этого в совершенстве ясная для всех в то время, эта идея пришла в голову Федерико, и только спустя некоторое время, хотя он также не сформулировал ее, и, в конце концов, оказалось невозможным обнаружить, почему вы написали так много не

именно толстые, но необычайно крупные женщины на ваших фотографиях, потому что вы не ответили ни на один вопрос об этом, вы, в любом случае, были известны своим отсутствием терпения, и когда вы были нетерпеливы, вы часто полностью обнажали их груди, так они говорили, только чтобы снова прикрыть их большую часть времени, так что они никогда не знали, чего вы хотите, и некоторые боялись вас, потому что они слышали всевозможные слухи и были готовы на все, их главный страх был в том, что вы, в своем bottega, можете потребовать от них чего-то, чего они не могут сделать; но, как они продолжали говорить, вам на самом деле ничего не нужно, и, более того, часто случалось, что вы платили вперед, и, как только вы заканчивали писать на день, вы немедленно отправляли их прочь, даже не взяв с собой гроздья винограда, никогда не позволяя этим огромным женщинам уложить вас в постель, и им просто приходилось стоять там или сидеть на диване, им приходилось стоять или сидеть часами подряд, не двигаясь, все дело было лишь в почасовой ставке и страхе перед тем, что может случиться, потому что вы довольно скоро приобретали репутацию, что бергамский мужчина, как они вас называли, нисколько не заинтересован в трахе и даже не станет прикасаться, только инструктируя модель своим тихим вежливым тоном, как ей следует сидеть или стоять, а затем он просто смотрел, наблюдая, как она на него смотрит, и затем, после целой вечности ожидания, он просил ее немного приспустить левое плечо сорочки, или еще немного приподнять складки платья, или чтобы она обнажила одну грудь, хотя он всегда стоял на приличном расстоянии, за на расстоянии прикосновения, и, как нам рассказывали дамы, вы сидели в кресле, пока двое слуг вывели их обратно на пристань, чтобы они могли вернуться к ожидающей их маскарете, и что вы никогда на самом деле не подходили к ним и не позволяли им прикасаться к себе, в отличие от тех, хихикали они, которые просто хотели поглазеть, пока сами оседлают какого-нибудь мужчину; поскольку вы не такие, говорили нам девушки, вы не для этого их нанимали... вы просто смотрели на них, и они должны были стоять там часами (что было невозможно), или сидеть, и, конечно, они были полностью готовы, поскольку в Венеции было достаточно художников, которые платили за визит шлюхи или cortegiana onesta, они стояли или сидели для всякого рода художников, некоторые из которых обслуживали вас раньше, а некоторые, время от времени, даже позировали великому Беллини, только чтобы столкнуться с всеобщими насмешками, увидев себя изображенными в виде Mater Dolorosa, или Марии Магдалины, или Святой Екатерины в Сан Джованни э Паоло или Скуола ди Сан Марко, что вызвало у всех смех, и, черт возьми, как же они смеялись! Хотя в вашем случае, синьор Бергамо или Сериана, как бы вы ни

предпочитаешь, когда ты с ними заканчивала, людям почему-то не хотелось смеяться, а когда кто-нибудь из них после пары визитов рассказывал остальным, как им было с тобой, они всё говорили, что понятия не имеют, что ты такое, и, главное, не могли понять, почему ты превратила их в такие огромные горы плоти, ведь, сказала Даная, моё плечо далеко не такое огромное, и я далеко не такая толстая, сказала Флора, указывая на свою талию, и, по правде говоря, было, в конце концов, что-то непостижимое в этих непропорциональных фигурах, потому что, несмотря на преувеличения, они оставались прекрасными и привлекательными, и никто не мог понять, как ты это делала, и, что ещё важнее, почему, но всё твоё искусство было таким странным, говорили все, что, казалось, ты стремилась не к искусству, а к чему-то в женщинах или в них, что приводило к ещё большему замешательству, потому что твой грязный взгляд на них был совершенно невыносим, говорили они, так что даже самые опытные шлюха нервничала и отводила взгляд, но затем ты огрызался на них и говорил им смотреть тебе прямо в глаза, хотя в остальном ты обращался с ними достаточно хорошо, просто ты никогда не тронул их пальцем, и это было то, чего они никогда не могли понять, причина, по которой они боялись тебя, никогда не ждали твоего визита, хотя ты платил им достаточно хорошо, давая даже самым низким из них несколько жалких эскудо, а что касается самой свежей молодой шлюхи или cortigiana onesta, ты заплатил за нее намного больше обычного, несмотря на то, что при всей твоей славе ты далеко не самый богатый из них, и, говорят, все те картины, которые ты написал, Лукреция, Даная, Флора и Елена, все еще хранятся в твоем магазине, а продаются больше всего религиозные картины, те, на которых Даная становится Марией, а Флора — Святой Екатериной, одна под каким-нибудь деревом с младенцем на руках в красивой сельской обстановке, все эти картины были куплены, как мы знаем, в то время как те, которые ты написал для какого-то развратника, желающего картину со своей шлюхой, ну, вы не всегда могли убедить покупателя, что вы дали ему именно то, что он хотел, потому что все ваши любовники упорно оставались только Лукрецией, или Данаей, или Флорой, или Еленой, поэтому большинство картин все еще находились в боттеге, все сложены друг на друге, потому что, несмотря на то, что вы продали несколько, вы иногда не могли скрыть своего собственного недовольства ими и возвращались к ним снова и снова, поэтому вы иногда посылали весточку через Федерико за той же женщиной, хотя и в другой форме, и мы могли понять, почему вы хотели это сделать, потому что у нас была тысяча, десять тысяч, на самом деле сто тысяч таких

заказы в карампане, и с тех пор, как вы впервые переехали в Венецию, нам было очевидно, что вам всегда нужна одна и та же женщина, и поэтому мы поставляли вам Лукрецию, Флору, Леонору, Елену, Корнелию и Диану с января по июнь, и Офелию, Веронику, Адриану, Данаю и, наконец, Венеру с октября по декабрь, хотя все, чего вы хотели с января по июнь и с октября по декабрь, была одна и та же женщина, и только после долгих размышлений над вопросом, почему вы писали наших дам такими толстыми, мы наконец догадались, почему эти огромные женщины выглядели так дьявольски прекрасно на ваших холстах, или, по крайней мере, один из нас догадался, то есть я, что вы хотели, вне всякого сомнения, каждый раз одного и того же: то есть ту долину в Сериане, грязный ты распутник, то есть долину между плечами шлюхи и ее грудями, то есть долину, где вы родились, которая, возможно, могла бы напомнить вам о вашем материнская грудь, что не отрицает того, что ты красивый мужчина с прекрасной фигурой, хотя самая привлекательная часть тебя — это твое лицо, как знает каждый, кто тебя встречал, потому что все шлюхи это замечают, и они сделали бы это для тебя бесплатно, но ты их не хотел, нет, все, что тебе хотелось, это смотреть на их подбородки, их шеи и их груди, и они быстро стали ненавидеть тебя, потому что у них не было ни малейшего представления о том, чего ты хочешь, и нам пришлось сказать им, чтобы они успокоились и просто шли, если ты их попросишь, потому что они никогда не сделают более легкого эскудо, и, более того, ты нарядил бы их в красивые наряды, как ты одеваешь всех, что, кстати, заставляет нас все больше подозревать, что ты действительно что-то ищешь, и, с годами, появлялись все новые Флоры, Лукреции, Вероники и Офелии, и все они были разными, но все одинаковыми для тебя, и им приходилось снимать свои туфли на высоких каблуках, как только они подходили к двери, фактически приходилось снимать все одежды, в которых они приходили, потому что вы заставляли их раздеться до трусиков и заставляли двух слуг давать им кружевную сорочку и все остальное необходимое, неизбежно какое-нибудь великолепное одеяние, расшитое золотой нитью, или платье, или иногда просто синюю или зеленую бархатную куртку, затем вы мягко просили их обнажить одну грудь, немного спустить сорочку, а затем часами смотрели на эти мягкие, широкие, округлые плечи, на невинно-порочные улыбки на их лицах, и это было так, как будто вы даже не замечали горячего пота на свежей коже этих обнаженных грудей, вообще не обращали внимания на то, что они могли вам предложить, потому что вам не нужны были узкие талии,

Молочно-белый живот, эти пышные бедра и нежные волосики в паху, тебя не интересовало, как раскрываются губы, колени и бедра, теплые колени и облака духов, способные свести мужчин с ума, и как бы одна из них ни пыталась говорить, смотреть и вздыхать, все, что она знала о тысячах способов соблазнения, все это оставляло тебя равнодушным, ты просто отмахивался от нее, говорил ей, чтобы она прекратила все это и что все, чего ты хочешь, это чтобы она оставалась абсолютно неподвижной, тихо сидела на диване и смотрела на тебя, не сводила с тебя глаз и не отводила их ни на мгновение, и ты настаивал на этом до такой степени, что все они — все до единой, от Лукреции до Венеры — были поражены этой идиотской и бессмысленной игрой в «ты смотришь на меня, я смотрю на тебя», потому что кто мы, в конце концов, жаловались они, повышая голоса, выглядя очень сердитыми, дети-девственники с кружевной фабрики?

Хотя мы, конечно, знали, что вам нужны не они, не как люди, а то, чего вы можете достичь через них, и я лично всегда считал, что нам следует прекратить говорить в терминах какой-либо конкретной модели и сосредоточиться на том, что лежит за ней, на какой-то идее, например, что женская фигура является serenissima, а мужская — carampane, хотя из всего, что я сказал до сих пор, вам уже давно стало ясно, откуда я исходю, я имею в виду, что этот человек говорит вам, какой вы необычный человек, человек, которого не интересуют женщины как таковые, а больше то, что можно найти через женщину, тот, кто ищет совершенства в самом скандально утонченном, дьявольском ощущении, для которого, с этой точки зрения, женщина — это всего лишь тело, идея, которую можно понять и с которой можно согласиться, потому что можно подумать, что мы не что иное, как тело, конец истории, хотя то, что вы можете сказать по этому телу

— если уловить это в момент желания, в момент, когда тело больше всего живо и горит желанием, — вот насколько глубоко, таинственно и непреодолимо желание, которое заставляет тебя хотеть — требовать — обладания объектом, ради которого ты готов пожертвовать всем, даже если это всего лишь маленький клочок кожи, или слабый румянец на этой коже, или просто грустная улыбка, может быть, то, как она опускает плечо, или склоняет голову, или медленно поднимает ее, когда крошечный светлый локон, сводящая с ума прядь волос, случайно падает ей на висок, и эта прядь что-то обещает, ты понятия не имеешь, что именно, но что бы это ни было, ты готов отдать, отдать за это всю свою жизнь, и, может быть, именно поэтому я чувствую себя убежденным

— и вы тоже это поймете — что мужчин сводит с ума не то, как они снимают с себя одежду; о нет, совсем наоборот, и не то, как выпячивается грудь, или как обнажается живот, или колени, или

появляются круп и бедра, ибо любое такое появление означает конец ничем не стесненной иллюзии, нет, это момент, когда слабый мерцающий свет свечи открывает животное в их глазах, потому что именно этот взгляд сводит всех мужчин с ума, сводит с ума по этому прекрасному животному, животному, которое есть не что иное, как тело, за которое люди умирают, за мгновение — за этот осколок времени — когда появляется это животное, прекрасное за гранью понимания, — и это тот свет, который вы иногда улавливаете в глазах Корнелии, Флоры, Елены и Венеры, в то время как вы все время полностью осознаете, поскольку вы прожили достаточно долго, тот факт, что именно так Корнелия, Флора, Елена и Венера выглядят сегодня, что они уже старые и морщинистые внутри и снаружи, и что ничто их не интересует, кроме как набить свои животы и кошельки, хотя большую часть времени и то, и другое пусто, и поэтому вы зовете их снова и снова, и мы продолжаем посылать их во все новых и новых обличьях, и вот они уходят: Корнелия, Флора, Елена и Венера, и их глаза могут сработать и попасть в идеальное место, потому что, очевидно, именно этого вы сами хотите, и именно поэтому вы запрещаете им делать все, что они обычно делают, поэтому вы не позволяете им снять одежду и полностью обнажить свою грудь и все остальное, что у них есть, потому что вы знаете, что животная сущность — это вопрос отложенного удовольствия, которое существует только в акте отсрочки, что обещание глаз — это всего лишь обещание того, что что-то произойдет позже, может быть, скоро, или

действительно, в следующий момент, как раз когда мы расстегиваем ремень, когда вся наша одежда спадает разом, как обещают их глаза, именно тот взгляд, который вы ищете и который вы явно хотите увековечить на своей фотографии, и в хороший день вы сразу находите этот взгляд, и он обещает удовлетворение сейчас, да, прямо сейчас, но только, возможно ... ведь отложенное удовольствие — это сама суть этого по сути адского устройства, клетка, в которой заключены и вы, как и любой человек в Венеции — да и в мире в целом, — и хотя вам, возможно, всегда хочется нарисовать отложенный момент, момент, когда обещание выполнено со всеми вытекающими последствиями, весь процесс, зафиксированный в цвете и линиях на вашем холсте, этот процесс, присущий образу, который вы покупаете за одно эскудо (если вы получаете то, за что заплатили), эта картина, которую вы так желаете написать, на самом деле о чем-то другом, чего никто никогда не сможет нарисовать, потому что это была бы картина неподвижности, застоя, Эдема Исполненных Обещаний, где ничто не движется и ничего не происходит и — что еще труднее объяснить — где нечего сказать об этой неподвижности, постоянстве и отсутствии изменений,

потому что, исполняя обещание, вы теряете обещанное, то, что исчезает при исполнении этого обещания, и свет в желаемом объекте гаснет, его пламя угасает — и так желание ограничивает себя, ибо как бы вы ни желали, больше ничего нельзя сделать, потому что в желании нет ничего реального, желание состоит исключительно из предвкушения, то есть будущего, потому что, как ни странно, вы не можете вернуться назад во времени, нет возврата из будущего, из того, что произойдет дальше, нет способа вернуться к нему с другой стороны, стороны памяти, которая абсолютно невозможна, потому что дорога назад из настоящего неизбежно ведет вас не туда, и, возможно, вся цель памяти — заставить вас поверить, что когда-то было реальное событие, что-то действительно случившееся, где существовала ранее желанная вещь, и все это время память уводит вас от своего объекта и предлагает вам вместо него его подделку, потому что она никогда не могла дать вам настоящий объект, факт в том, что объект не существует, хотя это не именно так ты это и воспринимаешь, ведь ты художник, то есть тот, кто живет в желании, но может отвергнуть его заранее, утешая себя мыслью, что наступит момент, когда сорочка спадет, хотя вера в обещание этой мысли делает тебя виновным человеком, жалким грешником, человеком, осужденным на жалкие грехи до тех пор, пока не наступит день суда, хотя этот день еще далек для тебя; так что пока ты можешь продолжать верить и желать, и тебе не нужно думать; ты можешь сойти с ума, можешь неистовствовать и жаждать так, что едва сможешь дышать, — а потом ты можешь вспомнить о Федерико и послать его к нам, а мы можем послать тебе Данаю, Веронику, Адриану и Венеру, всех их, и мы можем продолжать посылать их, пока Федерико не придет и не скажет нам, что тебе нужно... Но настанет день, когда мы подведем под всем этим черту, когда мы завершим работу, подсчитаем все, что вы заказали, и тогда не будет больше «Пальма Веккьо», больше никакого «Якопо Негретти», тогда все будет кончено, и мы пришлем вам счет, можете быть в этом уверены.

TH AT GAGARIN

Я не хочу умирать, а просто покинуть Землю: это желание, как ни смешно, так сильно, что оно единственное во мне, как смертельная зараза, оно гниет мою душу и режет меня, именно, что среди вчерашнего генерала оно захватило мою душу, и ну, эта душа уже не могла освободиться, так что ну да: было бы так хорошо покинуть Землю, но я имею в виду именно покинуть ее, взлететь и подняться все выше и выше в эти ужасные высоты, увидеть то, что увидел впервые он, тот, кто был первым, кто смог взлететь и достичь этой ужасной высоты, не просто с того момента, как вчерашний генерал меня заразил, но с этой заразой я уже сделался немного идиотом от мысли, что я как-нибудь это сделаю, — я знаю, что не должен об этом говорить, и знаю, что не могу никому показать эту тетрадь, потому что меня тут же обвинят в чувствительности или еще в чем-нибудь похуже, — во всяком случае, кому-то С одной стороны, они держали бы дозу Ривотрила, с другой — показывали бы мне жестами, что я идиот, и все время с подозрением смотрели бы мне прямо в глаза, потому что они прекрасно знают, что я не идиот; в любом случае, никто бы даже не подумал воспринимать меня всерьез, никто бы не понял, что именно привело меня сюда, и я едва ли знаю себя; в любом случае, все, что я знаю, это то, что теперь выхода нет: я закрываю глаза и вижу, как поднимаюсь, и вот у меня кружится голова, я открываю глаза...

но я уже знаю, что не оторвусь от этого места ни на сантиметр, ни на миллиметр, останусь здесь, в этом проклятом месте, как дерево, вросшее в эту землю; я не могу пошевелиться, я могу только думать; самое большее, я могу только попытаться представить себе, каким он был — тот, кто сделал это впервые: и вот как всё началось; я уже был на этом спуске, сначала я просто иду по дороге, а потом даже не уверен, куда она спускается — я начинаю в библиотеке и спрашиваю тётю Марику, которая всегда там по средам с трёх до пяти, я спрашиваю её, есть ли что-нибудь о Гагарине — о ком? тётя Марика пристально смотрит на меня, я медленно произношу слоги: Га-га-рин; тётя Марика поджимает свою

рот, я не знаю, кто это, говорит она, но я могу взглянуть — конечно, вы знаете, кто он, говорю я, Гагарин, он был первым человеком в космосе, вы знаете, ах да, этот Гагарин, она улыбается, как будто теперь признавая, что она тоже по сути своей человек той эпохи, и для любого человека той эпохи — как и в моем случае — совершенно очевидно, кто этот Гагарин: она смотрит на коробку, полную карточек, она перелистывает карточки, она останавливается на одном месте, перелистывает карточки вперед, перелистывает карточки назад, ну, ничего, она говорит, мне очень жаль; но это только начало, в конце концов, это всего лишь маленькая институциональная библиотека, затем я сажусь на утренний автобус в районный город, и там, и даже там, кто-то просто листает карточки, стоя на одном месте, он переворачивает карточки вперед, он переворачивает их назад, качая головой, ничего, говорит, и я еду дальше на утреннем автобусе: я иду в уездную библиотеку, и кто-то переворачивает карточки вперед и назад, конечно, теперь на компьютере, и вот я сижу в поезде по дороге в Будапешт, ужасно жарко, окна нараспашку, и напрасно, раскаленный воздух врывается снаружи, обжигая кого бы он ни достиг, но меня он не дотрагивается, потому что мне этот поезд неинтересен, в голове только одна мысль, и я уже стою перед стойкой библиотеки имени Эрвина Сабо, Гагарин?! — спрашивает библиотекарь и просто смотрит на меня, и, возможно, перед стойкой в библиотеке имени Гагарина на меня так же посмотрят, если я произнесу имя Эрвина Сабо, неважно, с этого момента все начинают смотреть на меня именно так, то есть странно, то есть недоверчиво, или потому, что думают, что я их разыгрываю, или потому, что пытаются понять, действительно ли я идиот и действительно, куда бы я ни обращался, чтобы получить какую-то информацию — бесполезно пытаться придумать какое-то приемлемое объяснение вместо настоящего — их лица сразу же становятся подозрительными, каким бы образом это ни касалось их, они не понимают, чего я хочу, и каким-то образом чувствуют, что данное мной объяснение неубедительно: они видят по моим глазам, что происходит что-то ещё, они не верят мне, не верят, что я собираюсь читать лекцию...

Но для чего ещё всё это может быть полезно? Ведь моя первоначальная профессия — историк науки. Так что они могли бы поверить мне на слово, но они мне не верят, потому что кому, чёрт возьми, сегодня будет интересен Гагарин? Ну, хватит уже шутить, я вижу это по глазам каждого, хотя никто этого вслух не произносит, но именно это говорят их глаза, когда они смотрят на мою личную карточку или когда я регистрируюсь в библиотеке.

и они спрашивают о моей профессии, и они удивляются: как он стал историком науки, и бывают случаи и похуже, потому что все равно один из десяти тысяч узнает меня, потому что они видели меня один или два раза раньше, много лет назад в популярной научно-популярной программе по телевизору, и затем становится еще хуже, потому что потом, когда я рассказываю им об Институте и обо всем остальном, они заговорщически подмигивают мне, показывая, что хорошо, они понимают: они прекрасно знают, что конечным результатом этого будет что-то серьезное и научное, и затем возникает эта ужасная фамильярность, как будто с привычной клейкой субстанцией и привычным стойким запахом, конечно, в такие моменты я убегаю, то есть иду дальше, но я не могу зайти слишком далеко, потому что ну, мне это интересно, я спрашиваю, ну, а о Гагарине ничего?

Ну, что касается Гагарина, то, говорят они, ничего нет, так что же у вас есть, я спрашиваю, как насчёт Каманьина, например? А они только головой качают, даже имени не понимают, Ка-ма-ньин, я снова произношу эти слоги, и я мог бы даже упомянуть, что есть какие-то мемуары о нём на венгерском языке — очевидно, до смерти отредактированные КГБ —

но потом я отпускаю это, какой смысл делиться этим с кем-то, сводить себя с ума объяснениями, Боже, сохрани меня, всего этого достаточно, чтобы сделать кого-то постыдным, может быть, мне тоже стыдно, потому что я не могу себе представить, что я бы искренне сказал кому-то, почему я исследую Гагарина с таким упорством, с такой одержимостью, когда я даже сам не знаю, почему я это делаю, другими словами, это постоянно меняется с каждым днем и неделей, вначале я знал, или, по крайней мере, был убежден, что знаю, но потом все стало еще более неясным, и что касается сегодняшнего дня, когда я стою здесь с Каманьиным и, конечно, Гагариным, и, конечно, сотнями и сотнями книг, документов, фильмов и фотографий, если бы я спросил себя, почему, все сразу стало бы совершенно темным: поэтому я даже не спрашиваю, а потом это возникает само собой, и все так четко и ясно, как плеск горного ручья в темноте, но, конечно, никто не спрашивает, я не даже спроси себя, другие меня не спрашивают, совершенно ясно, что я сам понятия не имею, чего хочу от всего этого, так же как это изначальное желание работает во мне непрерывно: да, вот именно, покинуть Землю, но как Гагарин и другие мне в этом помогут, я, право, не знаю, конечно, когда-то у меня была какая-то идея об этом, но это было ещё в начале, и я уже не в начале, уже не с тётей Марикой, поэтому я стараюсь сосредоточиться только на Гагарине, однако в этом есть проблема; потому что мой мозг не может этого сделать, пятьдесят семь лет и дальше

Ривотрил, всё кончено, этого более чем достаточно для одного мозга, и это не просто вопрос концентрации, но вопрос всего существа, то есть моего собственного, и способности взять себя в руки, а именно я больше не могу взять себя в руки, единственное, что я могу делать, это время от времени сосредотачиваться только на одном аспекте вопроса, который меня занимает, всегда только на одном таком аспекте, я концентрируюсь на деталях одного аспекта, и это нормально, и на самом деле всё идёт хорошо, я могу отгородиться от мира, отгородиться от того, что происходит вокруг меня в данный момент — потому что мир, конечно, есть, он продолжает работать своим собственным рациональным образом, а именно в конкретный момент времени и в своих конкретных деталях, а именно сегодня, в этот конкретный момент, когда я пишу это, а именно в пятницу, 16 июля 2010 года, мир всё ещё функционирует рационально — просто по отношению ко всему этому нет никакого смысла в том, как и почему он работает — потому что он уже проявился примерно эта концепция заключается в том, что она бессмысленна, и я имею в виду, что в ней никогда не было никакого смысла, никогда, ни в каком историческом прошлом; люди верили только по необходимости, что в этом есть какой-то смысл, тогда как сегодня мы точно знаем, что это иррационально, что такие слова, как «мир», «целое», «судьба, предначертанная издалека», и все подобные вещи — просто пустые и ничего не значащие обобщения, о которых проще всего было бы сказать, что это полный вздор, потому что в этом-то и заключается всё дело: один большой вздор — и не потому, что это немыслимые абстракции и тому подобное, а потому, что в формулировках есть ошибки, вот в чём тут дело, недоразумение, когда человек получает краткосрочный контракт на одну человеческую жизнь и начинает верить в эти абстракции, отчасти прямо, отчасти в подтверждение, он расстилает их повсюду, как ковры, и вот, говорит, жизнь продолжается, я даже объяснял это доктору Гейму, но он, конечно, просто слушает и ничего не говорит, хотя прекрасно понимает, о чём я говорю, и «благодаря своим выдающимся логическим факультетов» он не лишает меня права свободно приходить и уходить между Институтом и внешним миром, как он выражается: он ДЕРЖИТ меня на свободе, а потом мы просто улыбаемся друг другу, как будто оба думаем об одном и том же, хотя я не думаю, я думаю, что однажды я точно покончу с ним, и не будет вообще никакой другой причины, кроме как как он мне улыбается, я ни в чем ему не соучастник, однажды я сверну ему шею, я стою у него за спиной, он не замечает, он никогда не замечает, что творится у него за спиной, ну, однажды я поднимусь, и прокрадусь туда, и схватю эту голову, улыбаясь в знак соучастия, и расколю ее, вот и все, не может быть никаких

другой конец, но до тех пор у меня полно дел, например, вот вопрос о Гагарине, об этом Гагарине и остальных, и мне действительно нужно дойти до конца, если я действительно хочу покинуть Землю, я действительно хочу уйти, раз и навсегда, это моё желание, как бы нелепо оно ни звучало, настолько сильное, что это единственное, что есть во мне, как смертельная инфекция, она разъедает мою душу уже несколько месяцев, я действительно больше не знаю, начало теряется в неизвестности, и только Гагарин становится всё яснее, я вижу его прямо здесь перед собой, его куда-то везут на автобусе, а позади него стоит Тытов, оба в скафандрах, оба довольно серьёзные, тут не до шуток, хотя мы знаем про Гагарина, что он был склонен к таким вещам, у него были стальные нервы, так о нём Каманьин говорил, или, может быть, Королев говорил, я уже не помню, верно Перед взлетом пульс у него был измерен до 64, врачи не могли поверить своим глазам, 64, ну, но это было так, пульс 64 в Тюратаме в казахской пустыне, где будильник прозвенел в 5:30 по московскому времени — а не по UTC, то есть по Всемирному координированному времени — и было около 7:03, когда Первое Лицо заняло свое место в космическом корабле, и тогда это Первое Лицо, этот лейтенант по фамилии Гагарин из крошечной деревни Клушино, сын Алексея Ивановича и Анны Тимофеевны, этот крестьянский мальчик родом из Смоленской области и ростом 157 сантиметров, 12 апреля 1961 года вошел в крошечную кабину ужасно опасного космического корабля Королева и был вынужден долго ждать, а затем пришло время, и снова, презрев стрелки часов Всемирного координированного времени, в 9:07 по московскому времени двигатели «Востока-1» запустились вверх, и через несколько минут Гагарин с ужасающей храбростью взлетел в стратосферу, чтобы под непреодолимым давлением ускорения, а также впоследствии войдя в космическую скорость, выйти на орбиту, другими словами: покинуть землю, чтобы взлететь отсюда и подняться всё выше и выше, и он говорит, с этих высот, с высоты 327 километров над сибирской пустыней, что это УДИВИТЕЛЬНО, говорит он Внимание, вижу горизонт Земли. Очень такой красивый ореол. ..

Очень красивое, так сказал Гагарин, когда, будучи Первым человеком, он увидел Землю из одного из иллюминаторов «Востока-1», и он не пытался объяснить, насколько это было очень, и насколько это было красивое, потому что он увидел нечто — Землю — как никто никогда не видел ее прежде, но не будем останавливаться на этом, вернемся к тому, что было до взлета, к Королеву на взлетном центре после того, как он провел всю ночь без сна, или к

Вернее сказать, в смертельном страхе, потому что именно тогда, когда под гнетом так называемой вечерней тьмы, когда всё имеет тенденцию показывать свою самую угрожающую сторону, он чувствовал, что, помещая Гагарина в эту бомбу замедленного действия, он отправляет его в почти непредсказуемо фатальное путешествие, этот трезвый и сдержанный человек был подобен человеку, который мог немедленно, из-за бессонницы и своей весьма разумной тревоги, откусить голову любому, кто мог бы к нему сейчас случайно приблизиться, так что никто на самом деле к нему не подходил, ни один коллега, они просто выполняли его приказы с почтительного расстояния, и они отправили Гагарина вверх по лестнице рядом с переносными лесами в капсулу, они дали ему — поскольку он имел право произнести эти последние слова — своего рода воззвание к советскому народу и к партии, затем они усадили его на сиденье в капсуле, они закрыли дверь, и затем все, включая самого Гагарина, начали яростно работать над подготовкой, проверяя, проверяя, проверяя всё возможное снова и снова, чтобы Королев мог обратиться к Гагарину радио, чтобы он мог в течение следующих ста восьми минут выкрикивать в микрофон эту знаменитую фразу — среди прочих — фразу, которую можно услышать и сегодня: «Заря звонила Кедру. Космический корабль вот-вот взлетит, Кедр», — после чего Гагарин объявил со всей ожидаемой от него решимостью, но в то же время с детским энтузиазмом: « Замечательно. Настроение великолепное. К взлёту готов».

В этот момент Королёв крикнул в микрофон: «Первая ступень, средняя ступень, последняя ступень! Старт! Поехали!», на что озорной Гагарин лишь ответил: « Поехали!»

Другими словами, если говорить грубо, но по существу: «Ну, поехали», и на этот раз в этой фразе тоже была та же самая, обычная, милая дерзость Гагарина, но было еще и то, что он готовился вместе с другими пустить дело в ход; соответственно, он был дерзок, но дерзок по-воодушевляющему, и другие это тоже чувствовали, чувствовали по его голосу сквозь трескучий репродуктор, что в воздухе витает нечто большое, и этим большим в воздухе был Гагарин и другие, — хотя все они знали, что сегодня советская наука делает головокружительный шаг вперед в истории человечества, все они думали об этом, это

воодушевляло их, хотя воодушевляло их и что-то другое, потому что речь шла о чем-то гораздо большем: а именно о том, что Человек вступил в беспрецедентное, головокружительное, ошеломляющее по своим последствиям приключение в контексте Истории Человечества; или, по крайней мере, на первом этапе этого приключения, а именно, ракета, несущая его, взревела, и с непрерывным грохотом, проявляющимся в никогда прежде не слышанных звуках, «Восток-1» оторвался от казахской пустыни, от Земли, а под ним взревел космический корабль, и «Восток» оторвался всё быстрее и быстрее, и всё под ним, рядом с ним, над ним и в нём тоже затряслось, и через пару минут Гагарин достиг скорости Дельта-v — десяти километров в секунду — и в отличие от того, что Каманьин записал в своём дневнике, он быстро оказался на грани потери сознания от безумного ускорения, так что разговор между Землёй и «Востоком», а именно между Зарей и Кедром, который до этого можно было назвать спокойным, на несколько секунд прервался: его лицо исказилось, Гагарин пытался выжить, пока не ослабла тяга, пока не уменьшилось давление на его тело — более пяти g — и «Восток-1» не достиг нужной скорости, так что Он мог преодолеть гравитационное давление и сопротивление; для этого ему нужно было достичь на «Востоке-1» определённой скорости в км/с, и наконец, в 6:17 по всемирному координированному времени, то есть в 9:17 по московскому времени, он достиг точки, где мог заверить Королева, что космический корабль функционирует нормально. Я вижу Землю через «Взор». Всё идет по плану;

но, конечно, в тот момент он не мог видеть Землю непосредственно через Взор: он мог видеть ее только позже через одно из трех окон, расположенных примерно на высоте его головы, но прямо сейчас, и вообще говоря, над ясным полушарием Земли, этот Взор — оптический прибор в форме полусферы, расположенный у его ног, — помогал ему, как он всегда показывал, символизировать Землю, где находился «Восток» в данный момент, то есть как своего рода умный маленький навигационный механизм, используя лучи солнца посредством восьми зеркал, он всегда ясно передавал Гагарину, где он находился в данный момент по отношению к Земле, но не будем останавливаться на этом, потому что сейчас мы остановимся на том, как все это началось среди самых ужасающих обстоятельств, которые только могли быть, потому что все началось с запуска в космос различных видов животных, следовательно, передавая

следующая информация о космосе: если кто-либо вообще мог бы остаться в живых в нём, то это вынудило бы существо, о котором идёт речь, проникнуть в космос (всё это началось параллельно с развитием ракетной техники, в ходе которого где-то в 1947 году кому-то пришла в голову идея, что, возможно, туда можно отправлять и живых существ, а не только космические корабли), по всей вероятности, этими первыми живыми существами были плодовые мушки, запущенные в космос американцами на ракете V2, и главной целью этого запуска было исследование того, как так называемое живое существо может выдержать так называемый космос, но, конечно, эти попытки в 40-х и 50-х годах были неуверенными, влекущими за собой определённые жертвы, потому что на самом деле нельзя было считать этих живых существ, запущенных в космос, чем-то иным, кроме жертв, поскольку поначалу бедняги едва выживали, это также демонстрируют, например, американские «операции Альберта», когда пять обезьян по имени Альберт были отправлены в космос пять раз, одну за другой, но все пять в конце концов погибли, убитые, ибо в основном, ударом: а затем 20 сентября 1951 года обезьяна по имени Йорик пережила поездку, и всего через несколько часов после возвращения она умерла от удаления инфицированного электрода — люди начали говорить об успехе, но, выражаясь деликатно, успех был еще далек, потому что до этого момента еще неисчислимое количество животных должно было погибнуть, мы даже не знаем точно, сколько их погибло, известно лишь, что их было очень много; во-первых, что касается Советов, у них было принято не говорить о гибели животных, запущенных в космос, если можно было этого избежать, что им, конечно, не всегда удавалось — а именно не говорить об этом — и вот они: Рыжик, Лиза, Альбина, Пчёлка, Мушка, и кто знает, сколько бродячих собак из Москвы умерло до того, как появилась знаменитая Лайка, Лайка, провозглашённая Советами великим героем, и это было не проблемой, конечно, Лайка была великим героем, но она не стала им в том смысле, в каком это официальная версия рассказывала — потому что, хотя Лайка и не должна была выжить, в космическом корабле даже не было посадочного модуля, согласно официальной версии, она прожила там семь дней, пока её не усыпили быстродействующим ядом — на самом деле реальность была гораздо более безжалостной, а именно: из-за предполагаемого отказа теплового экрана собака уже страдала в первые мгновения после запуска, может быть, на пятом или седьмой минуте, так как не выдержала травмы, более 41 градуса вместо нормативных 20°С, проще говоря: умерла мучительной смертью от перегрева, или по другим данным просто сгорела заживо,

и вот эта бедная маленькая падаль кружила в космосе сто шестьдесят с чем-то дней, после почти мгновенной смерти от пыток, произошедшей 3 ноября 1957 года, пока весь космический корабль не сгорел по возвращении на землю, — но одно несомненно: Королев и его экипаж сами проглотили бы фиктивный яд, предназначенный для Лайки, чтобы люди могли выдержать существование в космосе, и это тоже произошло, и теперь был только один большой скачок в 1961 году, когда после стольких страданий и жертв в Кремле, казалось, что пришло время в Тюратаме запустить человека — а именно одного из нас — в космос, и они действительно выпустили одного из нас, менее чем через четыре года после Лайки: Гагарин в своем скафандре поднялся по ступенькам шахты, забрался в «Восток», расположился в кабине космического корабля, затем его пристегнули, снарядили, проверили и, в конце концов, закрыли за ним дверь кабины, и это, должно быть, было самое пугающий момент — когда впервые в истории дверь космического корабля закрылась перед человеком — и вот он один, лицом к лицу с тем, чего я тоже хочу, но, конечно, на самом деле не нуждаюсь, и я не буду забегать вперед слишком далеко, потому что ситуация такова, что были предпосылки, на самом деле, как бы это сказать, было ужасающее количество предпосылок, и мне действительно пришлось бы записать их все, если бы это было возможно: каждая, но каждая отдельная предпосылка — потому что ничто никогда не происходит без предпосылки, на самом деле все есть просто предпосылка, вот как это есть: как будто все всегда готовится к чему-то еще, что было прежде, как будто оно готовится к чему-то, но в то же время, и ужасающим образом, как будто готовится без какой-либо конечной совокупной цели, так что все — просто постоянно угасающая искра, и я не хочу сказать, что все — просто прошлое, но я говорю, что все всегда стремится к будущему, которое никогда не может наступить, то, чего больше нет, стремится к то, чего еще нет, и если бы мы захотели выразить это юмористически, мы могли бы подумать, что в реальности действительно есть что-то вроде будущего или прошлого, но я не хочу выражаться юмористически, ни в коем случае я не думаю, что это было бы так, так как, по моему мнению, вся эта история с прошлым и будущим — это просто некое характерное недоразумение, недоразумение всего того, что мы называем миром и о чем — говоря со всей серьезностью — даже ничего нельзя сказать, кроме того, что помимо антецедентов есть только следствия, но не происходящие во времени; я говорил об этом бесчисленное количество раз доктору Гейму, но безуспешно, потому что доктор Гейм не тот человек, который настораживается, услышав такие вещи, он не

навостряет уши на всё, ему что угодно говорят, а он просто опускает свою особенно огромную голову, он привык, что вокруг него говорят всякую чушь, и всё это время его огромная голова просто опущена, потому что для него каждый разговор — это просто симптом чего-то, он никогда не поверит, что, по крайней мере в моём случае, в том, что я говорю, есть непосредственная связь, нет, не доктор Гейм, он просто сидит и делает вид, что внимательно слушает, но он не одобряет и не опровергает, он просто позволяет людям говорить, это естественный порядок вещей, наверняка он так думает: пусть говорят, пусть говорят, пусть делают что хотят, им сделают уколы, запихнут таблетки в глотки: у меня это просто Ривотрил, и всё, с его точки зрения, всё решено, я разговариваю с ним каждую среду, начиная с девяти утра, но ничего, он даже не шелохнется — я не просто так говорю, я просто часто думаю, что его там нет, но это не значит, что он не обращает внимания, потому что если бы я спросил его, что с тобой происходит, Говнюк, — я попробовал один раз, — он сразу же сказал бы: Могу я спросить, о ком или о чем ты говоришь? так что нельзя просто накачать его свинцом, потому что он замечает, даже когда его там нет, как только он слышит Говнюка, он тут же просыпается, но если, например, кто-то заговорит с ним о прошлом, или о прошлом и будущем, то ничего, ни одна морщинка не дрогнет на его лбу, но тогда кому я должен это рассказать, кроме него самого — нет смысла пытаться с кем-то еще, потому что все остальные здесь больны, на самом деле, хотя я действительно не говорю об этом охотно, потому что тогда это было бы как если бы я тоже заболел, соответственно я просто говорю с ним, я говорю с ним и говорю, конечно, я не рассказываю ему всего, но опять же, почему бы и нет, поскольку что-то всегда должно начинаться с начала, я говорю ему, например — когда всплывает имя Королева или Каманьина или Келдыша — что это было великое трио в этом деле, и именно из-за них ты должен знать об этом все, что только может знать человек: как невозможное стало возможно, и в то же время это довольно сложно, потому что с Советами всё было настолько засекречено, что любой, кто связан с этим, может узнать только определённые фрагменты, и даже с этими фрагментами он не может быть слишком уверен в том, с чем он столкнулся, потому что секретность в космических путешествиях была действительно безумной во времена Холодной войны, так что даже трудно представить, как факты, касающиеся главных действующих лиц, скажем так, достигли общественности только в полностью сфальсифицированном виде, и под этим я подразумеваю, что мы знаем наверняка только то, что главные действующие лица

имена были, но на самом деле выделить то, что они делали, и как все это соединилось воедино, чтобы человека удалось поднять в космос, ужасно сложно, потому что любая информация, которая была общедоступной, была ложной, а то, что не было общедоступным, было секретным, а то, что было секретным, было неясным, вот как обстоят дела, и так оно и останется, но тем не менее — как всегда говорит медсестра Иштван, только когда он может говорить, он здесь самый идиот, это уж точно, я говорю это доктору.

Гейм, и доктор Гейм говорит, не слишком ли резко вы это выразили, поэтому я немедленно беру свои слова обратно и продолжаю, говоря, что на самом деле странно то, что не было никакого недостатка в материале, поскольку, например, почти все они написали свои автобиографии, Гагарин был первым, конечно, но Королев и Каманьин последовали за ними со своими, а затем академик Келдыш попытался втиснуться в мировую историю, затем появился младший троюродный брат Гагарина с книгой, которая была чистой теорией заговора, и я мог бы продолжать, говорю я ему, — конечно, все это просто сказки, как же иначе: нацарапанная ложь, сентиментально сочиненная, затем написанная и переписанная тысячи и тысячи раз, исправленная, переписанная, затем снова переписанная, исправленная и снова переписанная, но если мы хотим знать хоть что-то о предыстории и о самом Великом Путешествии, у нас больше ничего нет, поэтому нам приходится читать эти отчеты снова и снова, почти столько же раз, сколько и они — безымянные сотрудники тайной полиции, дорогие офицеры и милые маленькие офицеры, которые стояли прямо ПОЗАДИ Гагариных, Королевых, Каманых, Келдышей, племянников и вторых племянников — как бы это сказать, они сделали то, что должны были сделать, чтобы эти записи никогда не были документацией космических путешествий в каком-либо истинном смысле этого слова, а просто подделками истории, подделками событий, и недостаточно сказать, что «это самый грязный аспект всей этой истории», потому что немедленно нужно заявить, что эта грязь была НЕОБХОДИМА, ну, давайте не будем здесь преувеличивать, доктор Гейм прерывает меня, и тогда мне даже не хочется больше рассказывать ему о том, какова моя позиция по этому вопросу, и теперь я только записываю это здесь, в свой собственный блокнот: что без этой грязи, без этой фальсификации истории и событий, гигантский факт осуществления истории был бы никогда не появлялись, и это породило это, так же как и мою собственную жизнь, этот Голливуд, как нас называют в деревне, указывая на то, что — и это правда —

что единственные люди, которые попадают сюда, в Дом престарелых, — это те, чьи гнезда хорошо обустроены, и, ну, зачем это отрицать, все

здесь есть или, точнее, было довольно хорошо свитое гнездо, потому что, когда вы переезжаете сюда, каждый житель оставляет все свое значительное имущество Институту, как и я, как и другие, была большая куча того и сего, а теперь ничего, раньше у меня было много, но теперь у меня нет даже проклятого пенни, я отдал все это доктору Гейму, чтобы каждую среду, начиная с девяти утра, он мог опускать свою ужасно огромную голову, слушая меня, а я позволяю своим мозгам свисать, пока слушаю медсестру Иштван, это не сумасшедший дом, как утверждают жители деревни, официально говоря, это совсем не так, и даже если в этом слухе что-то есть, то это потому, что, кроме меня, почти все здесь идиоты; Голливуд, ну да, и то, что мы тут заперты, и что выйти за дверь можно только при наличии официального пропуска на выход, подписанного доктором Геймом, как и у меня, — всё остальное меня не волнует, но для меня выход — жизненная необходимость, и поэтому я на этом настаиваю, и особых препятствий не было, и даже несмотря на регулярные дозы Ривотрила, я не стал идиотом, как все остальные здесь, вместе с этим проклятым Иштваном, который преследует меня, чтобы поговорить со мной, но понятия не имеет, чего он хочет, он идёт за мной, я его уже чувствую, мне даже не нужно оглядываться, он украдкой наблюдает, чтобы наброситься на меня, чтобы что-то сказать, но какое-то время он просто скулит и молчит, он стоит передо мной, не глядя мне в глаза, а смотрит в сторону, совсем рядом со мной, потом, просто мямля и мямля, начинает бормотать: есть кое-что, что я хочу вам сказать, потому что вы образованный человек, а он только мямлит и мямлит всякую тарабарщину, и потом: вы образованный человек, и уже когда я слышу такие вещи, как бы это сказать, я ОПРЕДЕЛЕННО вздрагиваю, и нет освобождения от этой дрожи, я один вздрагиваю, если я думаю об этом Иштване, мне становится страшно, как в глубине полицейского сапога: он идет за мной, прочищая горло, и говорит, я тебе говорю, я хочу поговорить с тобой, потому что ты образованный человек, и ты поймешь, и тут начинается вся эта тарабарщина про луну, я не шучу, этот Иштван все время пытается что-то сказать о луне, что он открыл секрет ее гало, это не шутка, он пытается мне это сказать годами, но он все время путается, или, точнее, дело не только в том, что он путается, а в том, что он отталкивается от этого замешательство, потому что это замешательство прямо в начале его слов, он даже говорить нормально не может; возможно, доктор Хейм нанял его, потому что он ещё больший идиот, чем пациенты, которых он лечит, ну, как бы то ни было, Голливуд,

Иштван, доктор Гейм, я живу здесь, может быть, уже шесть лет, я не веду счёт, мне всё равно, сколько прошло или сколько осталось, теперь ничего не осталось, таково моё нынешнее положение, мне это совершенно ясно, какой смысл лгать себе, у меня не осталось даже одного дня: моя жизнь кончена, Конец, больше нет, но этим я не хочу сказать, что это как будто раньше у неё был какой-то смысл, потому что его не было, так же как жизнь никогда не может иметь никакого смысла, и поэтому для меня не было никакого смысла раньше, и не будет потом, и если я говорю сейчас, то в этом нет особого смысла, и это ничего не значит, я имею в виду, что дни идут один за другим, я провожу свои исследования, читаю, изучаю архивы, слушаю записи, смотрю записи, и, собственно, не так давно, когда выпал первый снег, мне даже удалось лично расспросить одного из участников, который был довольно близок к ключевому ко всему этому, и если я говорю довольно близко, я имею в виду, что я говорю о человеке, который — пусть даже в самом прозрачном смысле — был затронут этим, не замечая при этом вообще ничего, как когда ласточка пикирует за спиной человека, и — бац! к тому времени, как человек обернулся, его уже не было, ну, что-то подобное могло случиться с неким генералом Тихамером Яси, потому что это был тот, до кого мне удалось добраться несколько недель назад, это было так легко, как детская игра, я был готов к тому, что это займет месяцы, но одного телефонного звонка было достаточно, потому что, к моему великому удивлению, он сказал: хорошо, приезжай, и я сказал себе, хорошо, тогда я поеду, и уже сидел у него в квартире, я отставной генерал, поправил он меня в шутку, когда я обратился к нему как к генералу, и мы сразу же стали обращаться друг к другу неформально, он был добросердечным, определенно дружелюбным, так что я задавался вопросом, как этот Яси стал солдатом, и я надеялся, что мое удивление не отразилось на моем лице, потому что генерал был определенно дружелюбным, прямым, добродушным и готовым помочь, добрый старый ДЯДЯ, или, скорее, ДЯДЯ ТИХИ, и именно он был ближе всех в понимании всего, что произошло с Гагариным, и поэтому я сказал ему: Господин генерал, не приходит ли вам в голову, что мы почти ничего не знаем о том периоде жизни Гагарина после его единственного полета в космос, а затем его кругосветного путешествия, мы ничего не знаем о том, что произошло с ним после его великого триумфального путешествия

— конечно, мы знаем, он стал директором учебного центра в Звездном городке, — резко ответил он с некоторым видимым замешательством, — но ответ пришел слишком быстро, слишком механически, и это почти заставило меня заметить, что в его ответе было что-то не так, левое веко генерала немного дрожало, и по этому левому веку я сразу же

воспринял: здесь действительно есть проблема, когда я задавал ему вопрос, я в значительной степени уже знал, каким должен быть ответ, я часто такой, я перенял эту привычку из своих прежних занятий, назовем их так, занятий, я привык объяснять определенное явление таким образом, что я задавал вопрос, на который сам давал ответ с кристальной точностью, на самом деле в таких случаях я даже не задаю, я просто помогаю с вопросом, чтобы аудитория на моих прежних научно-популярных лекциях — которые раньше тяжело давали мне душу, хотя в целом теперь уже нет — поняла, о чем я говорю, и так было, когда я сидел рядом с этим добродушным солдатом, жена которого почти сразу же протянула ему поднос через тихонько приоткрывшуюся дверь, и на этом подносе все было расставлено ровно в два аккуратных параллельных ряда, с двумя рюмками «Уникума», двумя стаканами воды, двумя маленькими мисками соленых лесных орешков, и, наконец, на двух маленьких тарелочках несколько штук — без сомнения, равное количество — так называемых РОПИ, или хлебных палочек, так что перед нами были стаканы, миски, блюдо и Уникум: я думаю, — очень добродушно сказал генерал, — я думаю, что я самый старший, так что привет, давайте не будем формальны, и он уже поднял свою рюмку, и мы уже использовали неформальное обращение, ну, как вы знаете, вот что известно о Гагарине: мы знаем, что он был в Звездном городке, затем там, в конце, была та ужасная авария, ну, — сказал я в этот момент, и я попытался вернуть его к анализу начала, и это тоже удалось, но пока я слушал информацию о начале, я был занят своими мыслями, пытаясь выяснить, знал ли мой новый друг, этот дорогой ДЯДЯ ТИХИ, что-то на самом деле о том, что произошло, в конце концов, я думал, он был самым высокопоставленным комиссаром по так называемым венгерским космическим путешествиям; согретый Уникумом, я посмотрел на его милое лицо, и через некоторое время я сказал себе, нет, UNCLETIHI ничего не знает о том, что меня интересует, он ничего не знает о том, что случилось с Гагариным ПОСЛЕ — и в этот момент я не могу написать своей ручкой достаточно большими буквами это ПОСЛЕ, потому что, когда я начал все это дело, наступил момент, когда я понял, что что-то здесь не так, в течение многих дней я качал головой, я снова и снова перебирал имеющиеся у меня материалы, и стало казаться, что мы не только очень мало знаем, но, по сути, вообще ничего не знаем о Гагарине ПОСЛЕ, есть руководство тренировочной базой, затем в конце есть официальная версия аварии и бесчисленное количество неофициальных версий, другими словами чушь, догадки, сказки, о том, почему он рухнул, о том, что было

на самом деле продолжается испытательный полет 27 марта 1968 года, с — как они это называли — заданием на практическое выполнение «кусочка пирога», в 10:31 он все еще там, но к 10:32 его уже нет, в одну долю секунды Гагарин исчез из кадра, были огромные проблемы с этими МиГ-15, потому что, хотя в начале 60-х они уже не использовались как сверхзвуковые военные истребители, они все еще считались пригодными для тренировочных полетов, отчасти для летчиков-стажеров, желающих летать на настоящих военных самолетах, чтобы отрабатывать маневры, и отчасти для космонавтов, чтобы «поддерживать свою летную практику» — и это уже само по себе достаточно странно: с одной стороны, герои нации, а с другой — эти списанные сверхзвуковые куски хлама, потому что эти МиГ-15 были кусками хлама: если человек присмотрится к ним повнимательнее, фюзеляжи были слишком короткими, и именно эта изначальная слабость сделала их ненадежными, так что через некоторое время, соответственно с начала 60-х годов, они стали, по сути, ни на что не годными, но именно космонавтам в них приходилось летать — кто такое видел? ну, ладно, это не совсем относится к теме, в любом случае, Гагарин сидел на первом сиденье, готовый к маневрам, а его спутник, Серёгин, был на другом сиденье, и в 10:31 Гагарин спокойным голосом сообщил на вышку управления, что они закончили маневры и возвращаются на базу, в 10:32, однако, они уже скрылись из виду, и, конечно, из-за молчаливого доклада Брежнева, и молчаливости Брежнева в целом, ни один человек не мог в это поверить, и поэтому слухи, содержащие все возможные объяснения, распространились как лесной пожар: их сбил КГБ, их даже не было в самолёте, и всякая путаница, какая-то гиена журналиста надавила на бедного троюродного брата, чтобы тот раскрыл что-то сенсационное, сказал, что всё это было подстроено КГБ, и теперь то, что я собираюсь написать, может показаться удивительным, но это могло быть что угодно, вот что я говорю, что ЭТО НЕ ВАЖНО, что случилось, НЕ ВАЖНО

ВАЖНО, что случилось с этими МиГ-15, и ЭТО НЕ ВАЖНО

что случилось с Гагариным, ведь главное то, что Гагарин должен был умереть ЛЮБЫМИ ВОЗМОЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ, и чудо в том, что он смог отсрочить это событие на семь лет, событие, которое, конечно, потрясло весь мир, но сильнее всего оно потрясло Советский Союз, люди открыто плакали по всей родине, услышав известие о его смерти, Гагарин был таким героем, потерю которого никто не был готов выдержать, потому что, хотя я должен здесь сказать, что люди не имели ни малейшего

представление о том, что произошло на самом деле, они понятия не имели, что привело к этому моменту, однако это было неизбежно, Гагарин должен был исчезнуть навсегда, и, конечно, то, как он умер — один из величайших героев страны, да и вообще один из величайших героев мира, погибший во время такого простого испытательного полета — было немыслимо, я понимал это, но затем я начал размышлять о том, что случилось с Гагариным после Великого События, и я почти ничего не нашел, это стало казаться мне подозрительным, и я провел дополнительные исследования и наткнулся на некоторые документы, свидетельствующие о жизни Гагарина после 1961 года

или 1962 год в совершенно ином свете, именно эти документы начали показывать мне человека, который до своего кругосветного путешествия едва ли был гнушался водкой, но это было ничто по сравнению с тем, что он делал потом, после своего Великого Триумфального Турне: с этого момента он начал пить ОЧЕНЬ МНОГО, и ПО-ДРУГОМУ, чем прежде, во время своих развлечений, после Великого Путешествия, это уже было не пить для развлечения — напрасно они пытались устранить из каждого документа малейший признак того, что Гагарин пил как собака — они не могли этого от меня скрыть, я сразу ухватился за это, когда между двумя фактами чего-то не хватало, именно это и вызывало у меня подозрения, чего-то не было того, что должно было быть, трудно пустить мне пыль в глаза, из меня получился бы хороший шпион или криптолог, но главное, что я нашел следы, в основном я нашел их потому, что в какой-то момент стало очевидно, что кое-чего не хватает, хотя, должен сказать, позже я был даже поражен на себя — или на любого, кто хоть немного следовал по пути Гагарина, — что мне сразу не бросилось в глаза, что эти документы молчат, проще говоря, в них нет ни единого вонючего слова о том, что случилось с Гагариным после Великого полета и последовавшего за ним Триумфального тура, и почему — я задал себе вопрос — ну почему нам не позволено знать, что он сделал, ведь ему оставалось еще семь лет жизни, семь лет — это долгий срок, и, по сути, мы ничего не знаем; Дядя Тихи сказал, ну, он был директором учебной базы, потом он учился в Летной академии, неужели в этом так много всего нужно пережевывать, говорит он, почему бы просто не сказать — теперь, когда все это закончилось — что в те времена любая информация, связанная с космическими полетами, была совершенно секретной, вот почему, сказал мне дядя Тихи — и эти дяди Тихи всегда говорили это всем, любому человеку, миру, если их об этом спрашивали — он говорит, ну, что еще можно знать об этом Юрии Алексеевиче Гагарине, хотя также верно, что на самом деле, когда он улыбался

мир, история этого Юрия Алексеевича замерла в головах людей, и он сказал: да, люди, верьте своим глазам, потому что я — Первое Лицо, и это было всё, это то, что мир хотел знать, закончилось, этого было достаточно, больше ничего этому миру было безразлично, во всем мире знали историю этого Юрия Алексеевича, они поместили это улыбающееся лицо под солдатской фуражкой в свои мозги, они упаковали его в витрину, если можно так выразиться, с запертым раздвижным стеклом и кружевной салфеткой сверху — но что касается самого Юрия Алексеевича, была только одна маленькая проблема, потому что, хотя Великое Путешествие действительно было высшей точкой его жизни — чем же ещё это могло быть? — странным образом, его Великая История не закончилась этим Великим Путешествием, она НАЧАЛАСЬ, но я не знаю, что со мной происходит, иногда я слишком забегаю вперёд, иногда, как сейчас, я слишком быстро возвращаюсь назад, с историями всегда так, я заметил, что они уже закончились, и я даже не знаю, как долго это было так, другими словами в эту современную эпоху, или в эту более чем современную эпоху, всегда есть проблема с этими историями, мне всегда показывают какую-то историю, ну, она не история, или никогда ею не была, или у нее только начало, или то, что идет после начала, и более того, даже если когда-то это могла быть история, все они в любом случае одинаковы, нет ничего нового под солнцем, как говорили в старину, ну, я не согласен с идеей, что нет никаких историй, есть только истории, есть миллиарды историй, тысяча миллиардов, газиллион триллионов историй, я не буду продолжать, но сказать, что нет никаких историй, ну, мы только сделаны из историй, но другой вопрос в том, что мы просто не можем найти СЕРЕДИНУ историй, мы всегда говорим о том, что, ну, вот антецеденты, и все эти Предшествующие события ведут к истории, а затем мы говорим: вот следствия истории, и они перечисляют, они перечисляют бесчисленное количество всего, что приходит после, но середина

— а именно сама история — разве там нет ядра, сути, а именно, мы теряем саму историю, в то время как яснее дня, что мы живем среди десяти миллиардов триллионов историй, однако неоспоримо, что когда мы пытаемся высказать эту суть, когда мы пытаемся представить, понять, донести ядро нашей истории до сознания кого бы то ни было каким бы то ни было способом, в общем наши усилия не увенчиваются успехом, либо потому, что мы продолжаем подробно детализировать предшествующие события, либо теряемся в подробном объяснении последствий, и я даже заметил в отношении себя, что в этом отношении есть проблема, так что мне нужно ограничить

Я тоже, я знаю — ладно, хватит этой спешки с изложением предшественников, и хватит того, что было после них, так что нет нужды в этой проклятой путанице, так что давайте остановимся на этих МиГ-15, давайте посмотрим

— по крайней мере, я так и сделал, еще глубже погрузившись в документы — к тому времени меня уже хорошо знали во многих местах: в библиотеке Эрвина Сабо, в библиотеке Сечени, в Военно-исторической библиотеке, в Управлении космических путешествий, да и в Библиотеке летной науки мне уже не нужно было говорить, кто я и чего хочу, они уже складывали для меня то, что было моим, при этом отмечая: это может быть вам интересно, они приносили мне разные материалы, так как больше никто этими материалами не интересовался, и они с радостью их публиковали; Хотя обычно библиотекари не такие, библиотекари ненавидят библиотеки, и когда мы просим что-то у них, мы фактически причиняем им ужасную боль, потому что эти люди, ограниченные собственным несчастьем, тратят всю свою жизнь только на то, чтобы выносить вещи из хранилища, и это то, что может действительно огорчить человека, я даже не могу себе этого представить, кто-то постоянно приходит, вот он стоит перед вами, он дает вам что-то, написанное на карточке вызова в библиотеку, затем вы должны пойти в хранилище, вы должны найти то, что этот человек хочет, — это само по себе должно быть отвратительно: библиотекарь вынужден столкнуться с тем, что кто-то чем-то интересуется, здесь почти каждый, уткнувшийся в свои прилавки, недостоин того, чтобы ему что-то принесли, так что куда бы библиотекари ни бросили свой взгляд в хранилище, почти каждая книга вызывает ненависть, потому что они начинают подозревать, что в какой-то момент очередная недостойная личность зайдет в библиотеку и без лишних слов скажет им: принесите мне это, пожалуйста, и им придется это принести, ну, этого явно достаточно, чтобы свести человека с ума, и ясно, что библиотекари сошли бы с ума, если бы время от времени не случался один из тех редких случаев, когда великий ум, ДОСТОЙНЫЙ библиотеки, и библиотекарь, о котором идет речь, просит что-то, это то, что нравится библиотекарям, потому что тогда они познают библиотеку, произведение, запрашиваемое по читательской карточке, спотыкание в хранилище и, наконец, вынос желаемого произведения на свет дня, чтобы отдать его тому, кто ДОСТОЙЕН, они видят все это в совершенно ином свете; случаи, однако, как эти — и это можно увидеть в глазах библиотекаря —

может быть, может быть, может быть, может быть, три раза в жизни, визит к стойке так называемого достойного читателя, так что в целом атмосфера в одной из этих больших библиотек похожа на атмосферу морга, где царит только подавленная ненависть и

подавленное неподчинение — но в моем случае и во всей этой истории с Гагариным, по крайней мере до сих пор я сталкивался только с самыми благими намерениями, библиотекари, и архивисты, и музейщики, и другие подобные специалисты с радостью приносят мне все необходимое, они явно считают меня идиотом, но тот редкий идиот, который каким-то образом вызывает сочувственный отклик у своего окружения, ну, может быть, поэтому, а может быть, и по чему-то другому — кто может понять душу библиотекарей и их скорбное существование, — они принесли мне материалы, и как будто эти материалы были предварительно каким-то образом отфильтрованы, потому что все они начали указывать в одном направлении, так что я начал погружаться все глубже и глубже, и это случилось даже на прошлой неделе, когда я был в глубине этих материалов, фактически достигнув там самой нижней точки, чтобы снова начать свое путешествие наверх, как какой-то глубоководный водолаз, потому что, да, что-то привело меня туда, что-то, что мне нужно было исследовать снова, другими словами: что знаем ли мы об этих пилотах МиГов... потому что я не понимал, как это возможно, что в такой военной среде, где всё контролируется тысячью раз, эта контролирующая структура могла позволить пьяному или похмельному Гагарину взлететь без лишних церемоний — другими словами, я долго думал, что суть тайны заключалась в том, что Юрий Алексеевич стал неизлечимым алкоголиком, и что ж, с таким человеком неудивительно, если после взлёта всё закончится трагедией. Я понял это всего неделю назад, когда понял, что именно эта часть всей истории с Гагарином не имеет смысла, когда всё равно почувствовал, что этот Гагарин исчез со сцены именно потому, что им больше не могли управлять, тщетно умоляли: не пей, братишка, на тебя теперь смотрят весь Советский Союз и весь мир, они видят, как ты спиваешься, а он всё пил и пил, и они не могли его контролировать, что ещё они могли сделать, думал я про себя ещё неделю назад. кроме как заставить героя Советского Союза и мира исчезнуть из Советского Союза и мира, — и долгое время я не мог найти ни одной фотографии с его последних лет, а когда нашел, то была только одна фотография, так называемая последняя фотография, которая лишь укрепила мое подозрение, что ход моих мыслей идет в правильном направлении, потому что не может быть никаких сомнений, что то, что здесь происходило, было полным маразмом, я посмотрел на Гагарина, и я увидел на этой фотографии совершенно искаженное, раздутое лицо

фигура, безумно улыбающаяся, с грубым крестообразным ранением на левом веке —

единственная проблема заключалась в том, что он находился прямо под шлемом пилота, и еще одна проблема заключалась в том, что этот шлем был частью формы пилота с парашютными ремнями, и еще одна проблема заключалась в том, что человек, носивший все это, явно сидел ВНУТРИ самолета с парашютом и ремнями, прикрепленными к его телу, это было невозможно, я смотрел на фотографию, похолодев до костей: это не мог быть Гагарин, это был он, однако Гагарин, который как раз в этот момент застегивал ремень к своему пилотскому шлему под подбородком, и с этой старческой ухмылкой! — Я был ошеломлен, и я даже рассказал об этом доктору Хейму в прошлую среду, не то чтобы я надеялся, что это будет ему интересно, но я рассказал ему — потому что я не мог действительно держать это только в себе, и потому что я верил, что я наткнулся на что-то, конечно, я на что-то наткнулся, и это был один из самых хитрых трюков во всей этой истории, придуманный именно для того, чтобы вы никогда не узнали правду — каким-то образом эта фотография превращается и на какое-то время ты этим доволен, но только потому, что, кажется, люди наверняка будут удовлетворены этим так называемым открытым секретом, оставив в стороне, конечно, любые дальнейшие расследования, и подозрения угаснут — ну, подозрения угасли и во мне, но не навсегда, только на несколько дней (и как же иначе?), но я чувствовал в течение этих нескольких дней, как и любой другой, я думаю, любой другой, пытающийся что-то решить, я тоже

«разгадал», что произошло, я «наткнулся на это», здесь, в Несчастном Доме Престарелых, Где Все Ждут Только Смерти, я наткнулся на тот факт, что Гагарин, как безнадежный алкоголик, был все более изолирован или даже полностью отрезан от мира, и эта последняя возможность более вероятна, он прожил еще почти семь лет, а затем ему позволили взлететь, и, конечно, он немедленно рухнул на землю, потому что что-то произошло во время снижения — теперь, конечно, неважно, был ли он перепутан каким-то бродячим летчиком-истребителем, или он резко задрал нос самолета вверх, чтобы избежать стаи птиц, это неважно, потому что скорость, с которой летел самолет (он был уже близко к земле) в ту последнюю долю секунды в его последнем отчете, была настолько велика, что любое резкое движение отправило бы его рухнуть на землю — что, по всей вероятности, и произошло, по слухам, нос самолета врезался в землю на глубине трех метров, якобы нашли больше Сереги, чем Гагарина, но так и не заметьте, это несущественно, на самом деле весь вопрос о непосредственной причине и обстоятельствах его смерти теряет свое значение, если задуматься о том, что привело к этому моменту, доктор Гейм спросил меня об этом в среду: чем же я, собственно, занимался сейчас, потому что даже ему казалось, что я прекратил свои исследования, потому что раньше он видел, как я лихорадочно месяцами занимался расследованиями, проводил все больше времени в Будапеште, постоянно путешествовал, приезжал и уезжал, совершенно одержимый, и вот так оно и было, потому что до начала прошлой недели я был совершенно одержим, потому что я чувствовал след и немедленно шел по нему, и казалось, что наконец-то я напал на этот след, и вдруг все изменилось, а потом в начале прошлой недели я вдруг остановился, я бросил свои исследования, потому что во всей этой истории с Гагариным появилось что-то новое, так что в среду доктор Гейм спросил меня: что с вами происходит, раньше вы все время ерзали, приходили и уходили, вы были совершенно одержимы, а теперь снова сидите, как в старые времена, ну да, ответил я, в течение нескольких дней я действительно сидел там на том же самом месте, точно так же, как в старые времена, снова сидел у дальнего правого окна гостиной

«мое окно», как доверительно называет его медсестра Иштван, и откуда — как и до того, как началась вся эта история с Гагариным — я могу смотреть, находясь как можно дальше от медсестры Иштван и этих других идиотов, я смотрю вниз с высоты шестого этажа, и мне так хорошо, я смотрю вниз, совсем как в старые времена, иногда даже не спускаясь вниз поесть; и, конечно же,

Конечно, я просто избегал ответа доктору Гейму, который повторял: но вы все время куда-то ходили, вы приходили и уходили, вы были совершенно взбудоражены, что с вами случилось, что, черт возьми, происходит, конечно, я не сказал ему, что происходит, я сменил тему, и я правильно сделал, потому что это не его дело, вся эта история не имеет никакого отношения к этому головастому доктору Гейму, была среда, и я каким-то образом поговорил с ним, потом наступил четверг, а сегодня уже пятница, я сижу у окна и думаю, глядя вниз, о том, как бы мне это точнее описать: это не было так, как если бы я уловил новый след в прошлые выходные, но внезапно он оказался передо мной, так же как сейчас, здесь передо мной, полное лицо истины, я не искал его, но решение само собой представилось мне, и вот оно, и теперь мне больше нечего делать, я не собираюсь ни слова говорить об этом доктору Гейму или кто-нибудь другой, никаких лекций не будет, потому что доктор Хейм в этом уверен, он настоятельно просит меня прочитать лекцию об этом «вопросе», а именно о венгерских космических путешествиях, потому что я сказал ему, что именно поэтому меня это интересует, именно поэтому я прихожу и ухожу, почему я ёрзаю и почему я полностью заряжен, чтобы раскрыть истинную историю венгерских космических путешествий; Доктор Гейм, если быть совсем точным, хочет, чтобы я прочитал ему лекцию — ДЛЯ НЕГО!!! — в рамках его еженедельной программы для Института: милую маленькую лекцию, так он это выразил, и он был явно удовлетворен, он просто поник, как всегда, своей огромной головой, и все продолжал говорить очень хорошо, очень хорошо, так что наконец-то вы прочтете милую маленькую лекцию, основанную на всем этом материале, милую маленькую лекцию, он использовал эти слова не один раз, я просто посмотрел на него, удивляясь, почему он не думает, что я сейчас сломаю ему шею, правда, я приберег это на потом, а именно сломать ему шею именно для этого, но как этот психиатр с такой огромной головой мог начать думать, что я действительно собираюсь прочитать ему лекцию — хотя в определенной степени было утешительно осознавать, что он на самом деле ничего обо мне не знал, если он считал мое участие в его культурной программе возможностью, меня в его культурной программе! — до этого момента я никогда не выступал, и я не собираюсь тоже, но он принимает это как данность; ну, конечно, мне неинтересно, что он себе воображает или чего он хочет, потому что ничего подобного в мои планы не входит, что же касается появлений на сцене, доктор Гейм, то с ними покончено раз и навсегда, я буду только сидеть у «своего окна», как в старые времена, и что-то еще черкать в эту тетрадь, и иногда, перелистывая все страницы этой тетради, мне приходит в голову, что все, что я здесь набросал, не так уж и плохо, не так уж и неполно

интересно, может быть, лучше, если что-то останется после меня... если это не будет авторучка, наручные часы, тапочки, халат и тому подобное, то пусть будет ЭТО, я подарю это, например, медсестре Иштван, — о нет, у меня мурашки по коже бегут, кому угодно, только не медсестре Иштван, — но кому же мне это отдать, это вопрос непростой, лучше всего все-таки уничтожить, потому что есть еще медсестра Иштван, ну, я вернулся к первым страницам и подумал — я и сейчас об этом думаю, — о том, как же далёк уже тот момент, когда впервые, в тот общий вчерашний день, во мне начало формироваться представление о том, что я хочу покинуть Землю; Я даже никогда раньше об этом не говорил, потому что, в конце концов, я не хочу никому раскрывать свои планы, хотя, честно говоря, я ничего не планирую, нет никакого плана, кроме как нацарапать здесь ещё несколько предложений, может быть, я запишу то, что нашёл, может быть, нет, я пока не знаю, в любом случае, я просто посижу здесь и немного посмотрю из окна шестого этажа, я всё же немного поупражняю свою память, вспоминая тот поворот событий несколько дней назад, потому что это был поворот событий, это бесспорно, потому что я чувствовал, что в этой алкогольной версии было что-то не так, и поэтому я продолжал исследования, вернее, я исследовал в своей голове, я исследовал и напряжённо размышлял, и я убедился, что теперь всё практически в моих руках, всё в моём распоряжении, я думал — а это, в общем-то, всё, чего человек действительно может желать, — теперь всё зависит от меня, от моей способности мыслить, от моего мозга, сможет ли он достаточно долго выдержать, сможет ли он сосредоточиться на сути достаточно долго, чтобы я знал — вот что я хочу сказать — мне нужно было подумать, чтобы понять, куда меня может привести новое подозрение, потому что оно натолкнулось на меня внезапно, и этот день был на самом деле вчера, а не то символическое всеобщее вчера, о котором я говорил раньше, это было, по сути, вчера, или, чёрт возьми, кто знает — какая разница? — не вчера, так позавчера, неважно, главное, что, как только я на это наткнулся, я тут же записал это здесь, в этой тетради, для которой, в противном случае, я трачу много сил, пытаясь придумать всё новые и новые тайники, главным образом от медсестры Иштвана, потому что, согласно моим собственным гипотезам, если бы со мной что-то случилось, именно он прочесал бы весь Институт в поисках, потому что он уже бесчисленное количество раз выдавал своими взглядами, насколько он заинтересован в этой тетради — ну, нет, но всё же он?! Я не знаю...

и все же я нашел очень хорошее укрытие, хотя я не уверен, что оно лучшее, возможно, лучше всего будет, если я буду всегда держать его при себе, как я уже говорил.

до сих пор это делалось; до сих пор это было надежно спрятано в подкладке моего длинного пальто, соответственно, по вечерам, во внутреннем кармане моего халата, который я всегда держу под головой, изначально я вшила карманы для хранения денег, но с тех пор я также храню там свою записную книжку, так почему же я должна что-то менять сейчас? да, он останется там, в одном из карманов, но я посмотрю, потому что я действительно не думаю, что если со мной что-то случится, кто-то, кроме медсестры Иштван, заинтересуется этой тетрадью, никто об этом не думает, я думаю, хотя, конечно, мне следует действительно уничтожить ее, да, это отличный вариант, позже, если наступит день, я уничтожу ее, а этот день наступит, он не за горами, он почти здесь, я думаю, потому что, как я говорю, наступил момент, и я понял, что произошло, но для этого, конечно, необходимо знать предпосылки и последствия, и, конечно, я их тоже знал, в этом нет никаких сомнений, потому что именно на основе этого я понял, что здесь происходит, а именно, что в моей методологии была маленькая ошибка, ошибка, которую мы все часто совершаем, когда хотим добраться до сути, ядра, центрального пункта истории, и мы не уделяем должного внимания этим хорошо известным предпосылкам и последствиям, которые у нас есть, мы просто Хочу поскорее добраться до этой сути, до этого ядра, до этой центральной точки, отлично, сказал я, это совершенно ясно, я хочу добраться до сути, и, допустим, я допустил ошибку, с другой стороны, ничего не потеряно, потому что у меня все еще есть эти определенные предпосылки и следствия, так что давайте попробуем это снова — и я начал думать, я начал прокручивать все это в своем мозгу, так что, ну, эти предпосылки и эти следствия могли бы должным образом пройти через этот мозг снова и снова и снова — и затем внезапно, как молния, это пронзило мой мозг, действительно, как та ласточка, пикирующая за твоей спиной, только в этом случае это было не за моей спиной, это как будто что-то проносилось над моим мозгом, потому что этот мозг, или это нападение, указывало на то, что ранее, что-то произошло высоко, там, на орбите, в течение этих ста восьми минут, вот что эта молния ласточки, ныряющей вниз, сказала моему мозгу: что суть истории, ядро, центральная точка — это что там, наверху, за те сто восемь минут, когда Гагарин, как Первый Человек, оказался там с «Востоком»...

там, в космосе (сказала ныряющая ласточка мозгу), там и тогда с ним что-то случилось, и в этот момент я застрял, и поэтому я просто начал механически просматривать американские материалы, у меня была специальная папка для этого, на самом деле, если быть точным у меня их было несколько, но я просто рылся

вокруг предложений, написанных неким астронавтом по имени Майкл Массимино, когда он читал одну из своих знаменитых лекций в Массачусетском технологическом институте 28 октября 2009 года, и затем из этих напечатанных предложений одно из них бросилось мне в глаза, и это было то, где этот Массимино, который к тому же является настоящим гигантом, смотрел через иллюминатор Международной космической станции, и он увидел Землю, и он сказал: У меня было такое чувство, будто я почти смотрел на секретный

... Что люди не должны были этого видеть. Это не то, что вы... Предполагалось увидеть. Это слишком красиво, ну, и что потом? Я помню, что думал об этом, или о чём-то подобном, и я копался ещё немного в этих предложениях, затем я начал прочесывать сваленную в кучу кучу фотографий Земли, в другой папке, сделанных другим американцем, неким Эдом Лу, фотографии Земли, сделанные таким же образом с борта МКС, я рылся в этих фотографиях, но эти предложения Массимино всё звенели у меня в голове, они не выходили из моей памяти, особенно часть о том, что люди не должны этого видеть, и, может быть, есть люди, которые узнают чувство, когда тело человека наполняется теплом, потому что они просто внезапно что-то осознали, или потому что с ними что-то неожиданно произошло, ну, а потом это погружение с ласточкой, или наоборот, снова нахлынуло на меня, и я почувствовал, что моё тело наполняется теплом, и уже знал, что произошло, я всё понял, я понял, почему исчез Гагарин, потому что я понял, что случилось с ним там, наверху, когда он впервые увидел Землю из одного из иллюминаторов Восток, и он сказал: очень красивое, я понял, что он, Первый Человек среди нас, не только увидел Землю из космоса, но, как я понял, он тоже что-то понял, тысячелетнюю тайну, и когда он вернулся, он явно некоторое время молчал об этом, он не знал, как начать, и, как это обычно бывает, прошло немного времени, так что это произошло не сразу после его возвращения, а, может быть, примерно через год, и тогда он начал только с самым близким кругом своих друзей, но они, скорее всего, подумали, что это проявление какого-то поэтического энтузиазма, и в общей эйфории они не очень-то заметили, и в следующий раз, когда Гагарин заговорил об этом, им нужно было как-то отреагировать, поэтому они просто отмахнулись, преданная жена Валя и его родители, все просто отмахнулись, потому что что им еще оставалось делать, услышав такие странные вещи, они просто посмотрели друг на друга, потом сказали ему, какие прекрасные мысли он высказывает, и они искренне надеялись, что способны их понять, но они также думали, что он, Гагарин, был бы далеко

Лучше бы всё это отправить к чёрту, и так могло бы продолжаться и дальше, как и в следующих двух-трёх разговорах в самых близких ему кругах, только Гагарин никак не мог успокоиться и, может быть, подумал: «Ах, моя дорогая жена, мои дорогие отец и мать, они же простые люди, а я только беспокою их мыслями такой важности», и поэтому он сделал следующий шаг, и он пошёл и излил душу Королеву, конечно, приняв все меры предосторожности, чтобы никто не мог их услышать, он сказал то, что должен был сказать великому человеку: во-первых, что там, наверху, он не только видел Землю, но и видел тот Рай, о котором говорится во всех старых книгах, и когда это случилось в первый раз, Королев мог подумать, что Гагарин всё ещё находится под влиянием пережитого или вообще Под Влиянием, и что поэт сейчас говорит через него, хорошо, он остановил его, хорошо, Юрий Алексеевич, вам нужно сейчас немного отдохнуть, и он говорил такие вещи, и я думаю, что впервые Гагарин начал немного бояться, потому что именно в этот момент он заподозрил, что то, что он теперь знал о Земле, будет очень трудно передать, и, может быть, это также немного взбесило его, и он, возможно, повторил самым военным образом, сказав: слушайте, товарищ Королев, вы не понимаете, я действительно видел Рай, а Рай — это Земля, и ясно, что Королев сначала просто улыбнулся и кивнул, ладно, ладно, Юрка, хватит уже, хорошо отдохни, у нас и так работы более чем достаточно, я бы хотел снова отправить тебя туда, чтобы ты снова увидел свой рай, ты поезжай немного отдохни, а потом мы продолжим с того места, на котором остановились, но из этого ничего не вышло, потому что вокруг Гагарина все стало принимать серьезный оборот, главным образом потому, что Триумфальное турне Гагарина по разным странам Земли закончилось, и он вернулся к рутине повседневной жизни космонавта; и после Королева он стал ходить к Каманину, а после Каманина он пошел к Келдышу, а после Келдыша он пошел к Петрову, а после Петрова он пошел к партийному руководству, и если ни Королев, ни Каманин, ни Келдыш, ни Петров не воспринимали его всерьез, совершенно ясно, что партийное руководство не воспринимало его всерьез, с той лишь разницей, что эти люди, будучи дальше от Гагарина, еще меньше сочувствовали его «анализу» и так или иначе донесли до него, что он должен оставить разработку теории академикам и крупным ученым Москвы; он должен продолжать усердно учиться в Академии космонавтов и заниматься только и исключительно практическими вопросами, ибо это его специальность,

и именно это ему доверили Королев и партия, так что через некоторое время даже Гагарину должно было стать ясно, что все считают то, что он говорит, просто идиотизмом, или в лучшем случае: никто не верил ни единому его слову, никто, но никто не верил ему, и это явно наполняло его безмерной горечью, и в этом состоянии нервов ему приходилось изливать душу, точнее, изливать душу всё чаще, а именно изливать душу и при этом не пить водку, ну, это немыслимо для русской души, так что могло случиться, что Гагарин начал регулярно пить по этой причине или по наследственным причинам, и он начал катиться по этой наклонной с ужасающей скоростью — в первые годы, однако, полностью списать его со счетов всё ещё было невозможно, ибо он всё ещё был Первым Человеком в Космосе, Героем Космоса, Символом Человеческого Знания и так далее, поэтому ему позволили продолжать его так называемые исследования в Академия, а затем у него также было свое назначение в Звездный городок, но это стало фарсом, и, говоря между собой, в сочетании с его все более упрямым настаиванием на своих собственных, определенно антиленинских теориях, становилось все более очевидным, что они никогда не подпустят его к космическим полетам, и они не подпускали его близко, так что через несколько лет ему пришлось бы понять то, с чем он никогда не сможет смириться, а именно: что они никогда больше не позволят ему летать, особенно после трагедии с Комаровым, другими словами, ему, который все более истерично желал увидеть оттуда, сверху, что...

что Рай никогда больше не увидит ничего оттуда, сверху, и, очевидно, он жил в жалком пьянстве, и, очевидно, большая тень теперь падала на него, и в этой большой тени его семейная жизнь могла рухнуть, была Валентина Ивановна, были Галя и Леношка, но он только пил и пил, пока не отключился, и всё это время он говорил и говорил, и он говорил, и он говорил то, что должен был сказать каждому, кто попадался ему на пути, от Тытова до уборщиков Звёздного городка, чтобы они наконец поняли, что в том, что он говорит, нет ничего плохого, чтобы они уже поняли, что то, о чём он говорит, означает лишь величайшее возможное благо для всего человечества, потому что он должен был сказать, что Рай действительно существует, и все священные книги — которые до сих пор не имели для него никакого значения — во всём мире говорят о чём-то подобном, и в этом даже нет никакого мистического содержания, потому что тысячелетняя вера в то, что Рай есть, что Рай есть и что Рай будет

полностью соответствует действительности, и страницы священных книг теперь надо перелистывать по-другому, потому что все они, только представьте себе, что каждая священная книга ТАКАЯ, и из-за этого к религиям надо относиться по-другому, потому что на самом деле они означают нечто иное, чем то, что мы, советские коммунисты, думали о них, и что он должен был сказать —

он наклонился ближе к людям, отступающим от запаха водки.

мог бы сделать каждого человека на этой Земле счастливым, и он должен сделать их счастливыми — если бы только они наконец позволили ему говорить, и если бы они наконец поняли, как жизненно важно для него было наконец объявить по радио всем людям Земли, что наступил конец, конец старого мира, и новая эра встречает их простой истиной, всего в трех словах, что на самом деле ВСЕ ПРАВДА, послание Библии истинно, послание Будды истинно, послание Корана истинно, послание всех храмов истинно, и даже самая маленькая секта, по-своему идиотски, истинна, просто мы ДО СИХ ПОР не понимали этих посланий, вот как я представляю его говорящим это, пусть даже не дословно, я представляю это именно так, и точно так же можно представить себе советских товарищей с Героем, от которого разит водкой, Герой, который все настойчивее требует, чтобы ему наконец позволили выступить перед публикой, потому что он хочет сказать миру, сказать всё человечество, он хочет рассказать им, что он видел там, наверху, и тогда, наконец, наступит мир на земле, потому что если каждый отдельный человек сможет это понять, то всякое противостояние, всякая ненависть, каждая война потеряют всякий смысл, и наступит эра всеобщего мира, ну, этого было вполне достаточно во времена Холодной войны, среди окаменелых Советов, чтобы им не разрешали Гагарину выступать даже перед небольшой аудиторией, так что даже если ему приходилось выступать с какой-то речью очень редко, или если ему приходилось произносить какую-то речь, то они заставляли его давать клятву на партийной книге — так я себе это представляю, но так, должно быть, и было — не говоря уже об ЭТОЙ ВЕЩИ, и через некоторое время они не только не позволяли ему говорить — потому что не могли доверять ему в том, что он сдержит своё слово — но, конечно, они изъяли его из космических путешествий, и, конечно, должно было быстро наступить время, когда он стал просто марионеткой, как в Звёздном городке, так и в советских космических исследованиях, марионеткой, пропахшей водкой, с раздутой головой, с лицом изуродованный той или иной раной, которого, согласно обычаям того времени, приходилось укрывать в том или ином сумасшедшем доме, чтобы привести в порядок его нервы или организм, и, конечно, ни нервы, ни организм не приводились в порядок, а

его все равно не держали там слишком долго, выпускали снова и снова, обратно в Звездный городок или на какую-нибудь другую учебную позицию, но он был уже не в первом ряду, и даже не во втором, и даже не в третьем, а в самом последнем, откуда уже не было слышно его голоса; Королев и его экипаж, и все его соратники, и его друзья, которые все так хорошо знали этого прежде милого крестьянского мальчика, этого отважного героя, этого неповторимого, обаятельного человека, которого они когда-то так любили, просто не могли больше подпускать Гагарина к публике, и сам он явно все больше и больше злился от этого, совершенно ему непонятного, отречения, он чувствовал себя бессильным, он просто не мог понять, что же не так в том, что он говорит; Эта непроницаемая среда, враждебная или снисходительная, была ему непонятна, и она начала раз и навсегда отделять его от всего и всех, так что в самом конце он уже ни о чём другом думать не мог, только о Рае, и он мог бы повторить это своему старшему брату Валентину, который навестил его в последний год, в 1968-м, чтобы образумить его, но тщетно, потому что он, Гагарин, только повторял, что даже если его разорвут на части, он всё равно ничего другого сказать не сможет: вот почему его отстранили, вот почему он не может летать, вот почему его отстранили от космонавтики, вот почему его выставили на пастбище, и ты знаешь, сказал Гагарин Валентину, потому что, куда бы я ни посмотрел, я вижу только это: Рай — где бы я ни был, это не только в моём воображении, но я ВИЖУ ЕГО постоянно, пока говорю, Бог знает, что они обо мне думают, что я наивен, что Я простак, что я ребенок, все что угодно, лишь бы не понимать, что Рай ДЕЙСТВИТЕЛЬНО существует, и что это не что иное, как наша родная Земля, понимаешь, дорогой брат, эта Земля, наша родная Мать Земля... и он заплакал, как ребенок, бросился на стол и заплакал, и, очевидно, так было с его собутыльниками, с его женой, да, если его к ним подпускали, с Галей и Леночкой, чтобы они не смотрели на человеческую жизнь по-старому, нет, потому что через него человечество что-то узнает, и от этого всякое зло на Земле станет совершенно бессмысленным; там сидел человек, объятый водочным смрадом, герой Советского Союза и мира на все времена, человек, сводимый с ума тем, что никто ему не верил, он был совершенно один, мир раскололся надвое: был Рай, единственным жителем которого был он, а в мире, с человечеством

ничего не подозревая, ничего не зная об этой великой ситуации, просто продолжая жить как обычно, как будто ничего в этом посланном небесами мире не произошло с Великим Путешествием и Великим Открытием, мир просто продолжал идти своим чередом, и вот чего не выдержала нервная система Гагарина, и эта же нервная система разрушила его организм, в последние дни он больше не мог выносить жизни, это стало для меня совершенно ясно, он мог вынести это только с водкой, только в полном опьянении, и он стал таким одиноким: и если кто-то и был недостоин этого, так это был этот человек

— какое горькое утешение, что вот я здесь и могу все записать в эту тетрадь, потому что, с одной стороны, я, скорее всего, ее уничтожу, чтобы никто никогда не смог ее прочесть, с другой стороны, мне бесполезно здесь находиться, мне бесполезно было приходить, и мне бесполезно было понимать великую тайну, она больше не может помочь младшему брату Юрию Алексеевичу, потому что в любом случае самое лучшее для него — это умереть, чтобы это могло произойти — неважно почему — что люди не должны были этого видеть: в любом случае именно из-за этого и более глубокого смысла этой фразы я закончу мыслью, что ITISSO, BUTITISNOT FAT ED: я понял это, и я понимаю это и в этот момент, и в каждый последующий момент, так что пора закончить это дело, у меня нет желания ждать и смотреть, что произойдет само собой, иначе быть не может, как мои исследования и мои Открытие лишило меня того, что, как я думал, придаст мне сил, хотя, если бы я знал, я бы не стал начинать — все начиналось так хорошо, было еще лето, палящая жара, июль или август? уже неважно, я сидел у «своего окна» и думал о том, как мне хочется покинуть Землю, и вот настал этот день, этот день 29 декабря 2010 года, на улице чертовски холодно, и я не могу закончить эту тетрадь тем же способом, которым начал, сказав, что хочу покинуть Землю, только то, что хочу выбраться — так что я обо всём позаботился с доктором Геймом и его шейными позвонками, и обо всём позаботился с Иштваном, и об этой тетради тоже (если уж нужно, чтобы что-то осталось после меня, пусть это будет именно это, а не что-то другое), то, поскольку я не хочу проводить здесь ни дня, и поскольку я уже знаю, что покинуть Землю не получится из «своего обычного окна» — то есть, чтобы я открыл окно, вышел, оттолкнулся, и всё, я поднимаюсь — вместо этого, после того как я всё закончу (и я всё равно отдам свою тетрадь медсестре Иштван), тогда я открою окно здесь, на шестом этаже, я встану на подоконник и нажму

я отключаюсь, потому что все, что не идет вверх со всей определенностью, идет вниз.

Потому что с шестого этажа в рай: время пришло.

OBS TA CLETHEORY

Вы можете взять Землю, вы можете взять небо, говорит он, вы можете пойти куда угодно, отправиться вглубь Земли или подняться в небо, это везде одинаково, вы можете изучать самые внутренние атомные структуры с помощью IBM

микроскопы, или представьте себе гигантские компьютерные линейки в чудовищно огромных галактиках для измерения диаметров вселенной, вы можете изучать самые огромные вещи и вы можете исследовать мельчайшие частицы, не имеет значения, изучаете ли вы целые общества или отдельную семью, судьбу одного человека с самого начала, или живых существ по одному, или камни по одному, или идеи, источники, теории, познание, ощущение, намерение, волю, или то, на что смотрит Венера Милосская, или кто кого любит и почему, или кому что не нравится и почему, все одно и то же, возьмите, к примеру, его и эту двухлитровую пластиковую бутыль, которую он, кстати, скоро допьет, вот эта бутыль, и можете быть уверены, что если бы кто-то взял на себя труд изучать его, то они бы смотрели на то, как он поднимает пластиковую бутыль и делает хороший глоток, как он пьет, а затем опускает пластиковую бутыль на грязный, скользкий тротуар, но не на то, почему, не на то, почему он опускает кувшин, ну, об этом они никогда бы не спросили, не почему он не пьёт больше, то есть прямо сейчас, естественно, почему его глоток такой, какой есть, и не больше, другими словами, почему он не держит кувшин у губ подольше, и почему он ставит его прямо здесь — и теперь он разбивает дно кувшина о мокрый искусственный мраморный пол в углу подземного перехода на станции Ньюгати — и я скажу вам ещё кое-что, говорит он, прежде всего всё, что сейчас есть в мире, во всём этом огромном мире, всё, что находится на месте, находится там потому, что не может падать дальше к земле, сила тяжести тянет её вниз, но что-то не отпускает, что-то более сильное, или возьмём реку, говорит он, как раз важно, куда она извивается, он-то уж точно знает, как важно, куда она извивается, какие именно повороты она делает на пути к морю, но эти изгибы реки, каждый из них они определяются тем, как вода течет к определенной точке на земле, поэтому она огибает ее, другими словами река течет против

что-то, что находится на возвышенности, и это его отклоняет, ну, тогда эти бесчисленные отклонения создают реку, как бы это сказать, линию русла, так называемое кружево русла, почему оно изгибается так и этак, где ему приходится изгибаться, а потом появляются картографы, навигаторы, строители плотин и бог знает кто еще, но их не интересует, что здесь происходит на самом деле, они просто слетаются, как мухи на дерьмо, и никто не учитывает сути, потому что они видят только это для меня и больше ничего не составляет глотка, они видят только, что река изгибается здесь и там, и они даже добавляют, что уровень земли там выше, но они не видят ничего из сути, абсолютно ничего; или возьмем другой пример, вы смотрите вокруг себя, и из-за гравитации все в мире находится на своих местах, но задавался ли кто-нибудь вопросом, что делает это конкретное место одного объекта, а не другого? что заставляет вещи занимать свое место, что заставляет мир быть таким, какой он есть?! — ну, видите ли, это потому, что все из-за гравитации застревает где-то и не падает ниже, и так устроен мир, но возьмем другой случай, возьмем, к примеру, снегопад, как сейчас; смотрим наверх, на то, как падают эти снежинки, ну, теперь та же история, почему они падают с такой низкой скоростью, что они обычно об этом говорят: вес и масса и сопротивление воздуха и ветер и гравитация, вот что они придумывают, максимум, но никто, никто не говорит, что здесь работает невидимая гигантская система, и Вот как устроен мир, это, только это, просто не представляет интереса, они указывают на сопротивление, гравитацию, силы, так что вот, все это настолько очевидно, нет нужды размышлять об этом, в то время как именно это показывает, что все здесь абсолютно, действительно невежественны; или возьмем другой пример, потому что вот он, давайте посмотрим на Землю, тогда вы увидите, что есть вещи, которые стоят на месте, и вещи, которые рано или поздно остановятся, то есть, в тот момент, когда они случайно перемещаются из одного места в другое, есть остановка и отсроченная остановка, есть эти два, если мы рассматриваем только Землю и то, как мы ее видим, но если мы возьмем сферу невидимого, где, скажем, говорит он, нейтроны и протоны и электроны и адроны и лептоны и кварки и бозоны и суперпартнеры препираются и так далее и тому подобное, где этот ряд бесконечно продолжается с течением времени —

потому что они тоже только из чего-то собраны — ну, неважно, дело в том, что здесь мы видим движение, прерывание или остановка которого, как бы это сказать, отсрочены навсегда, так что у нас есть и остановка, и движение, но за обоими, и обратите теперь внимание, говорит он, есть то неуловимое,

непостижимая гигасистема, которая определяет, чем она будет, остановкой или движением, а за мирами есть иные миры, каждый мир идеально скрывает другой мир, конечно, хотя всё это можно выразить и так: любой мир — это всего лишь врата, тайная дверь в миллиарды миров, которые доступны только через этот единственный мир, и есть миры за мирами, но на самом деле — огромный перевернутый мир, гигахаос, можно сказать, и это не выражает того, о чём мы говорим, лучше, чем если бы мы признали целое иерархическими частями единой огромной системы, конечно, это только слова, а слова никогда ничего не открывают, нет, совершенно точно, что они существуют именно для того, чтобы скрывать выход, играя роль скрытой, нет, заложенной двери, которая никогда не откроется, и конечно, с мыслью тоже дела обстоят не намного лучше, мысль тоже всегда застревает на каком-то пороге, именно там, где эта мысль должна перейти в запредельное, короче говоря, неважно, слова это или нет или мыслей, это как граница, закрывающаяся в старые времена — нет ни входа, ни выхода — в то время как замкнутая область в своей напряженной причинности дрожит там, как желеобразная масса, бесполезная и вводящая в заблуждение, но мы могли бы сделать еще один шаг вперед, потому что если ранее мы согласились, говорит он, что есть либо остановка, либо отложенная остановка, за этой сущностью, которая решает, останавливаемся ли мы или движемся, за ней тоже стоит непостижимая, но все же мыслимая гигасистема, и это та же самая идентичная, в каждом его примере работает одна и та же гигасистема, все это гига-ирование не очень помогает, но он не может придумать лучшего термина прямо сейчас, и в любом случае неинтересно, какое слово не может выразить то, что он хочет сказать, это не первый раз, когда он сталкивается с этой проблемой, ибо, увы, он может только повторять, что такова ситуация со словами, что слова беспомощны, это всегда карусель, вокруг самой вещи, никогда В яблочко, это слова для вас, чтобы он со своей стороны не слишком волновался, что он тоже не может найти правильное слово, на сегодня давайте обойдемся гигасистемой, она вообще ничего не выражает, то есть, по сравнению с тем, что она должна выражать, что на самом деле причина, по которой эта система находится там непосредственно за каждой частью видимых и невидимых сфер, что на самом деле эта система находится там в сферах чрезвычайно огромных вселенских единиц и чрезвычайно крошечных вселенских единиц, и это больше не мир, это сущность, когда он делает еще один глоток из пластикового кувшина здесь, в углу подземного перехода на станции Ньюгати, где он искал убежища от зимнего холода, ибо есть мир и есть эта сущность

мир, и, предположительно, существуют эти различные миры, каждый со своей собственной сущностью, но одновременно, все вместе, потому что именно так мы должны думать об этом, все это одновременно вместе, эти миры и их сущность не отделены друг от друга, они сделаны из одной ткани, эта сущность вплетена, так сказать, в свой собственный особый мир, говоря о котором — и здесь с выражением глубокой значимости он опускает пластиковый кувшин в грязную жижу искусственного мраморного пола — мы не ошибемся, если будем говорить отдельно о мире и отдельно о его сущности, насколько это возможно, то есть о той сущности, о которой он сам, здесь, на станции Ньюгати, в разгар рождественской суеты, прежде чем опустошить свой пластиковый кувшин, он скажет вот что, так что вы сможете представить это себе в более простой форме — хотя он может понять, что наше внимание ослабевает — если вы уделите этому время, вы сможете увидеть это в виде нагромождения препятствий, ужасающая, чудовищно огромная, смешная полоса препятствий, одни лишь невидимые препятствия и одно лишь скрытое сопротивление повсюду, ибо представьте себе мир перед собой, или, если быть точнее, представьте себе невообразимо огромный мир, настолько невообразимо огромный, насколько вы можете себе представить, и тогда вы сможете увидеть, что каждое событие в нем зависит от препятствия, оно зависит от этого препятствия гораздо сильнее, чем от импульса, так сказать, который толкает его вперед или привел бы в движение, если бы мог, это не так уж сложно, говорит он, это можно представить, позвольте вашему разуму пробежать по всему миру от неисчерпаемого царства субатомных частиц до неисчерпаемого царства вселенных, и вы сможете увидеть факты, которые являются либо событиями, либо вещами, либо отсутствием событий, либо отсутствием вещей, но если они являются последними, даже тогда они являются отсутствиями, обладающими диаметрально реальным фактом невозникновения вещей или событий, ну тогда, и теперь он пытается подняться на ноги, но падает назад на слоях пальто, расстеленных под ним, мы можем ясно распознать эту сущность мира, различных миров, ибо теперь ясно видно, не так ли? что именно препятствия скрепляют его, препятствия придают ему структуру, насколько вообще возможно говорить о структуре, препятствия определяют, что будет, а что нет, препятствия, будет ли оно тем или иным, Серым Волком или Красной Шапочкой, кем оно будет, а кем нет, куда оно пойдет или где остановится, или когда оно начнётся и начнётся ли вообще, нет ничего, говорит он, прижавшись спиной к стене, толпе, проносящейся мимо в оглушительном грохоте подземного перехода, ничего, что не было бы сотворено Им или уничтожено Им, владыкой жизни и смерти,

самый могущественный мировой порядок, стоящий за миром, самая чудовищно монументальная структура из существующих, которая слишком уж велика, в то время как — и это, по правде говоря, не очень смешно — в то время как... повторяет он, поднимая свободную руку в предостережение толпе, которая не обращает на него ни малейшего внимания, эта сущность вообще не присутствует в существовании, ибо в существовании она присутствует только через свои следствия, и это — мир; или, выражаясь проще, взгляните хотя бы на него, он не менее неинтересен, чем любой другой в этой безумной рождественской суете, так что он сойдет в качестве примера, у него была жизнь, в своей жизни он ходил туда-сюда, там останавливался и там шел, при этом он не мог пойти то этим путем, то этим, одно несомненно теперь, когда он стоит, теперь вокруг одни препятствия, гигантский мат, можно сказать, когда единственное, что остается, это последние глотки в пластиковом кувшине, он все еще может выпить это, еще один глоток и глоток, прежде чем он остановится навсегда, прежде чем он исчезнет навсегда, прежде чем это большое вонючее пятно поглотит его полностью, так что никто не вернет его обратно — здесь, у входа в метро станции Ньюгати — вы можете вернуться и увидеть сами, здесь, рядом с билетной кассой, в углу; здесь сильный сквозняк, завтра Рождество, только один форинт, пожалуйста, наверху идет снег, а сегодня вечером у него на коленях лежит пустой пластиковый кувшин, который уже остыл.

JOURNEYINALPLACE

БЕЗ БЛАГОСЛОВЕНИЙ

Я.

Церковь — это место, где читают и понимают Священное Писание.

II.

Епархиальный епископ печально сидит среди прихожан и говорит: это конец чтения Писания, ибо нет разумения.

III.

Затем — поскольку в священном месте разрешено только то, что служит практике поклонения Богу, а всё, что не согласуется со святостью этого места, запрещено; и поскольку священные места были осквернены грубыми несправедливостями, возмутительными для верующих, которые в них совершились, — отныне никакое богослужение не может совершаться, пока этот ущерб не будет исправлен посредством покаяния. Епархиальный епископ говорит прихожанам: «Господь был с вами!», и затем после утра наступает вечер, затем вечер, затем вечер и полночь, но прихожане не бодрствуют всю ночь, а засыпают, и с наступлением сумерек епархиальный епископ вынимает Святые Дары из дарохранительницы; он гасит алтарную лампаду и произносит следующие слова:

«Мы не молимся! Поскольку наше понимание не наполнено истиной, мы не стоим во славе перед Господом. Господи наш, не прими даров, предлагаемых Твоим ожесточенным собранием, ибо народ Твой не обрел вечного спасения в этом священном здании посредством таинств. И

достойно, справедливо, подобающе и полезно нам исповедать это, и ныне мы в печали удаляемся от сего храма молитвы, созданного человеческим трудом, и так пусть этот храм здесь будет домом несбывшегося спасения, чертогом святынь небесных, навеки недостижимых».

IV.

«Дорогие братья и сестры», — говорит епархиальный епископ.

В.

Затем он задувает свечи, воздвигнутые на алтаре, передаёт их одному из служителей и обращается к прихожанам: «Свет Христов! Всемогущий Вечный Боже! Отними милость Твою от этого места, ибо напрасна была Твоя божественная помощь молящимся Тебе».

VI.

Епархиальный епископ передаёт дарохранительницу другому служителю, затем забирает цветы и алтарный покров. «Отними у них благословение Твое, — говорит он, — и не принимай больше молитв, благодарений, умилостивлений и просьб всех, кто прежде преклонял колени перед Твоим Святым Сыном».

VII.

«Твой Святой Сын, который живет и царствует с Тобой во веки веков».

VIII.

Епархиальный епископ берёт ладан из кадильницы, гасит угли и при этом произносит: «Господи наш, наши молитвы вознеслись сюда, пред Тобою, подобно ладану. Никогда больше они не вознесутся.

Я отменяю каждение алтаря, стен и этого собрания».

IX.

Прихожане молчат.

X

.

Епархиальный епископ обращается к стенам и смывает с них следы двенадцати крестов, некогда помазанных миром. Затем он подходит к алтарю и с четырёх углов отирает воспоминание о священном масле.

XI.

И вот что он говорит: «Господи наш, освятивший и направивший Свою Церковь, мы восхваляли Твое святое имя праздничными песнопениями; и все же больше не будем этого делать. Ибо в этот день Твой увядающий народ торжественно возвращает этот храм самой Молитве; этот храм, где, хотя Ты и был почитаем, но из Твоего Слова ничего не познано, и Твоими святынями ни одна душа не питалась. И так эта церковь символизировала Церковь, освященную Христом Своей Кровью, чтобы Он мог избрать ее Своей славной обручницей, чтобы хранить ее в чистоте веры, как сияющую деву, становящуюся счастливой матерью силой Святого Духа. И так виноградник святой Церкви, избранный Господом, ветви которого наполнили весь мир — и ее побеги были взращены на распятии — был вознесен в страну небесную. Это был приют Божий среди людей, церковь, воздвигнутая из живого камня, которая, подобно каменному фундаменту, воздвигнута на апостолов; и в ней краеугольным камнем был Сам Иисус Христос».

XII.

«И Церковь была величественна, — говорит епархиальный епископ, — город, построенный на вершине горы, которая сияла чистым лучезарным светом перед всеми. И внутри неё сияла слава Агнца, и раздавалось пение блаженных. И ныне, Господи наш, мы горячо молим Тебя отнять всякое благословение небес, чтобы это место больше не было святым, ибо потоки благодати Божьей больше не могут омыть грехи людей, ибо сыны Твои не стали как бы мёртвыми для греха и не возродились к вечной жизни».

XIII.

«И вокруг престола алтаря, — говорит епархиальный епископ, — уже не будут собираться рассеянные Твои верующие, уже не будут совершать святую тайну Пасхи, уже не будут питаться принятием Слова и Тела Христова. Здесь, в бессердечном голосе прощания, звучит высокомерие утраты, ибо ни одно человеческое слово не соединится с песнопениями Ангелов. Уже не будут возноситься к Тебе молитвы о спасении мира, ибо страждущие в нужде уже не найдут пути к помощи, а угнетённые никогда больше не обретут свободу: между каждым человеком и достоинством Сына Божьего пролегнет огромная пропасть».

XIV.

«Никто не достигнет, — говорит епархиальный архиерей, — никто не достигнет небесного Иерусалима, и даль, ведущая к Твоему Сыну, неизреченна».

XV.

«Твой Сын, живущий и царствующий с Тобою в единстве Небесного Духа, единый Бог во веки веков».

XVI.

Епархиальный епископ с двумя служителями снимает алтарь, затем они убирают его, и он говорит: «Отними Своё благословение от этого места, Боже наш, ибо нет больше никакого знака любви Иисуса, принесшего жертву за нас. Рвение прихожан было недостойно этого прекрасного алтаря. Напрасно звучал призыв, они не собрались вокруг и не приняли участия в Святом Таинстве».

XVII.

Епархиальный епископ с двумя служителями снимает кафедру, место провозглашения Слова, приказывает им вынести ее и говорит:

«Удали, Боже наш, благословение Твое от места сего, ибо слово Твое прозвучало здесь тщетно, не принесло плода».

XVIII.

И епархиальный епископ с двумя служителями сняли изображения, которые там висели, и передвинули статуи, и убрали все изображения и статуи, и так он сказал: «Всемогущий Боже! Не будет нам более позволено видеть Твоего Святого Сына...»

XIX.

«Твой Святой Сын, который живет и царствует с Тобой во веки веков».

ХХ.

«...Или изображения святых Твоих, потому что, если мы взираем на них здесь, они лишь заставляют нас думать о наших грехах и о пути, ведущем к низости, а не к святой жизни. Так отними же от нас благословение Твое, Господи наш, потому что, взирая на них, мы не укрепляемся в вере, и потому те, кто искал заступничества у святых Твоих, молясь перед этими иконами и статуями, никогда не обретут приюта на этой земле и вечной славы на Небесах никогда не обретут».

XXI.

Епархиальный архиерей собирает мощи из-под алтаря и затем говорит:

XXII.

«Мои возлюбленные братья!»

XXIII.

«Никогда больше наши мольбы не вознесутся к Всемогущему Богу во имя Христа, Господа нашего! Никогда больше святые не услышат наших мольб, святых, которые участвовали в страданиях Иисуса и были гостями за Его столом. Господи, помилуй нас! Христе, помилуй нас! Пресвятая Дева Мария, Пресвятая Богородица, Архангел Михаил, помилуй нас!»

XXIV.

«Святой Михаил Архангел, Все Святые Ангелы, Святой Иоанн Креститель, Святой Иосиф, Апостолы Святой Петр и Святой Павел, Святой Андрей Первозванный, Святой Иоанн

Апостол, святая Мария Магдалина, мученик святой Стефан, мученики святые.

Перпетуя и святая Фелицита, мученица святая Агнесса Римская, святой Григорий Папа, святой Августин Гиппонский, святой Афанасий Александрийский, святой Василий Кесарийский, святой Мартин Турский, святой Бенедикт Нурсийский, святые Франциск Ассизский и Доминик Осмийский, святой Франциск Ксаверий, святой Иоанн Вианней, святой

Екатерина Сиенская, святая Тереза Авильская, святой Стефан Венгерский, святой Герард из Чанада, все святые Господа нашего, избавьте нас!»

XXV.

По окончании Литургии Слова епархиальный архиерей извлекает из стен и из всего собрания остатки некогда освященной воды; затем он становится перед сосудом, наполненным водой, и говорит:

XXVI.

«Мои дорогие братья!»

XXVII.

«Когда мы торжественно освящали это здание, мы молили Господа и Бога нашего благословить эту воду, которая напоминала нам о нашем собственном крещении.

Теперь мы молим Господа нашего отнять у нас это благословение, потому что мы не последовали велению Души. Боже наш! Мы могли бы достичь ясности жизни через Тебя, но напрасно Ты решил, что, очистившись, мы восстанем к новой жизни: мы не восстали к новой жизни и не стали наследниками Вечного Блаженства. Так отними же прежнее благословение Твое от этой воды, чтобы мы никогда не вспомнили Твоего небесного милосердия, милосердия, которого мы никогда не достигнем».

XXVIII.

И затем епархиальный епископ, в сопровождении молчаливой паствы, следующей за ним, удаляется из церкви, запирает дверь и передает ключ посланнику бывшего главного строителя, затем — после того как епархиальный епископ отзывает все прежние просьбы об освящении территории здания и запрещает там совершать крестные ходы — с помощью главного строителя выкапывает краеугольный камень, бросает его в канаву и говорит:

XXIX.

«И было так: я, Иоанн, увидел новое небо и новую землю. И прежнее небо и прежняя земля миновали, и океанов уже не было.

И я, Иоанн, увидел святой город, я увидел новый Иерусалим, сходящий с небес, от Бога, подобно невесте, украшенной украшениями, сходящей к своему мужу. И затем я услышал сильный, звучащий голос с престола: «Вот, кров Божий среди людей! Он будет жить с ними, и они будут Его народом, и Сам Бог будет среди них».

И отрет Бог всякую слезу с очей их, и не будет уже смерти, ни скорби, ни плача, ни болезни, ибо все, что было прежде, прошло. И сказал Сидящий на престоле: «Вот, Я творю все новое».

XXX.

Прихожане разошлись, а епископ скрылся из виду.

THESWANOFIS TA NBUL

(семьдесят девять абзацев на чистых страницах)

памяти Константиноса Кавафиса

ПРИМЕЧАНИЯ

Страница 287. внезапно забыл: после любезного личного сообщения Аттилы Голио Гулиаса-Ковача (Рокфеллеровский институт, Нью-Йорк) 30.09.2011.

Страница 287. быстрое забывание деталей: после любезного личного сообщения Балинта Ласточчи (Колумбийский университет, Нью-Йорк) 30.09.2011.

Страница 287. Он понимал, что забывает, что какая-то путаница сложились между ним и миром, в данном случае между ним и. ..: Дэвид С. Мартин: «Редкая способность человека может раскрыть секрет памяти». CNN, май 2008 г.

Страница 287. и затем он бродил повсюду, без каких-либо воспоминаний; он вошел в бар, где не было никаких признаков, которые могли бы напомнить ему, кем он был что там делают: Паркер, Э.С., Кэхилл, Л., Макгоу, Дж.Л., «Случай необычного автобиографического воспоминания», Neurocase (февраль 2006 г.).

Страница 287. Намерение запомнить что-то не покидало его на протяжении всего времени: Дэвид С. Мартин: «Редкая способность человека может раскрыть секрет памяти».

CNN, май 2008 г.

Страница 287. Это тоже пройдет, и он больше не будет осознавать, что забыл что-то, почувствовал, что ситуация запутанная, и Это состояние действительно наступило, состояние счастья, куда бы он ни пошел или обнаружил, что он чувствовал себя счастливым, отчасти; однако часть его разума была все больше обремененных общей проблемой, например, Стамбул, это имело превратилось в общую проблему, он полностью чувствовал, что...: Портер, С., Бирт, А. Р., Юйль, Ж. К., Эрве, Х. Ф., «Память об убийстве: психологический взгляд на диссоциативную амнезию в юридическом контексте», Международный Журнал юридической психиатрии ( январь—февраль 2001 г.).

Страница 287. Нельзя сказать, что он видел Стамбул, он только знал, что Стамбул был похож на: Кричевский, М., Чанг, Дж., Сквайр, Л.Р., «Функциональный

Амнезия: клиническое описание и нейропсихологический профиль 10

Случаи», Обучение и память (март 2004 г.).

Страница 288. Он быстро начал забывать детали и одновременно Аналогичное опасное изменение произошло в его мышлении относительно общего проблемы, то есть он воспринимал эти проблемы все более

«общем» смысле, поскольку контуры этих проблем стали расширяться и больше... пока в конце концов он не осознал масштаб каждого в целом проблема была настолько огромной, что, хотя он был в состоянии понять ее, операция начал раскалывать голову на части, так что в конце концов он оказался в Стамбуле с расколотой головой, и казалось, что самолет мог доставить его домой только за два части, его голова и остальная часть его тела, то есть уже не вся его целостность Человек в целом: ср., кратковременная память/долговременная память: Рёдигер, Х.Л., Дудай, Й., Фицпатрик, С.М., Наука о памяти: концепции. Oxford University Press. Нью-Йорк. Данцигер, Курт. « Отметки разума: история». Памяти. Издательство Кембриджского университета, 2008. Фивуш, Робин, Нейссер, Ульрик. Вспоминающее «я»: конструкция и точность в самоповествовании. Издательство Кембриджского университета, 1994.

Страница 289. в неопределенной точке на окраине города, в Белом Дервиши...: Руми. Духовные стихи. Первая книга, переведенная с последнего персидского издания М. Эсте'лами. Penguin Classics. Лондон и Нью-Йорк, 2006.

Страница 289. Белые дервиши не совсем такие...: Маснави. Книга вторая, перевод Джавида Моджаддеди. Oxford World's Classics Series.

Издательство Оксфордского университета, 2007.

Страница 289. Белые дервиши кружатся...: Суть Руми.

Перевод Коулмена Баркса с Джоном Мойном, А. Дж. Арберри и Рейнольдом Николсоном. Harper Collins. Сан-Франциско, 1996.

Страница 289. Белые Дервиши больше не являются лицами в. ..: Иллюстрированный Руми. Перевод Коулмена Баркса, соавтора Майкла Грина. Broadway Books. Нью-Йорк, 1997.

Страница 289. Как изготовитель одежды для Белых Дервишей...: Месневи Мевланы Джелалу ад-дина эр-Руми. Перевод Джеймса В. Редхауса.

Лондон, 1881.

Страница 289. С другой стороны, Белые Дервиши мгновенно распались: Маснави-и Ма'нави: Духовные двустишия Мауланы Джалалу'д дина Мухаммад Руми. Перевод и сокращение Э. Х. Уинфилда. Лондон, 1887.

Страница 290. caydanlik: Устное сообщение Тулы, Стамбул.

Стр. 293. Султанахмет Джами: см. Сезар де Соссюр, Путешествие по Турции.

Страница 293. Самахане: Письмо Галаты Мевлевиханеси, 9.10.2011.

Страница 297. Канун: Запись кануна на террасе кафе «Дервиш», Джанкуртаран Мх., Кабасакал Каддези 1, Стамбул.

Страница 298. в направлении Карие Музеси: Хора: Свиток Небеса. Текст Сирила Манго. Редактор Ахмед Эртуг. Стамбул, 2000.

Страница 298. В этом городе событий Он — Господь, В этом царстве Он — Царь, который планирует все события.

Если Он раздавит свои собственные орудия,

Он делает сокрушенных прекрасными в очах Своих.

Знай великую тайну любых стихов, которые мы отменяем, Или заставим вас забыть, мы заменим их лучшей заменой.

В: Духовные куплеты Мауланы Джалалу-Дина Мухаммада Руми.

История XVI.

Страница 299. Музей Карие не был...: «Мимар Синан» в книге Гудвина, GA, История османской архитектуры. Thames & Hudson, Ltd. Лондон, 1971. Андервуд, PA Третий предварительный отчет о реставрации Фрески Карие Камии в Стамбуле. Издательство Гарвардского университета, 1958.

Страница 299. канун, купол небес над их головами: устное сообщение Кудси Эргюнера и Омара Фарука Текбилека.

Страница 299. и отсюда на другое небо, небеса канун: Ярман, Озан. 79-тоновая настройка и теория турецкой музыки макам как решение проблемы не-

Соответствие между текущей моделью и практикой. Стамбульский технический университет. Институт социальных наук, 2007.

Страница 299. Под небосводом кануна музыканты теряют свою личные...: Полит, Стефан, Вайс, Жюльен Джалал. Новая система настройки для Ближневосточный канун. Кандидатская диссертация. Стамбульский технический университет.

Институт социальных наук, 2011.

Страница 299. Это не имеет никакого значения под небосводом кануна: устное сообщение Жюльена Джалала Вайса.

Страница 300. с мастерами кануна: устное общение с мастером Мохамадом Парканом.

Страница 300. Стамбульский лебедь: Келемен Майкес. Письма из Турции. 1794.

Страница 300. Согласно знаменитой истории: Кристобаль де Вильялон. Путешествия в Турция. Европа. Будапешт, 1984 год.

Страница 300. Мечта курайшитов: Игнац Гольдциер. Культура ислама. I—II. Гондолат. Будапешт, 1981 год.

Страница 303. Чтобы забыть лебедя: Алан Бэддели. Аз эмбери эмлекезет. [ Человек Память ]. Осирис. Будапешт, 2005.

III. БИДС ФА РЕВЕЛЛ

Мне не нужно ничего от

ЗДЕСЬ

Я бы оставил здесь все: долины, холмы, тропинки и соек из садов, я бы оставил здесь павлинов и священников, небо и землю, весну и осень, я бы оставил здесь пути к отступлению, вечера на кухне, последний любовный взгляд и все направления, ведущие в город, от которых вы содрогаетесь: я бы оставил здесь густые сумерки, падающие на землю, тяжесть, надежду, очарование и спокойствие, я бы оставил здесь любимых и близких мне, все, что трогало меня, все, что потрясало меня, все, что очаровывало и возвышало меня, я бы оставил здесь благородное, благожелательное, приятное и демонически прекрасное, я бы оставил здесь расцветающий росток, каждое рождение и существование, я бы оставил здесь колдовство, загадку, дали, опьянение неисчерпаемой вечности; ибо здесь я хотел бы оставить эту землю и эти звезды, потому что я ничего не возьму с собой, потому что я заглянул в то, что грядет, и мне ничего отсюда не нужно.

Структура документа

• ОН

• 1. ГОВОРИТ

◦ Странствующий-стоящий (Оттилия Мюльзет)

◦ О скорости (Джордж Сиртес)

◦ Он хочет забыть (Джон Бэтки)

◦ Как мило(JB)

◦ В самое позднее время в Турине (JB)

◦ Мир продолжается (JB)

◦ Универсальный Тесей (JB)

◦ Всего сто человек (JB)

◦ Не на Гераклитовом пути (JB)

• II. РАССКАЗЫВАЕТ

◦ Пересечение Девяти Драконов (JB)

◦ Один раз на 381(JB)

◦ Хенрик Мольнар из Дьёрдь Фехера (JB)

◦ Банкиры (OM)

◦ Капля воды (JB)

◦ Спуск по лесной дороге (GS)

◦ Законопроект (GS)

◦ Тот Гагарин(ОМ)

◦ Теория препятствий (JB)

◦ Путешествие в место без благословений (OM)

◦ Стамбульский лебедь (JB)

• III. ПРОЩАНИЕ ◦ Мне ничего отсюда не нужно (OM)